



И. М. Кокорев
МОСКВА
сороковых
годов

И. М. Кокорев

МОСКВА

СОРОКОВЫХ ГОДОВ

Очерки и повести
о Москве

ХІХ ВЕКА



московский рабочий
1959.

Подготовка текста,
послесловие и примечания
Б. В. Смирнского.



ОЧЕРКИ
МОСКВЕ

МЕЛКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В МОСКВЕ



Две промышленности ведутся в Белокаменной: одна — блестящая, казавая, занимающая сотни тысяч рук, двигающая сотнями миллионов рублей, другая, не в обиду ей сказать, грошова; одна одевает и убирает почти всю Россию, шлет свои изделия к «стенам недвижного Китая» и в «пламенную Колыху»; азиаты о ней и степной хивинец и красноглазый (кизиль-баши) персиянин; другая идет лишь для домашнего обихода, известна одним коренным жителям столицы.

Что же это за промышленность? — спросите вы. — Какие у ней заводы и фабрики, как велик круг ее действий? Да такой, что простым глазом и не рассматриваете, если не вооружитесь наблюдательностью. Я говорю, однако, не о ремесле каком-нибудь, хотя в известных размерах оно и зовется у нас кустарным; нет, речь идет про ту промышленность, которая, отроду не учась ничему, берет почти за все, у которой нет ни фабрик, ни заводов, что, впрочем, не мешает ей быть необходимым черноработчим для многих из них, которая, наконец, существуя везде, нигде не оставляет прочных, явных следов своего бытия, не подлежит никакому контролю, не упоминается ни в одной статистике. Сознаться, что это определенке так же несомненно, как безусловное существование мелкой промышленности, но другого, по крайней мере краткого, я не умею сделать, — и для разъяснения предмета считаю необходимым войти в подробности.

Известно, что богатство, счастье и другие редкости в человеческой жизни суть понятия условные. Не трогая многое множество людей доценовых, которым простиительно охать и жаловаться на тяжелое время, потому что они не в состоянии играть по рублю серебром пуан, как, например, почтенный NN, не входя в разбирательство их сетований, возьмем хотя тот класс, который снискивает себе хлеб в поте лица, — сословие ремесленников. Не легко достается им трудовая копейка, часто говорят они, что перебиваются со дня на день, едва сводят концы с концами; но и их положенно завидует не одна тысяча деятелей мелкой промышленности. И они богачи в сравнении с этими бездельными тружениками. Как ни будь малоприбыльно мастерство, а все-таки оно прокормит того, у кого в руках; это сознавала и древность, во времена которой на Востоке велся обычный обучать даже владельцев особ какому-нибудь ремеслу, — это сознают и сами мастеровые, надеясь на свои силы вдвое более, чем нужно бы. Но мало ли людей, которые учатся лишь у одной нужды, рады бы работать, да не знают никакого мастерства, котели бы торговать чем-нибудь, да нет у них ни родового, ни благоприобретенного имущества; есть, правда, невещественный капитал, называемый трудом, да некуда девать его. А между тем ведь надобно жить, и нередко с обязанностью поддерживать жизнь других. И вот такие-то бедняги, сознавая, что питаться Христовым именем, когда есть силы, и грешно, и стыдно, принуждены мыкать свой труд то туда, то сюда; принуждены пуститься в мелкую промышленность, где, если судьба не вынесет их на иную дорогу, они каждый день будут отбивать лужду от своего изголовья, пока не успокоятся там, где нет более забот и печалей.

Происхождение деятелей мелкой промышленности очень обыкновенно. Вольноотпущенные, которые имели прежде свои занятия в многочисленной джорие какого-нибудь чальможи старого века — запятая, сделавшиеся никуда непригодными на свободе, при современной скромной жизни, потом люди, которых продолжительное безместье обезнадежило вконец; вдовы, оставшиеся с несколькими детьми на руках я, следовательно, лишенные возможности идти в услужение; иногда мещанин, которого разные таланты содрали с истинного пути; рядом с ним артист, играющий на каком-то неизвестном инструменте; реже всех отставной солдат, почему-либо не нашедший себе приличного места, — вот почти и все. Разумеется, и здесь нет правила без исключений, и здесь из девяти десятых не попадет в водоворот мелкой промышленности. Зато уж кто попал в него, только успевай повертываться, если не хочешь поспорить с желудком;

берись за все, что ни случится, являйся всюду, где можно пустить в оборот свою сметливость, трудись без усталости и хлопочи до упаду.

Бот хоть бы летом: кто сторожит первое созревание земляники, отыскивает самые ранние грибы для стола лакомок, с рассветом идет в заповедную Останкинскую рощу и, промерив ее целый день, несет дюжину березовиков к прихотнику, у которого шевелятся лишние деньги в кармане, — кто? — мелкая промышленность. Или, месяцами двумя ранее, когда земля только что скинет с себя снежный покров и зазеленеет муравкою, — кто собирает молодую крапиву, шнитть, щавель, кто снабжает тогда московские рынки этими новинками? — все мелкая промышленность.

Всобщее, весна да лето — самая прибыльная пора для ее деятельности. Как птица, она ничего не сует, но при чрезвычайной неустойчивости успевает кое-что пожать. Кроме ягод и грибов, мелкая промышленность в это время собирает травы, коренья, березовые почки для аптек и травяных лавок; рвет дубовые листья для соленья огурцов; добывает муравьиные яйца для соловьев; удит рыбу, ловят птучок; в Троицын день вяжет букеты цветов, а на подходе к осени заготавливает травяные венчики для чипенья платья. Да всего, что делает она, пользуясь правом собирать дачь с окрестностей Москвы, и не перечесть. Должно, однако, заметить, что цивилизация лишила ее двух постоянных отраслей летнего дохода: до изобретения фосфорных спичек мелкая промышленность собирала в лесах трут, запасаалась кремнями, делала нехитрые серые спички и снабжала этими товарами по крайней мере половину столичных хозяек.

Зато уж одного занятия мелкой промышленностью, составляющего цвет ее действий, не отобьет у нее никакая цивилизация, потому что занятие это касается предмета первой важности для москвичей — чаепития. В этом случае низкий поклон ей, потому что она делает дела, достойные удивления, и здесь не страшно для нее никакое постороннее соперничество.

В праздник, в знойный полдень, когда истома одолевает и ум и тело, пойдите в какое-нибудь из московских предместий; здесь вы наверно встретите не одну группу вроде следующей: пожилая женщина несет объемистый самовар, мужчину — в одной руке ведро, в другой кулек с углями; двое детей тоже идут не порожняком: у кого бутылка с молоком, узелок с чашками, у кого скамеечка или домашний запас пищи. И без моего объяснения вы догадаетесь, что это мелкая промышленность, целой семьей идущая на заработок. Идет она куда-нибудь за город, на гулянье или на

кладбище, располагает там, на удобном месте, свой скарб, закрывается водой и спешит греть самовар для ожидаемых посетителей. Но как и у ней не обходится без состязания,—на гулянье является не один самовар,—то каждый непрерывно старается залучить к себе гостей. Мужикина решительно не умеет исполнить этой важной части самоварной торговли, и гостей зазывает всегда нежный голосок девочки или приветливая речь самой матери. Наконец, явились желанные. Простим милости, господа, садитесь, где заблагорассудится (на что лучше, как не здесь, на зеленой мураве, под тенью развесистой березы); кушайте, сколько душе угодно (особенно если чай и сахар у вас свой, а не владетельей самовара). пейте не спеша, с прохлаждением: за лишний час ведь и вы не постоите за прибавочкой против договорной платы какого-нибудь гривенника; наслаждайтесь невинным сельским удовольствием под отдаленные напевы голосистого хора, под рассказы хозяина, который, как присяжный служивый, не преминет обстоятельно доложить вашему благородию, в каких походах и баталиях был он.

Торговля самоварами (техническое выражение) начинается с первого московского гулянья, в Сокольниках, и продолжается вплоть до самой осени, с наибольшим успехом в Марьиной роще. С чайною машиною (как называют немцы наше изобретение) мелкая промышленность, по пословице, нередко идет «за семь верст киселя есть» и является приятным сюрпризом для любителей чаю там, где ее нельзя было и ожидать, например в Перовой роще, в Петровско-Разумовском. На гуляньях же она торгует иногда (в виде мальчиков) домашним квасом, выручая десять копеек на одну; является с знаменитым райком, заключающим в себе столько чудес и еще более самородных русских прибауток. К сожалению, последний промысел приходит все более и более в упадок, и многие остроты расшумиков сохраняются лишь в преданиях.

При речи о райках, очень естественно, рождается вопрос, почему же мелкая промышленность не возьмется за разные фиглярства, не вступит в компанью с шукарями, не выдумает каких-нибудь представлений? Ответ будет решительный и ясный. «Это дело тальянцев и немцев: они облизили выдумали, блох обучили плясать, лошадь часы узавать, собак мунструют, свинок морских, словно невидаль какую, показывают, шарманкой да волыпкой кормятся»; а русский человек, как он беспечен, совестится быть дармоедом, приобретать хлеб подобными средствами, считает недостойным себя пуститься в комедианство. Пошутить, сделать на время паяцом, он (почти всегда из мастеровых) не прочь: только



Охотный ряд. Литография Гедон по рис. Дау.



Лубянская площадь. Литография.

уж всякое слово будет у него с закорючкой, и, простоплотный с виду, он станет казаться кукиш хоть из кармана, если нельзя показать прямо. Но это полужизнь идет у него между делом: в свободное время почему ж не позабавить почтенную публику, потешиться самому, да и деньгу притом зашибить. А на завтра, в будни, просим прощения, по улицам не станем ходить, сядем за работу¹.

Но воротимся к нашей промышленности. Если у кого из ее членов находится столько же оборотливости, сколько есть у ярославцев, тот с рублем, много с двумя, пускается в коммерцию, которая преимущественно процветает также летом. На этом поприще женщины действуют с большим успехом, чем мужчины. Горох стручковый и моченый, бобы, колесечные пряники, разные ягоды, продаваемые не на вес, а помаленьким банками, кусочки арбуза, вареные яблоки, воткнутые на лучинки, и яблочный квас — таковы главные товары их. Не подражая обыкновенным разносчикам, торговля мелкой промышленности не расхаживает с своими товарами по улицам, не выкрикивает их достоинств: для торговли у них есть избранные места, на какой-нибудь бойкой улице, где они усаживаются на целый день, лоток ставят на столбик тротуара, а сами преспокойно вяжут чулок, в ожидании покупателей, большею частью детей, которые несколько раз на день подбегают к этому магазину соблазнительных лакомств, всегда продающихся по таксе, без запроса. — Иные действительные мелкой промышленности выгодно торгуют яствами — то драченаю, то студием, то пирожками; иногда даже забираются с ними в те места, где на десять копеек можно иметь обед из трех блюд — в обжорный ряд или на дворянскую кух-

¹ Понятно, что и тут кельза без исключения! есть и шарманщики из русских, хотя в меньшем числе против иностранцев, — отъявленные забудлыги; встречаются и странствующие комедианты, владимирский мужичок прамышляет, нодя за цену почтенного Михайлу Ивановича, господина Толпыгина, а подмосковный иногда посадит глупую речную черепаху в ведро, да и берет по грошу за показ ее. Об одном из подобных исключений, очень счастливом, я не забуду никогда. Лет 16 тому на гуляниях я постоянно встречал старичка со скрилкою, одетого в весьма старомодный фрак. Кроме скрилки, он носил с собою ящик, воткнутый на палку. Бывало, пристроится где-нибудь под деревом, устанет палку, заиграет вальс, экзосе, из ящика выскочат куклы с бубенчиками, начнут плясать, сойдутся зрители и, по окончании музыки, исподут кто грош, кто пятак в кукольный ящик. Старичок никогда не просил сам платы, нрывал для зевач и даром; но его добродушное лицо, особенно знуки его скрилки, так были знакомы посетителям гуляний, что редкий из слушателей отказывал ему в мелкой монете. После, когда музыканта не стало более видно, я узнал, что он был отставной капельмейстер одного екатерининского эскадрона, бедным своим инструментом содержал большую семью и часто любил рассказывать о славном Хандошкыне, которого знал коротко..

ню, и они берут значительный перевес над постоянными торговцами свежестью своих припасов и опрятностью посуды.

Да, летом наша промышленность не может пожаловаться на жизнь. Кроме разнообразных занятий, у нее являются и другие подспорья, для собственного существования: то пойдет она на бойню и там даром получит или требуху, или смычит, а иногда и целого гусака; то, с позволения огородников, на копаных уже грядках марует свеклы, картофеля. Другими овощами запасется тайком; то принесет вязанку хвороста из Соколышков или другой какой рощи. Грибы и разные лесные произрастания у ней тоже свои, не купленные.

Но скоро проходит благодатное время. Холодная, дождливая осень как раз въедет на двор, а за нею следом катит и зима с морозом-морозовичем. Средств к жизни становится меньше, а забот больше. Горемычная пора для мелкой промышленности! Счастье, если в семье кого-нибудь из членов ее нет детей мал мала меньше, а все одни подростки, если отец человек находчивый, а мать еще в силах делать что-либо, кроме присмотра за своим небольшим хозяйством: тогда нужда не слишком близко подступает к ним. Конечно, и милютки могут достать копейку, собирая кости, стекла, тряпки для старьевщиков, да нодь на сапогах, хоть надевают они их только по праздникам, износят больше; другое дело — взрослая дочь: она может шить что-нибудь, на свадьбу к богатому соседу пойдет и за песни рублей десяток получит, мать берется стирать белье, мотать бумагу для фабрик, ходит домовничать к зажиточным людям; глава семейства трет табак, чинит сапожное старье, делает картонные домики для чижииков и обучает непонятливую птичку подымать ведро с водой; мастерит немудреные игрушки, преимущественно тележки и качели из теста; ловит черных тараканов для соловьиных охотников; стряпает наксу; к вербной субботе разукрашивает цветными лоскутками простую вербу; к святой неделе разрисовывает пожичком яйца. Словом, так ля, сям ли, а промаячится мелкая промышленность бедственных полгода. А там ей опять спологара.

Если вы захотите взглянуть на нее поближе, в ее жилище, можете сделать это с совершенно спокойным духом, не приготовляя себя ни к каким потрясающим сердце картинам, ни к каким тайнам. У нас, слава богу, не Париж, а тайн и в заводе нет. Вам придется лишь предпринять путешествие в отдаленные части Москвы, где летом жить так же привольно, как на даче, а осенью можно выкупаться в грязь.

¹ Первое место находится на Солянке, где собираются вольнонаемные чернорабочие, второе — на Площади.

вам придется входить в домики самой скромной, чтобы не сказать плачевной, наружности; на дворе этих домиков вы встретите разные принадлежности сельской жизни: стадо гусей, корову, в темных снях наткнетесь на какой-нибудь хлам, в псконх, может быть, запугаетесь в лабиринте перегородок, и только. Если семья мелкой промышленности занимает каморку, если в ней есть кто-нибудь из женского пола, то в жилище труженической бедности вы найдете не только опрятность, но даже некоторую роскошь: наследственное божие милосердие, народко в серебряных ризах, как святыня, сохранившаяся в семействе бедняка, несмотря на все тревожения жизни; стенные часы с кукушкой, которая беспорочно служит уже под десять лет; ярко вычищенный самовар, блестящий на самом видном месте; шкаф со стеклами, в котором красуются все ценные молочи, какие только есть у семьи; наконец, белые занавески у окон, отнесенные горшком ветвистой герани. Порядок удивительно как скрывает темные пятна нищеты, а бережливость дает мелкой промышленности средства позволять себе иногда все-какие удобства и в жизни. Редкий день пройдет без чаю; в праздник непременно явятся пироги или какое-нибудь сверхштатное кушанье, но, с другой стороны, в этот же день последний привелник употребляется на покупку деревянного масла для лампы перед иконами, на свечку в божьей церкви, — и ни один из них не отойдет от окна человека немногим богаче его бедного подаяния.

Такова мелкая промышленность в Москве. Может быть, вы заметите, что картина ее не полная, что о некоторых действованиях я даже не упомянул: на это у меня были уважительные причины. Я хотел изобразить только тех людей, которых «нужда изучает и калачи ест». У кого есть одно постоянное занятие, ремесло ли, торговля ли, кто, как говорится, век свескует в одном гнззде, — те не входили в мою раму, ибо об них следует говорить наряду с круглою промышленностью.

Правда, что, кроме той и другой, на свете существует еще одна промышленность, которую я назову темною, потому что она живет и действует в темноте, причется от добрых людей, словно летучая мышь; и не бойся я оскорбить наш вкус, мы познакомились бы и с нею. Пошли бы, пожалуй, в дома, где, точно в Юеном колчаге, смешано самое разнообразное народонаселение; очутились бы в квартирах, которые сдаются внаймы не по углам и комнатам, а где всякий жилец платит за право занимать известное место на нарах или на полу и где иногда одна комната разделена на два этажа; потом прислушались бы мы к речам здешних обита-

телей, называющих друг друга физиками, механиками, гра-
вилами, а в презрительном смысле — жуликами семикопееч-
ными, мазуриками; узнали бы, что значит лафа, стрема, что
такое петух, что за вещь бабки и как кусается шмель¹. Но...
мне уже совестно и за эти подробности. Мало ли есть заля-
тий, о которых знают все, но не говорят вслух, по крайней
мере в порядочном обществе.

Однако все-таки могло случиться, что я «не дописал»
чего-нибудь: так это сделалось не с умыслом, и по незнанию.
Давно живу я в Москве, вырос в ней; но велика она, родная,
и не скоро узнаешь ее вдоль и поперек.

¹ Слова из наречия (жаргона) харманых промышленников: лафа —
пожизна, стрема — неудача, петух — сторож, бабки — дельги, шмель —
кошелек.

ИЗВОЗЧИКИ-ЛИХАЧИ И ВАПЬКИ



Ну, гнетко, пора и ко двору! Вон и лавочки запирают. Сколько ни стой, ничего не выдержишь. Видишь, какую бог послал погоду и сверху и снизу. А хоть

бы плохой седок навернулся: съездить на лятачок, так и будет ровно три четвертака. Что ж, и за это надо благодарить бога! Вчера выездили и больше, до целкового, почесть, хватало, да деньгам-то поклонился. Надо же быть такому греху! Кажись, на что лучше седока: двугривенный в час и сада не дальняя, и на водку тебе будет, коли хорошо поедешь. «Уж заслужу, сударь, — говорю я, — прокачу вашу милость то есть так, что хоть бы на лаковых санках не стыдно». Ладно. Едем мы. Посадил я его на Плющихе, окружили мы Арбат, Тверскую, Петровку. «Стой здесь». — «Слушаю-с». — «Тебе следует за три часа, так ли?» — «Сами изволите знать, — говорю я, — не обидите нашего брата». — «А водку пьешь?» — «Грешный, — говорю, — человек, употребляю». — «Ну, сейчас вышлю деньги, и водки тебе вынесут». А сам и шмыг в трактир. Жду; эдак и с час уже прошло, а я все стою да жду. Кой прах! уж не запомнил ли барин про меня? Дай, наведуся. Вхожу — глядь туда, сюда — нет моего седока. «Что тебе, погонялка?» — спрашивают половые. — «Да что, мол, вот так и так, братцы». — «Ну, — говорят зубоскалы, — здесь такого и не сидело: прозевал ты, воробна, ясного ссокола: барин-то твой, видно, жулик, улизнул задним ходом на другую улицу». Что тут делать? Подумал, подумал, плюнул, да и поехал. Полавись ты, разбойник, моей трудовой копейкой; коли много ге-

бе надо, не разбогатешь, чтоб тебе ни дна ни крышишки, а уж когда-нибудь да наскочишь. «Простофиля ты, — толкует Серега, — настоящего седока сейчас видно по ухватке» Да, поди-кось, влезь ему в душу. На лбу, что ли, у него написано, какой он есть человек: барский ли барин, заправский ли, или просто шишимора? Одет пажитительно, с усами, пуба какая, часы, и говорит, как следует барину. Эх, житье, житье ты разбедовое! Ну, гневко, двигайся, овсеца прибавлю».

Так беседует сам с собой злополучный ванька (он же «бесколодный» и «лючник»), колеси Москву, рыскает по улицам и закоулкам, радушно предлагая свои услуги встречному и поперечному, терпеливо вынося насмешливые ответы многих прохожих: «Куда тебе, не довезешь!» А сказать правду, вовсе незаслуженно терпит он такое презрение. Конечно, лошаденка у него язита из-под сохи, сани — самодельщина, сбруя наполовину из веревок, кафтанчик плохой, шалка с нахлобучкой; сам он мешок такой, редко дорос до казенной меры; сидит увальнем, скорчившись в три погибели; едет нога за ногу, тух-тух, беспрестанно поощдая неряжного своего коня и словом и делом, вожжами и кнутом; среди улицы, в виду всей честной зсвующей публики, к невыразимому стыду своего седока, вдруг остановится поправлять шлеса или убеждать гневка, чтобы не артачился и не забывал своей обязанности; случится где ехать в гору, ванька, жался своего кормильца, слезет с саней, и хоть раскричись седок, пойдет пеший, вожжи в руках, пока минется трудный путь. Все это так, известно и переизвестно москвичам; но обращали ли они должное внимание на добрые качества бедного возницы? Нет, тысячу раз нет! Пусть же свидетельствуют за него сами факты.

Ранним утром, когда половине человечества — самый сладкий сон, а другой — забот полная охалка, — кто в эту пору появляется на помощь людям, созданным на правах полного хождения по свету, и ускоряет ход их дел? — Ванька. А в глубокую полночь, у театров, у клубов и прочих приютов веселья, среди карет, колясок, саней с медвежьей полостью, кто предлагает свои дешевые услуги скромным весельчакам, у которых несь экипаж, как говорят они, заключается в калонах, кто развозит их по ночлегам? — Ванька. А в слякоть, в метель, у кого находит успокоение усталый, продрогший пешеход, вызванный на улицу белотступною пуждою? — У ваньки. Поздним вечером кто шажком плетется по малолюдной улице, по глухому персулку, кто, будто чуя, что здесь в одном доме спрывается вечеринка, залюцанные гости сбрыются домой, опасаясь, однако, и вечерней поры, и даль-

ней дороги, и не знают, где найти извозчика? Кто точно из-под земли вырастает в ту решительную минуту, когда радушный хозяин собирается уже сам провожать гостей? — Ванька. Усаживает он многолюдную семью в сани, семилетнего сына берет к себе на руки и едет не спеша, потому что тише едешь, дальше будешь, — дорогою развешивает ребенка, позволяя ему привить лошадью, и подобру-поздорову, без всяких приключений, достигает до места. А сколько таких пешеходов, которым нужна не скорая езда, а спокойствие да возможность притащиться куда-нибудь не «на своих на двоих»; сколько еще более таких, которые обвязаны нагрузкой себя кульками и узлами пуда и полтора весом; немало, наконец, и тех людей, для которых прокатиться на извозчике — удовольствие, позволяющее себе лишь в торжественных случаях, когда в кармане шевелится лишняя копейка. Для них всегда и везде готов ванька, и от них уже редко слышится сетования на медленную езду. Обе стороны совершенно довольны друг другом, и во изъявление взаимного сочувствия заводят между собой разговор, большею частью о чем-нибудь о житейском: седок расспрашивает про деревенские обстоятельства, про осмейный быт ваньки; а этот последний допытывается, для чего строят «чугунку», и смиренно ли сидит француз. Словом, за глечок тут для обоих соединяется, по правилу Горация, приятное с полезным.

Не такая извозчик-лихач. Не кочует он по улицам порожняком, не выезжает на промысел ни свет ни заря, не морит себя, стоя до полуночи из-за гривенника. Улицы кипят нарядом, ванька уже успел упарить лошадедку и пробирается в укромное местечко зачать ей корму; а лихач только что в эту пору выезжает на биржу. Утром он посиживал в трактире, распивая чай в складчину с товарищами и растабаривая о вчерашних похождениях; потом хвалил коня, снаряжался сам — времени прошло немало. Впрочем, дело не терпит почти никакого ущерба от этого замедления, потому что седоки лихача показываются не ранее полудня. Приехал он на биржу, перекрестился, раскланялся на все четыре стороны, стал и будет стоять, не зазывая без разбора всякого прохожего, не гоняясь за дешевым насмешником, за сядою менее рубля. Седоки навертываются к нему редко да метко, и один стоит десятиерых.

Вон идет барин: по осанке видно, что ноги его созданы не для ходьбы, и за делом ли, за бездельем вышел он, а следует ему взять извозчика. И лишь едва кивнул он головой — мигом встрепенулась биржа, лихачи шапки долой и обступили желанного. «Куда, ваше благородие?» — «Со мной, баюшка, со старым извозчиком, я и допрежде возил вашу



Извозчик-починик, Рис. В. Ф. Тютма. 1843 г.

милость». — «Возьмите, сударь, рысистую». — «На иноходце прокачу, ваше сиятельство!» — «С первым, барин, со мной, с кем рядился». — «Возьмите меня, сударь, заслужу. У меня и сани с полостью». Оглушенный залпом этих возгласов соперничества, насмщик может зато на выбор выбирать, что более ему по вкусу — окладистую ли бороду, казистые ли сани, или ретивого коня. Выбрал, сторговался — извольте садиться. Ну, Петруха, гляди в оба, не в один, не осрамысь, валяй, качай — даст барин на чай. «Эх, голубки!» — крикнет лихач, дернет вожжами, чмокает — и пошел. Только его и видели, пока разминаясь горячий рысак. Вот она, русская езда! «Дымом дымится дорога»¹; не едешь, а летишь; дух замирает в груди, а чувствуешь себя как-то бодрее, могучее, сознаешь свое превосходство над всем, что идет и стоит кругом, мелькая в глазах быстрее стрелы. «Пади, пади, держи правей-та! что разлиул рот, извозчик?» — кричит лихач, и, послушный повелительному голосу, смиренно жмется к сторонке ванька, поспешно перебегают дорогу пешеход или, изумленный, останавливается на половине пути; а лихач все мчится, обгоняет и пару и четверню, даст на минутку вздохнуть разгоряченному коню, вдруг гикнет и опять положит быстрее прежнего. А как он сидит, как прашит, как мастерски избегает столкновения со встречными экипажами, как повелительно приказывает остановиться одушему вереницей обозу! Что за расторопность в отыскивании сбивчивых переулков, что за умение угодить седоку и окольным, по верным путем подобраться к его карману! «Это тебе, братец, на чай», — молвит удовлетворенный донельзя барин при расплате. «Много довольны вашей милостью», — скажет с поклоном лихач, тряхнет кудрями и посдет — «процирать глаза» вырученными деньгами, распивать пердию чаю, если только, к счастью его кармана, не попадетя на пути новый седок.

Вообще лихач хотя не пьяница и не мст, а денежкам у него не вод; особенно, если он живет не в работниках, сам по себе, и большой и меньшей весь тут. Впрочем, к чести его надо сказать, что подушные редко стоят за ним, и в деревню он также посылает подмогу по силе, по мочи. Откладывать же из заработков копейку на черный день не в его характере; а если и заведется она каким-нибудь чудом, мало ли на что можно употребить ее. Хороша у Лихача и сукопная шапка; а еще лучше купить плюсовую с мишурным галуном; конер мог бы, наверно, прослужить еще год-два; а мы сменим его новым, на зло Терехе, который хвастается своей узорочной попоной; тем, какись, не сани — лаковые, с резь-

¹ Гоголь.

бою, и камышовым плетеным задком, — а все не мешает при-
длать к ним бронзовые головки; будет показистее; полушуб-
ки — как следует быть полушубку, и под синим кафтаном
не видать, романовский ли он или простой, а лихач поста-
вится украсить его лисьей выпушкой — знай, дескать, на-
ших! И пускай бы только подобные улучшения соблазняли
лихача: нет; передко и ошибается он. А отчего? Седок нападет
такой, что пей, ешь с ним, что твоей душе угодно; вином, и
не простяком, а настоялкой, да шипучим, хоть залейся: пой
только дорогой ухарские песни, катай во всю ивановскую, да
показывай кое-какие столичные диковинки. «Ух!» — гаркает
лихач, кружась по улицам с таким молодчиком, да потом
закружится и сам, оживляя воспоминания песни, что рас-
певал с седоком:

Как едут наши купчики
К Макарью торговать,
Приказчики-голубчики
Понать да погулять...

Ванька, напротив, враг всякой роскоши. Удивишь, что
ли, кого этими вычурами? Дома-то, небожь, нужда и через
ворота уж перелезла. Он временный жилец в Москве и при-
ехал к ней не прожить, а наживать деньги, и прихотничать
ему не из чего. Не дешево обойдется ему знакомство с дистан-
цией огромного размера, не в один месяц намосквичится он,
и, пока продолжается курс этого образования, не один раз
попадет он впросак. То седок, не расплатясь, ускользнет
проходным двором или городскими рядами; то, по незнанию
настоящей ближайшей дороги, ванька сделает версту крю-
ку; то иной пасманик воспользуется этим незнанием, и, наняв
его, например, просто на Тверскую, протянет до Триумфаль-
ных ворот, или с Арбата вплоть до Смоленского рынка.
А легко ли запомнить сотни названий урюков, приходов,
переулков, в которых запутается и старожил? Словом,
на первых порах ванька сам не свой и плутает, точно в
лесу.

«Извозчик! Что возьмешь ко Всем поротам?» — «Да кое
же это место, батюшка?» — спрашивает ванька, теряясь в
недоумениях о неслыханном названии: Тверские ворота он
знает, к Покровским барыньку вчера возил, у Красных зем-
ляк живет, Никольские есть — а Все-то где? «Да вы погол-
куйте, где ехать?» — молвит он, приготовляясь слушать
объяснение дороги. «А вот, — отсчитает наемщик, — сперва сту-
пай ты на Арбат, с Арбата на Арбатец, отсюда в переулок
Безымянный, из Безымянного в Безумный, здесь свернешь в

Пустую улицу, потом повернешь в Золотую¹, а тут и пойдет прямая дорога ко Всем воротам. Понял, что ли?» Поймет васька, что подсмеиваются над ним, ругает зубоскала прямым словом; а между тем премия то ушло, глядишь, среди баяне и седока упустил. Стучается также, что нанимают ваську взад и вперед, с условием заскочить в одно место на минуту; в простоте деревенского сердца, он и порадится по цене, сообразной времени, а на деле выйдет, что прождет он добрый час, прибавки не получит ни гроша, и тогда смекнет, что значит московская минутка. Да мало ли каким проделкам подвергается он в перное зимовье свое в Москве! Надобно же чем-нибудь наверстывать недостаток онытности, непредвиденные упущения, а чем же более, как не трудом да усердием? Лихач и смотреть не хочет на нерублевого седока, а васька не прочь схватить и за гривну меди; московского хвата разве калачом выманить со двора в непогоду, а деревенский труженик тут-то и выручает.

Чуждый прихотей не по карману, васька выгадывает супротив лихача и в других отношениях. Постоялый двор в предместьях столицы выбирает такой, где бы он не стеснялся необходимостью брать сено с овсом у дворника и где бы плата за харчи не была накладна для его кармана. Биржевых расходов он не знает; да и на что ему колода? Лошадь не дворника, поест и из торбы, — а стоять можно на любом углу; разумеется, кола у лавочки — подчистишь кой-когда мостовую, а если близ будки — ну, поздравить кавалера в праздник. На особенно бойких для стоянья местах, например около трактиров, у рынков, на перекрестках, васьки составляют между собою тесную корпорацию, и извозчик, не признающийся к их обществу, не смеет становиться здесь, под опасением различных гонений со стороны всех членов товарищества. Но и товарищи в ладах между собой только до первой кости. Дружелюбно растабарывают они, собравшись в кучку и похлопывая ружанцами, высчитывают, кто на сколько съездил, кого возил; с хороших прибылей решаются задать себе пирушку — кличут блинника. Вдруг... все красную, каждый блягит мятком к своим саям, — хлыст по лошади, и поскакали что есть духу в одну сторону. Что же такое случилось? Гром разве ударил над ними? Нет, не гром, а на углу показался седок. Прервана поучительная беседа, забыты узы родства и дружбы, и Васьки наперебой летят к цели. Явись в эту минуту отец родной, загорись в

¹ Арбатец лежит на Крутицах, Безымянных переулков два — в Грузинах и на Балкаке; Безумный — на Грубе; Пустая улица — в Рогожской, и Золотая — на Бутырях.

двух шагах дом, проходи целая армия с музыкой, — ванька ничего не слышит и не видит, кроме седока. И чего не делают, чего не покорят соперники, чтобы залучить к себе желанного? Но счастливец бывает, разумеется, только один, а прочие опять возвращаются к своему пристанищу — «сидеть у моря да ждать погоды».

Крепко хлопочет панька, зато и не может пожаловаться на судьбу, вознаграждающую его хлопоты. Конечно, пробьется он зиму не в тепле и холое, но всегда сыт, хотя без разносолов; приехал с грошем, а поедет не с одним десятком рублей; и лошадевка откормится. Вот и на следующий год, чуть только залорхает снежок да пойдут морозы-морозонищи, едет он в гости к кормилице-Белокаменной, иногда и парнишку берет с собой на подмогу. Глядя на него, отправляется и сосед извозничать, и другой, и третий, и паньки с каждым годом прибывают в Москве, — и живут они до поры до времени точно сказочные Иванушки-дурачки, в загоне у своих братьев-извозчиков, да в милости у судьбы. Потребностям московских пешеходов удовлетворяют почти однадцать тысяч живыхных извозчиков; из этого числа не более трех тысяч постоянно живут здесь, а прочие — все ваньки.

Лихач равнодушно смотрит на это увеличение одинаковых с ним промышленников, потому что не боится никакого соперничества. Но большинство обыкновенных живыхных извозчиков, которые составляют средину между лихачами и ваньками, бывают средственные и плохие, летом ездят на калибсере-трясучке, а зимою на санках средней руки, — они питают самое враждебное чувство к пришельцам, называют их «голодными воронами» и бранят на чем свет стоит, что сбивают эти «погонялки» настоящую цену.

Сколько-то лет тому назад пошло гонение на калиберные дрожки: «Это не экипаж, — кричали цивилизаторы, а пытка; он постыдный остаток варварства, он трясет все существо человека не хуже лихорадки»... Извозники вняли справедливым жалобам и заперли пролетки¹.

После этого догадали они, что чужеземные наблюдатели, удостоившиеся приехать взглянуть на Россию, обратили на них, собственно на них, особое внимание: записали в своих путевых впечатлениях в *droschki*, и *iswostchik*; объявили всей Европе, что последние — люди ужасного вида, носят шром-

¹ Но когда бывает доволен человек? В последнее время стали слышаться жалобы и на пролетки. «Не предохраняют они от простуды», — вопиют леженки, которым мало резиновых катков, вязаных ларфонов, непромокаемых макинтошей, зонтиков и прочих средств для защиты от напастей осени. Сострадательные извозчики приняты к сведению и это обстоятельство, и вопрос о занедении крытых проделток обсуждается лихачами.

ные бороды и снежные очки для предохранения от мороза; происходят по прямой линии от татар; хлопают руками (т. е. рукавицами) так, что слышится звук, подобный ружейному выстрелу, и вдобавок ко всем этим диковинкам распирают шампанское по пятнадцати франков бутылка! Извозчикам все эти слухи, как с гуся вода, пусть текут по лезвиям!

Наконец, в недавнем времени пошли разъезжать по Москве так называемые городские линейки и кареты. Извозчики недоверчиво поглядели на неожиданных соперников их промыслу, подумали и решили, что новая машина не пойдет. Словом, все напасти извозчики переносят равнодушно или великодушно. Одни вытаскивают как бельмо на глазу у них, и вторжение этих «сынов природы» выводит их из себя. Поэтому назвать простого живого извозчика-могильщика ванькою значит нанести страшную обиду его амбиции и задеть его репутацию. А ваньку — «как хочешь зови, лишь хлебом корми»; он себе на уме и неспроста поет:

Мушкетер я простой,
Вырос из мороза,
Летом ходил за сохой,
Зимой сидел все в извозе

СТАРЬЕВЩИК



Если вы прислушивались к разноголосым крикам московских разносчиков, то, конечно, заметили, что у каждого рода продавца свой особый неизменный напев: раскатисто выхлывается «подснежная, манежная калюк-ва», а скороговоркой кричится «свежая говядина»; большая разница между объявлением о продаже «пареной патоки с инбирем» и «арбузов моздокских, винограда астраханского»; это, впрочем, сейчас бросается в уши. Так, нет сомнения, что среди разносчиков разноголосицы случалось вам слышать один падеж, всегда важный, немножко печальный, но раздражающий любые уши, точно призывный крик муздыни: «Нет ли старого меху, платья, бутылок, штофов, старых сапогов, нет ли продать?» Так распекает человек неопределенных лет, одетый тоже неопределенно, с мешком под мышкой, иногда за плечами, и который он сваливает свой товар, свою кучу, потому что человек этот — не разносчик, а скупщик, род комиссионера между продавцами первой руки и покупателями второй. Что за люди те и другие — сейчас увидим.

Старьевщик, говоря его словами, знает где раки зимуют. Нет ему торговли, нет и наживы на богатых улицах, жильцы которых слишком горды, чтобы вступить в сношения с ним. Он идет в захолустья, в переулки, где живут люди не щекотливые, знакомые с нуждою и горем, не по слуху, которым ничуть не стыдно показать свои обноски. Тут что ни шаг, то добыча. Старьевщик редко глазеет на улич-

ные окна, как обыкновенный разносчик, зная, что тут казювальная сторона жильцов. — а на те, что с надворья, глядит зорко, особенно если дом незнакомый. Для его опытного взгляда какое-нибудь ничтожное обстоятельство уже ясная указка, а не будь ничего, так и распевать не для чего, разве только для освежения горла, по привычке, чтобы знали, что входил на двор не перемыга, а торговый человек. Где есть продавцы, там на призывный голос старьевщика разом являются они. Мальчишка в затрапезном халате, босовогая девочка, старуха в полулохмотьях — вот обычные его знакомцы; всякое старье, негодный хлам — их товар.

— Что дашь, дядюшка, за это? — спрашивает мальчишка, показывая старьевщику растоптанные опорки, сапоги, «прослужившие на одних подметках семи парям», и штук пять полуобитых номадных банок.

— Что просишь, золото или серебро? — отвечает купец, коли проявится у него охота растабарывать.

— За двугривенный отдам, дядя! голенищи, видишь, какие здоровенные!

— По полушке за банку, гривна за старье, две деньги на прищип: двенадцать копеек берешь?

— Скоро состроишь каменный дом, как будешь наживать по столыку; пятиалтынный, и то по знакомству, можно взять.

— Три пятака взял?

Продавец с негодованием вырывает свой товар и хочет идти домой.

— Слыхонь, знать быть тебе с обножкой: мальчуга ты хороший, возьми пятак серебра и поди с богом.

Торг колеблется еще несколько мгновений, наконец, слаживается, когда новенькая монетка побеждает твердость мальчишки. С другими продавцами торг идет, изменяясь, смотря по достоинствам вещи и характеру продавца, но редко не достигает цели, то есть продажи вынесенных вещей. Со стороны старьевщика не заметите ни малейшего унижения (он знает, что еще делает услугу бедняку, освобождая его от хлама), не услышите никакой болтовни; нет у него речи ни о барыше, ни об убытке: спокойный, как судьба, он не имеет ни к кому антипатии; даже прекрасный пол, перед которым, как известно, не утерпит ни одно торговое сердце, чтобы не полюбезничать, даже он не в состоянии найти в нем какую-либо слабую сторону...

Лишь изредка выходит старьевщик из своего равнодушия в обращении с продавцами, делает им крошечную уступку. Дом знакомый: ни разу не случилось выходить из него, не нагрузив доброй половины мешка, а теперь, как на

зло, хоть и два раза известил торговец о своем приходе, не показалось ни души.

«Приходится идти ни с чем домой; верно, заработался больно, — думает старьевщик: — дай наведаться сам». — И он отворяет дверь в мастерскую, останавливается на пороге и говорит:

— Бог в помощь, молодцы-графчики. Не завалилось ли где какой дрянн?

Ответ редко бывает отрицательный, особенно если кто из артели нуждается в складных деньгах на чай или на русское веселье¹, — тогда и нужное делается ненужным, и последний полушубок переходит в мешок старьевщика. «Должись еще далеко, да, признайся, этот уж наскучил, поцелуй-де купишь новый», — рассчитывает продавец.

Обход двух трех переулков наполняет мешок, и старьевщик возвращается домой. Если он не занимается у какого-нибудь торговца старьем, то сортирует свой товар, тщательно шарит в карманах курьенных обносок, хотя знает, что легче сделать деньги, чем найти их здесь; но неровен случай. Под вечер нередко приходят к нему комиссионеры-мальчишки, кто с битым стеклом или со старым железом, кто с тряпьем или с костями, на все эти вещи определенная такса², но за лучшее старьевщик всегда прибавит на пряники — награда, возбуждающая чрезвычайное соревнование между лакомками.

Но как ни велика деятельность и как ни многосторонни обороты старьевщика, он, в свою очередь, тоже комиссионер разных людей, у которых или карман потолще его, или которым не сподручно самим закупать из первых рук кое-какие предметы, необходимые им. Старье сапожное и платяное покупается разными мастеровыми, переделывается заново или обращается первое в подпаряды, последнее в приклад; прочие товары гуртом сбываются заподчикам.

Таков быт старьевщика. День за днем, год за годом проходит его жизнь в трудах, не слишком легких, потому что он не должен знать усталости или бояться непогоды. Из чего же биться, зачем не переместить это запытие на более выгодное? «Да затем, — ответит труженик, — что всякая птичка привыкла кормиться своим носком; жизнь — не поле перелет; увидишь и хорошего и худого; бог не без милости». Промая еще о нескольких минутах внимания к старьевщику.

¹ У мастеровых все попойки или распивания чая делаются в складчину, по скамью сойдут с братом.

² Для изображения политико-экономов вот некоторые из этих цен: стекло $\frac{1}{2}$ коп. за фунт, тряпье от 1 до 2 коп., железо от 3 до 4, разумеется, на ассигнации.

Если читатель коренной москвич, то, наверное, знает, что в Белокаменной есть уголок, который с незапамятных времен, неизвестно почему, называется Балканом, оправдывая такое громкое имя разве лишь тем, что осенью он так же непроходим, как Балканские горы. В этой укромной стороне дома подстать улицам, значит, квартиры в них недорогие, есть и каморки и углы, где по деньгам жить людям, у которых все богато в усиленном труде. Тому много лет (сколько заподлинно лет, читатель, вероятно, не полюбопытствует знать) и я жил на Балкане. В доме, где семейство мое занимало квартиру, в числе разнородных жильцов был и старьевщик. Все, от малого до большого, звали его дядюшка Игнат, считая лишним прибавлять к этому его отчество, и казалось, что он всегда будет дядюшкой, потому что дети не оказывали на него никакого действия: он все был в одной мере, ни старел, ни молодел. Даже платье дяди Игната не знало износу, и хоть крепко поистерлось, а служило ему с неизменным усердием, не хуже нового.

Старьевщик был человек крепкий, старинного покроя, умел беречь денюжку, не употреблял ни чаю, ни табаку и вообще не жаловал никаких прихотей. «Непригодно нам баловаться да нежить своей мамон, — говаривал он, — мы люди маленькие, воспитаны серо». Он так часто повторял эти слова, что, наконец, уже никто не стал удивляться, что у дяди Игната «среда и пятница со двора идут», и разве лишь в годовой праздник купит он себе у головника¹ на гривну вареной свидаины или легкого. «По добыче и житье», — замечали однодомцы. В самом деле, откуда возьмутся деньги, когда день-деньской ходишь из-за какой-нибудь палтины, а ведь надобно прожить, заплатить за квартиру, внести подати за себя и за мальчишку (с дядей Игнатом жил племянник). И так слыл старьевщик за человека, у которого прощ с копейкой никогда не сталкиваются. Но это не мешало ему делать одолжение для всех и каждого в доме, конечно, не деньгами, а тем, что под нужду нередко дороже денег. Понадобился кому гвоздик, доскуток сукна, старые башмаки вместо галош во время грязи, — где взять их, как не у старьевщика, и от дяди Игната не бывало никогда отказа. «Для дружка последняя сережка из ушки», — промольчивал бывало он, удовлетворяя просьбу. Зато уж всякий клан у жильцов должен был сваливаться в кладовую старьевщика. Пар, мальчишек, снабжал он бабками и кубарями, за что мы оплачивали ему сбором кистей и всего, что случалось найти на дворе. Я сверх того доставлял дяде Игнату все произведения моего

¹ Торговец в сбитенной, который продает яства.

пера, то есть, говоря попросту, упражнения в каллиграфии, старые тетрадки арифметических задач и т. п., и пользовался за это особнным расположением его.

Но все эти поладки существовали лишь для нас, а племянника старьевщик держал в черном теле, не потому, что бы не любил его, а «чтобы не избаловался парнишка, и сызмаленьку привыкал к нужде». Ему только по праздникам позволялось поиграть с нами, а в будни — то ступай по дворам собирать выброшенный хлам, то помогай дяде сортировать товар, то тащи мешки в лавку — словом, Ваня не знал ни минуты отдыха; пища у дяди Игната, как я сказал, была антониевская; но не любил он, чтобы кто-либо из жильцов лакомил племянника куском пирога или другим чем, повкуснее его серых щей, в которых одна капустана лисонила другую.

Что за разгосолы, с нашим ли рылом соваться в калачный ряд? Избалуете вы у меня мальчишку, сделаете неженкой. Надо, чтоб из него вышел человек, а не лизоблюд! — зачитает, бывало, старьевщик, как увидит, что его Ванюшка уписывает что-нибудь гак, что «за ушами лизит».

— Да как же, дядя Игнат, не полакомить ребенка. Небось, сам был маленький, тешили тебя! — заметят ему.

— Как же, расставь шире карман-то! Соска с жеваным сухарем — вот тебе и проглот. Да зато ведь проживешь двойной век, коли бог грехами потерпит. Простуда, какая ни на есть болезнь, все пятаится от тебя задом.

Этим обыкновенно кончались все поблажки, — и разве украдкой удавалось Ване попробовать лашна детских го-стинцев.

О нравственном воспитании племянника старьевщик заботился не много поболее, чем о физическом. Грамоте и на счетах учил его сам, но иногда, доверяя моим сведениям и званию гимназиста, просил растолковать «что-нибудь из наук, особенно цифирь». Понятливость ребенка развивалась разговорами вроде следующих:

— А какое это, Ванюша, дерево? спрашивает дядя Игнат, показывая обломок стула.

— Да — ершачи...словно...красная...береза, — отвечает ученик.

— А ершачи это дерево стояростовое...

— Какое, дядя?

— Стояростовое. Ну, а это (показывается ершачище?) метлы?

— Рублем прост буду, это береза.

— Вотгасшь, дурак! и это стояростовое.

— Что ты, дядя? Ведь то совсем не такое... — замечает Ваня в недоумении.

— Глупый! всякое дерево стояростовое оттого, что стоярастет. А скажи-ка, Ванюшка, отчего собаки лает?

— Да я почему знаю! Так уж бог создал.

— Бог-то бог, да и человек должен знать: дает он оттого, что не бьет. Зверь ли, птица ли какая, все они бессловесные, а кричат по-своему и понимают друг дружку.

Только и удержалось у меня из воспоминаний детства о старьевщике. Потом прошло много лет, и я его потерял из виду, даже из памяти. Нередко встречались со мною товарищи его по ремеслу, раза два я даже совершал с ними коммерческие сделки; но дядя Игнат канул как будто на дно моря. Однажды понадобилось мне сделать кое-какие дополнения в своем парике. Немало в Москве магазинов с готовым платьем, да не всякому они по карману, и, когда приходится беспрестанно применять к жизни деление, поговеле становишь покупать, по присловью, дешево и сердито. Игак, я отправился на Площадь¹. Только что пробрался сквозь густую толпу народа, затруднившую ее из конца в конец, как тутчас же сделался добычею сидельцев, из которых каждый старался перекричать соседа и загнать к себе покупателя. Смелее других действовал, языком и руками, парень и мою пору, и я не знаю сам, как очутился в его лавке. Спросил, что требовалось, раз пять переменял вещь, пока добрался до порядочной, и, наконец, справился о цене. Запрос был такой бессовестный, что я бросил товар на прилавок и повернулся к лавнице.

— Куда же, сударь? — закричал, по-видимому, сам хозяин. — Иль не по нраву пришлась покупка?

— Да вы запрашиваєте вчетверо: так нельзя торговаться.

Э, батюшки, запрос в карман не лезет! Пожалуйте-ка, явось, столкнемся с вами; а ты, Ваня, не зевай, видишь, покупателя!

Парень, втащивший меня, занялся с новопришедшими, а я, точно, в первые десять слов сладился с хозяином. Стал рассчитываться, гляжу, точно где-то видал это сухое лицо, быстрые серые глаза, клинообразную бородку цвета ржавого железа, а где, никак не припомню. Торговец скорее моего разрешил это недоумение, назвав меня по имени: это был дядя Игнат!

¹ Москва знает, что это за рынок: для петербуржцев замечу, что их Щукин двор слабое подражание нашей Площади.

— Водь я знал вас еще вот каким, — заметил он. —

..... *А теперь я знаю, почему, что и зачем это происходит*

— Да, я думаю, и пора вырасти; вас, Игнатий Емельяно-
вич, тоже не думал встретить здесь. Кажется, жинята слава
богу?

— Неусог, гневить, всевышнего; вот скоро десять лет, как
пачу купеческий капитал.

Пойшли расхрысы.

— Ничего, сударь, потерпите, — сказал мне бывший
старьевщик: — бог терпел и нам велел. Лишь не занимай-
тежь никаким художеством, так все будет ладно. Закона нет,
чтобй все были богаты, да водь и бедняков тоже не сеют.
Сам человек пробирай себе дорогу... Ничего, сударь..

— Да должно величать меня.

— По привычке, сударь; ничего. А помните Ванюшку-то?
Выровнялся такой, что выше меня. Женить собираюсь.

Я посмотрел на прежнего товарища своих игр; по разме-
танности он был типом торговцев, по росту и силе — настоя-
щий русак. В это время он нападал на какую-то бабу, торго-
вавшую холодник:

— Имясу не будет; забудешь, умница, когда купила.
Ты примеряй только... вот так... Честь имясю поздравить с
обновой...

И небойкая покупательница, олушенная похвалами, уве-
ренциями в доброте товара, снесшла расплатиться за обнову...

С этого времени взгляд мой на старьевщиков, бывший
дотоле часто историческим, проникнулся философией, и
никогда не могу я слышать без особого чувства их заунывно-
го припева: «Нет ли старого меху продать?..»

ПРОСЛАВЦЫ В МОСКВЕ



В царстве, где солнце не знает заката, земли столько, что будь в нем народу вдвое, втрое более, чем есть теперь, переходы и него сколько хочет Европа, — для всех станет места. Но и при этом раздолье у нас в иных местах тесно, то есть, впрочем, только для нашей охоты до простора, а веришковому немцу как раз было бы по мерке. Да вдобавок и земля-то иногда не мать родная, а хуже мачехи, не дает никаких угодьев. Что тут делать, как быть? Перешел бы на другое место, разумеется, если есть на то закон; да легко сказать — покинь свою сторону! Здесь я родился, здесь привел бы бог и кости в землю сложить, на том же погосте, где лежат мои кровные; здесь я вырос, знаю, почитай, всю округу, как свои пять пальцев; везде у меня есть люди близкие, свои — кто сват, кто названный брат, кто просто дружище... А там, на чуже, ну что я буду? От одного берега не отстану, к другому не пристаю. Засядешь как курица на насесте. Мне еще мила своя изба. Бог не без милости; аюсь, проматчимся и на старом, насиженном гнезде. Я не без рук, здоровья и сил не занимать статью. Коли здесь нет работы, поищем ее; земли не кланом сошлась.

-- Слушай, батюшка! благослови меня идти на чужую сторону, в Москву али в Питер, на заработки; там много нашего брата живет, а я из твоей доли не выйду нигде. На подмосту тебе остается брат. Ванюшка мой подрастает; да и я, по силе, до моти, стану прищипать, что заработаю. Отпусти, родной!

С богом, сынок; на дурное не благословлю, а на хорошее сам бог велит. Да смотри: Питер бока повытер, а в Москве толсто звонят, да тонко едят, говаривали старики. Так ты глаза-то не распускай, не спибишь как-нибудь.

И пошел мужичок, примерно, к нам в Белокаменную, пошел с одной котомкой, да с тою смышленостью и умением принаравливаться всюду, куда ни поведи, — этими двумя способностями, которым мы сами в себе не надивимся. Таких гостям всегда есть место в Москве. Владимирец принялся за плотничество, в офени или в кулаки пошел, а то «по ягоду, по клокву» стал распевать; ярославец сделается каменщиком, разносчиком, сидельцем в гостинице дворе и, наконец, трактирщиком; ростовец поступил на огороды; тверитянин с рязанцем явились как простые чернорабочие, поденщики¹; туляк принес с собой ремесло коновала, а костромич и галичанин — бондарное мастерство или кровельное со стекольным, корчевец начал точить саногв; подмосковный — искусник на все руки: и в извозе ездить и с лотком на голове ходить; коломенец, сверх того, печет калачи и на барки занимается; Можайск с звенигородцем — летом мостовники, а зимой ледокозы, лытчики, дровиколы. Из широких степных губерний, где человеку только что в пору управиться с благодатною землею, к нам не ходит никто. С недавних пор стали похаживать белорусские крестьяне, да они большей частью работают на чугунок², так по этому и нейдет им быть в счету московских пришельцев³.

По ни в Москве, ни в Петербурге нет гостей многочисленней ярославцев, и никто так сразу не бросается в глаза, как они. Не подумайте, однако, чтобы их выказывало высокое о, на которое усердно нациряет ярославец у себя дома: нет, благодаря своей переимчивости, он, живя в Питере, сумеет объясняться и с чухною и с немцем; а слеза понемногу, как пообжизнется, свое родное о на московское а ему уж не трудно. Отличие его совсем не то.

Взгляните на этого парня: кудрерусый, кровь с молоком, смотрит таким молодцом, что хоть бы сейчас поздравить его гвардейцем; повернется, пройдет — все суставы говорят; скажет слово — рублем подарит; а слез — точно как будто про него сложена песня: «По михту, мосту, по калишозому»... и кафтан синего сукна, и кушак алый, и красная александрийская рубашка, и шелковый платок на шее, а другой в кар-

¹ Первый нарядко и торгует: например, все мороженщики — тверитяне.

² То есть на железной дороге.

³ О фабриках и заводах я тоже не говорю, на них рабочие приходят еще подростками.

мапе, и лыжня лоярковая набекрень, и сапоги козыльные со скрипом. Так бы и обнял подобного представителя славянской красоты! Это и есть ярославец белотельный, потомок тех самых людей, которые три шуда мыла извели, заботясь о своем родимом пятнышко.

Да вот вопрос: откуда же взялась у него, конечно, не молодцевитая выправка, с которою он, зная, родился, а та щеголеватая одежда, что далеко не по карману и обычаю крестьянскому? А вот откуда. Между всеми столичными пришельцами и с огнем не пайдешь пикого смысленнее ярославца. Примется он, положим, за розничную торговлю с единственным рублем в кармане, поторкует месяц, много два, серым товаром, а потом у него заедутся и деньжонки и кредит, и пойдет он разносить «пельсины, лимоны хороши, коврижки сахарны, игрушки детские, семгу малосольну, икру паюсу, арбузы моздокские, виноград астраханский» — товар все благородный, от которого и барыш не конеечный. Наймется ли ярославец в сидельцы, и тут он умеет зашибить копейку, не пренебрегая, впрочем, выгодами своего хозяина. А что за ловкость у него в обращении с покупателями, что за умение всучить вещь, которая или не показалась вам, или нужна не к спеху, но к которой вы попробовали прицепиться! Что за вид простосердечия в божбах и истины в уверениях насчет доброты товара! Какое мастерство в знании, с кого можно взять лишнее, кому следует уступить, с кем необходимо поторговаться до упаду! Как раз применяется к нему поговорка: «Ласковое телятко две матки сосет». Прощу не считать этих похвал преувеличенными: ярославец мне не сродни, зато я с него не брал и говорю чистую правду. Не угодно ли сравнить его с любым разносчиком, вот хоть с этим яблошником, которого по ухватке сейчас видно, что не ярославской породы.

— Почему за десяток? — спрашиваете вы у мелковатого продавца.

Он объявляет пену, вы торгуетесь, он подается упрямо, как медведь, цедит слова сквозь зубы, чуть-чуть не грубит; настоящий мужчина.

— Пропадай ты и с яблоками! — говорите вы в заключение, не поладив с разносчиком.

— Сами, барин, дорого оченно покупали, — отвечает он в свое оправдание, которого, разумеется, вы и знать не хотите, желая, вопреки пословице, купить дешево и мило. Этими качествами всегда готов услужить ярославец.

Подходит к нему покупатель мало-мальски починившийся, длящегом ишмаку, дляяг, и ярославец повелевает, если позволительно, ходячего «ссадя». Запросит он бессознательно, но

зато можете торговаться с ним сколько душе угодно. У него на все есть резоны.

— Сами позволяете видеть, какой товар. Дадите дорожке, а такого не купите. Во рту тает, словно ананас, хоть бы королю на стол! Закушайте, сударь, опробуйте, и денег не возьму, коли не одобрите.

— Хороши, да дороги...

— Поверьте честному слову, один греш на десяток навивую. Как перед богом, сударь, торговля такая слава, хоть в деревню ступай... А уж каких яблок отберу я для вашей милости, что ни ва есть самых лучших. Только лишь для почина, не за продажей дело стало.

Пеловко не купить у такого славного парня. А «почти, который дорожке денег», и уважение к вашей милости продолжают у ярославца целый день; под исход же товара он качает продавать «для вечера». И благодаря своей догадливости он всякий день возвращается домой с порошным лотком, между тем как нерасторопный его сотоварищ, который виноват лишь тем, что природа отказала ему в даре слова и лисичьей натуре, приходит на ночьле усталый, нагруженный — только не деньгами, а пераспроданным товаром.

Тайна превосходства ярославца заключается главнейше в том, что он вполне смекнул торговую аксиому: «Отнюдь не должно упускать покупателя, если наверхулся он». Поэтому он чрезвычайно учил и низкопоклонен не с одними «сударями», но со всяким, даже с своим братом, серокафтаником. Он кланяется не кафтану, а кармапу. Отного он честивост «куликом» (преимущественно дородных покупателей), другого «кючтеннейшим», третьего «добрым молодцем»; покупателям у него — кто «хумица», кто «красазица» и уж никак не ниже «тетеньки». Политичный человек наш ярославец!

Нередко выручает его и прибаутка. Послушайте присказки блинника, зюмко выкрикивающего свой товар:

С самого жару,
По грошу за пару!
Взясь народ,
От всех ворот,
Обирай блины,
Вынимай мозны!

И народ окружает весельчака предпочтительно перед другими разбосчиками, потому что для рабочего человека случай посмеяться от души стоит и в ну пору рюмки водки; кляква и латка любезны ему не столько сами по себе, как потому, что всегда сопровождаются песнями и прибаутками.

Не гневайтесь, читатель, что я осмеливаюсь занимать ваше внимание таким ничтожным человеком, как блинник, который и сам, чувствуя свое незавидное положение, не дерзает показываться в порядочном уличном обществе. Не знаю, случился ли нам когда услышать, что в старинные годы один ярославец, начавший свое торговое поприще с блинным лотком, передал наследникам до полумиллиона рублей капитала, а другой, торговавший сперва яблоками-мякучками, добился под конец своей жизни до трехсот тысяч годового дохода; для меня же эти два факта служат лучшим оправданием и дают законное право продолжать беседу о ярославцах.

Конечно, не всякому так прытко повезет судьба: кому какая линия. Уж если на роду написано тебе ходить день-деньской с лотком, грабить мостовую, распевать что есть мочи, грех ежечасно брать на душу кривой божбой, то и в гроб пойдешь с этим. Но и тут не следует бога гневить: большому кораблю большое и плавание и простор совсем другой требуется, а ты маленький человек и должен мотать себе на ус поговорку: «Всяк сперчок знай свой шесток». Вадь тоже живешь, по милости создателя, не хуже людей: сыт и без разносолов, без соусов, чай в складчину с товарищами пьешь лютесть всякий день; и рюмку папему брату позволительно хватить в праздник, лишь бы дела она не портала, на гуляньях на всех бываешь даром, на ночлег придется не куда-нибудь в нехорошее место, а на свою фатеру; сочтешь торговлю, смежнешь барыш, да и за ужин, — а стряпает тебе кухарка, на то и принимаем ее всюю артелью. Денежка про черный день тоже не переводится у тебя; оброк с подушными платишь как следует, да, кроме того, домой, и семью, рублей с полсотни перешлешь. Все слава богу!.. Эх, братцы землячки!.. подхватывай дружно:

Распрекрасная сторона,
Ты вот город Ярославль.

Хорошая песня, да некогда слышать ее. До сих пор мы только вволюшку познакомимся с ярославцем, видели его лишь на улицах; взглянем же теперь на блистательнейшую сторону его деятельности — на ярославца-трактирщика.

Здесь прежде всего поражает следующий замечательный факт: между разноштыками встретите многих и не с ярославской стороны, но трактирщики все оттуда. Трактирщик не ярославец — явление страшное, существо подозрительное. И не в одной Москве, а в целой России, с незапамятных времен, белотельцы присвоили себе эту монополию. Где соль заведение для расхищения чаю, там непременно найдутся и ярославцы, и, наоборот, куда бы ни занесло их желание



Новая биржа 1839 г. и Гостиный двор. Литография.

заработать деньги, везде коровят они завести хоть *растеряцию*, коли не трактир. Не диво, что при таком сочувствии к чаю в Ярославской губернии найдется множество семейств, в которых от подростка до старика с бородою — все трактирщики; не диво, что иной ярославец три четверти жизни своей проведет в трактире: мальчугой он поступит в заведение, сперва на кухню, для присмотра за кубом, за чисткою посуды, и в это время ходит чрезвычайным ламазайкой, в ущерб своему лицу белому; потом, за выслугу лет, за расторопность, переводится в залу, где приучается к исполнению много-много сложных обязанностей поварихи, бегает на посытках, и, наконец, после пятидесяти или более искуса делается полным молодцом; возмужавший, он нередко повышается в звание буфетчика, а на закате дней отправляется важную службу приказчика — и часто все в одном трактире. Зато уж какими мастером своего дела становится он, и как кипит это дело у него в руках! Разносчик часто из корыстных видов умаливает покупателя, озабочиваясь сбытом своего товара; напротив, побуждения трактирщика к услуге гостю гораздо благороднее. В заведении на все существует определенная цена, запросов нет, всякий приходит с непременным желанием подкрепить чем-нибудь свои силы; следовательно, пошлостью останется лишь оправдать доверие, оказанное его заведением гостем, послужить вам — если не всегда верно и правдою, то, по крайней мере, усердно и лозко. Если гость почтенный, ярославец ведет его чуть-чуть не под руки на избранное место; «что прикажете, того дозволю, слушаю-с, сударь» — не сходя с него с языка при выслушании: распоряжений посетителя. Воля ваша исполняется в мгновение ока, и ярославец отходит на почтительное расстояние или спешит встречать новых гостей, готовый, однако, живо явиться на первый ваш призыв. И надобно иметь такие же зоркие глаза и слуховые уши, как у него, чтобы среди говора посетителей, звона чашек и нередко звуков музыкальной машины отличить призывный стук или повелительное — «челазек», произносимое известного рода гостями; надо обладать его ловкостью, достойной учителя гимнастики, чтобы снова со скоростью семи верст в час и взад и вперед, то по залу, то к буфету, то на кухню, снова среди беспрестанно входящих и выходящих гостей и не задеть ни за кого. Ярославец, когда он несет на отлете грузный поднос в одной руке и пару чайников в другой, несет, едва касаясь ногами до пола, так что не шелохнется ни одна чашка, — потом, когда бросает (ставит — тяжелое для него слово) этот поднос на стол и заставляет нас бояться за целостность чашек, — он в эти минуты достоин кисти Теньера...

Впрочем, doskonaлaя причина чрезвычайного усердия ярославского пологого, если раскусить его хорошенько, окажется не такою бескорыстною, как показалось с первого разу, при сравнении его с разносчиком. Предположим, что вы, почтитель пародиста, рады всякому случаю ознакомиться с подробностями быта простолюдинов: очень естественно, что приятно изумленные лопкостью мужичка, взятого от сохи, по который понатерся до того, что заткнет за пояс любого официанта, вы не преминете потолковать с ним. Расспросите, откуда он, чай, женат ли и проч.; слово за словом, дойдете и до вопроса: «Как идут дела?»

— Да что, сударь, — ответит ярославец, — дела как сажа бела. Жалованье небольшое, туда, сюда все изойдет, еле-еле натянешь концы с концами: оброк надобно заплатить, в деревню что-нибудь послать, на самогач да на рубашках сколько пропосишь — сама изволите знать, что с нас чистота спрашивается. Сказать правду, живешь в этой должности больше по одной привычке. Не то что как в городе, у Бубнова, у Морозова, у Печкина, — там нашему брату житье разлюбли. Хозяева солидные, двадцать лет у одного прослужишь, и за услугу он всегда тебе наградит; на волю скольких откупают. Жалованье вдвое супротив здешнего, а дохода втрое супротив жалованья. Народ ходит все первый сорт, на чай дают по малости полтинник; городские купцы ситцами, материями дарят служителей. Вот это житье, и умирать не надобно... А здесь голо, голо, да лосинсло. Какие гости ходят? Трое три пары спрашивают, чайничков шесть воды выдают да еще воруют своего сахара принести, чтоб и четвертому было что пить. Все голя перекатная, мастеровичника или выжиги-торговцы — кто пыль в проходном ряду продает, кто колониальные товары — капусту да свеклу развозит. Тут взятки гладки; на масленице разде на пряник что-нибудь из плетки вырешни. Только слава лишь одна, что заведение стоит на бою: а рынок как есть рынок. Хорошие господа, примерно как вы, очень редко ходят. Вот, сударь, к слову прилипло: на чай бы, если милость будет, ярославцам пожаловали; спасибо бы мы за ваше здоровье.

Распедритесь, посетитель, примите во внимание покорную просьбу пологого: правду, не раскрасесь. Ведь он не протранжирит пожалованных денег, а запишет их в дежежную книжку и употребит на дело; чай хозяйский и без того он пьет два раза в день. Сухая ложка рот дерет, а как смажете ее, то встречать и прозывать вас станут с поклонами и прислуживать будут вдвое усерднее, и трубку Жукова подадут даром, и «Пчелку» на дне моря стынут, и самовар принесут с пещками; мало того: если вас посетит безденежье.

благодарный ярославец поручится за вашу добросовестность перед хозяином, примет трактирный долг на себя. И хотя при этом он часто делается жертвою обмана, но деликатность его в отношении к хорошему гостю все-таки не прекращается.

Число ярославцев, временно живущих в Москве, можно определить приблизительно: трактирных заведений в ней считается более трехсот; следовательно, толкая кругом по десяти человек служителей на каждое, выйдет слишком три тысячи одних трактирщиков; да наверно столько же наберется разносчиков и лавочников. Эти шесть тысяч человек составляют здесь промышленную колоннию, и как ни привольна жизнь в столице, а все дома кажется лучше. И ярославец как можно чаще навещает свою родину — разносчик каждогодно, а трактирщик, смотря по обстоятельствам, через два-три года. Приезжают они домой в рабочую пору и горяча, в охотку, работают на славу; привозит с собой и гостинцев, и денег, и разные прихоти цивилизованного быта, к которым привыкли в Москве; поживут себе как гости, да и возвращаются опять наживать копейку. И наживают она ее до седых волос, и все кажется мало, и все не знают они, когда пойдут на окончательный отдых в дедовскую избу, да станут, полжизня на теплых полатях, вспоминать старину и учить внуков, как следует вести себя в матушке Москве.

Впрочем, не одни ярославцы, все мы, даром что временные жильцы на сем свете, а хлопочем и волнуемся до самой гробовой доски, не ведая и не предвидя, когда начнем приготовляться к отъезду на вечную квартиру.

КУХАРКА



II

ою тебя»... или:

Воспой, о муза, персону
ты ту,
Что желудка глад,
жажды же жлич.

Нет, не лжется, даже по-Тредьяковски, и стих не строится в ряд и меру. Лучше без затей сказать так: «Наше вам почтение, Матрена Карповна, Акулина Антиповна, Афросинья Панкратьевна, — все имена, никогда не достаиваемые чести принадлежать какой-нибудь романтической героине; имена, которые с давнего времени посят особы хотя из прекрасного пола, но сжигаемые в нем зауряд... Поклон тебе, правая рука, усердная помощница всякой доброй хозяйки! Привет тебе, блюстительница домашнего благочиния, то есть порядка и чистоты, повелительница очага со всеми его принадлежностями, всегда и жемчужина экономии, надежда обеда, радость неприхотливого желудка, подпора и питательница бренного тела!.. Не смущайся этой речью, слабой данью твоим заслугам, не красней, не закрывайся фартуком: спокойнo, как всегда, следуй своему призванию, исполняй свою профессию, делай дело. А нам между тем позволь побеседовать с тобой о твоём житье-бытье. Ладно ли?»

— Ничего. Да некогда мне расбавывать с вами: пожалуй, ты перекипят.

— Не перекипят, мы посмотрим. Сделай одолжение, всего-то пару слов перемолвить.

— Да вы не с подвохом ли с каким?

— Вот еще что выдумала! Как тебе не стыдно: точно

деревенская какал, необразованная, будто не умеешь различать людей с людьми?

— Так-то так, с виду вы как должно, к обращению у вас политичное: да поди узнай, что у вас на душе?

— Одно удовольствие познакомиться с тобою. Давно ли ты на этом месте?

Да вот скоро год доходит.

— И хорошее место попалося?

— Э, захотели вы!.. Жалованье красная цена шесть рублей, да за шестерых и делай: ты и лакей, и горничная, и прачка, и кухарка. Еде куры не оставали, а ты уж будь на ногах, принеси дров, воды, на рынок надобно идти, а придешь с рынку — сапоги барину вычистишь, одежду перемотришь, умыться пойдешь; а тут самовар наставляй, а тут печку пора топтать, в лавочку раз десять сбегай, компаней прибери; в иной день спирка, глаженье; тут на стол зелья накрывать, беги опять в лавочку — то, се, чистое: до обеда-то так тебя умает, что и кусок в горло не пойдет. Просто поваляешься, как слон. Ведь все на ногах, на минуточку присесту нет.

— Да, это трудно.

— Уж так трудно, что и господа! День-деньской отдыху себе не знаешь. Ище хорошо, что заводенья-то большого нет, а то смоталась бы совсем. Да и то в праздник кипишь, как в смоле. Туда же — голо, голо, а луковка во щак. Пирсы, банкеты разные заводят...

— А кто твои хозяева?

— Господа, да не настоящие. Так себе — из благородных. Сам-то служит в повоституте, да по домам ездит уроки задавать. Достатка большого нет. Только что концы с концами сводят... А добрые люди, грех сказать худое слово, и не капризные, и не гордые. Этак, года с два тому, жила и у одного барина. Сливовниковым прозывался: так тот, бывало, никогда не называет тебя, крестящимся, а только: «Эй, человек; буртец!» — «Какой же, говорю, сударь, я человек?» — «Кто ж ты?» — «Известно, говорю, кто, совсем другого сложения». — «Ну, говорю, когда ты не человек, так у меня вот какое заведение: слушай!» — и засвистит, бывало, бессовестный этаким! «Пу уж, после такого сраму, говорю я, пожалуйте расчет». Взяла да отошла, а три горничника так-таки ужжили, не отдал!.. А здесь нельзя пожаловаться: Акулина да Акулина, либо Ивановна. А сама барыня точно из милости просит тебя сделать что-нибудь: «Пожалуйста, говорит, милая, послушай, говорит, Акулинушка!» Хорошие люди. Жалованье хоть и небольшое, а за плату поискать таких. Чай идет всегда отсырной, не сливки, ну сколько душе угодно; принял кто в гости — запрету нет,

станови самовар, барыня и чаю пожелует. Здесь сама себе и госпожа. Искупила что на рынке или в лавочке, отдала отчет — и ладно; не станут ежикомничать, допытываться до последней денежки, — знают, что не попользуюсь ни единым грошем: душа мне надобна. А в другом месте живешь, так горничная на тебя ябсдинчат, чепуха в уши хозяевам насплетывает, лакей или кучер что сплутовали, а на тебе спрашивается. Такое-то дело. Здесь, по крайности, живешь в тесноте, да не в обиде. Одно лишь забольно: насчет подарков очень скудно. Год-годской живши, только и награждения получила, что ленточный платочник к спятой. Заговаривала не раз, что у хороших хозяев так не водится, да мой-то иль вдомек не возьмут, иль поделяться-то им не из чего.

— А разве у других хозяев из многу дарят?

— У хороших-то? Как и водится. Жила я у купца Митюшина, по восьми рублей на месяц получала, купаньешло с одного стола с хозяевами; а дом-то какой — полная чаша, все готовое: и мука, и крупа, и солонина, и калуста, — в погреб-то, бывало, войдешь, сердце радуется. Так вот-с, жила я у этого купца, у Авдея Матвеевича. Бывало, кроме годовых праздников, и в свои именины, и в женины, и в твои — всякий раз дарит тебе: то ситцу на платье, то платок прихоровский, либо шелковую косынку. Житье было такое, что просто малина. И не рассталась бы с этим местом, да грех один случился...

— Напраслина, верно, какая-нибудь?

По Акулина Ивановна, не отвечая, оборачивается к печке и начинает поправлять дрова.

Гм!.. Стало быть, у купцов хорошо жить?

— Ну, это как случится. Всякие бывают. Иной попадет-ся такой жидмор, что алтыничает хуже всякого кащее. Какой у кого характер. Коли сам хорош, так иногда сама-то перец горошчатый, либо семь хозяев в одной семье. У немцев тоже жить очень хорошо. Только строгости большие: уж этак что-нибудь... мало-мальски... чуть заметят, сейчас и паспорт в руки. Штрафами допекают. Разбейся посуда, пропали простыня, — все тебе на счет. «Это, говорят, твой виноват, что не смотрел». Насчет постов тоже нехорошо: перемирай почти на одном сухом хлебе. Ведь у них круглый год скоромное, и за грех не считают...

— Вот в Петербурге, говорят, вашей сестре житье отличное.

— В Питере-то? Слышали мы про него. Знаси тамошних белорусок: чепешницы, чухня бестолковая, а туда же, кофю просит, танцами занимается. Видела я здесь одну питерскую-то. Стоит на вольном месте, словно барыня какая, на нас и

смотреть не хочет. Приходит нанимать кухарку какой-то купец, прямо к ней (с рожи-то она как и лутная), спрашивает у нее. «У меня, говорит, любезная, хлеба дома пекут, а если случится стирка, так и принимаемся». А она ему залепетала что-то, да и сует в руку свой тостат. «Я, говорит, жила у хороших господ, черной работой не занималась». Уморушки, да и только. «А если так, говорит ей купец, так прощенья просим, мадам; выходит, не ты мне, а я твоей милости должен служить». Взял да и нанял из наших. Так-то-с, сударь вы мой. Видали мы этих тостатчиц. Для близиру — оно так, а на деле пустик.

— Напрасно так думаешь. Аттестат — ведь это порука и за умение и за поведение.

— Так оно и есть! Еше за поведение! Извольте-ка выступить. Есть у меня товарка, Агафьей зовут, женщина работящая, и уж 20 лет, этак и зашищенком сорок. Вот быга она без места. Прослышали мы, что вызывают в газетах учепую повариху, понимаете, чтобы за повара отвечать. Хорошо, что ж, и это можно, и за повара ответим, а учепые известно какие: не в пайсионах воспитывались, «Ступай, говорю, Агафья, может статься, и выйдет толк». Приходит она к этому баринку. Холстою он, собою такой видаый. Посмотрел на нее, усмехнулся. «Нет, говорит, ты мне не годишься». «Помыслите, говорит, сударь, я и соусы разные, и пирожные всякое могу сострялать». «Нет, говорит, мне надобно..»

Но в эту минуту что-то глосно забурлило в печи, уголья зашипели, пламя выиг вспыхнуло ярче, кухарка взлинула в ахнула; любезные ее щи так и хлестали через край горшка.

— Ах, чтоб вас! — с негодованием крикнула она, и этим словом кончилась беседа. Смущенный гость спешил уйти, и напрасны были его извинения в невольной причиненной досаде Акулине Ивановне.

Он ушел, но в воображении его не переставал носиться образ кухарки, ее лицо, ее наряд, ее быт. Одна картина сменялась другой.

Вот кухня — что-то вроде комнаты, более или менее зашпеченной, так что иногда трудно решить, из какого материала построена она¹. В кухне печь, простая русская, сложенная из кирпичей, не хитро, но удачно припророщенная к

¹ Понятно, что здесь идет речь о кухне в самом обыкновенном, простом значении этого слова. Другое дело — кухня поварская, с плитой, вертелами и разными заготовками, управляемая метрдотелем кухонным головою (chef de cuisine), и которую приличнее бы назвать стряпачьей палатой.

своему назначению, — печь с печкою, иногда даже с полатями. Далее глазам представляются две-три полки, на которых стройно расставлена разная кухонная посуда; потом следуют: самовар, блистающий на почетном месте; стол почтенных лет, но всегда вымытый на застеденье, и около него скамья, вероятно для противоположности, более или менее серого цвета; рукомойник, семь ухватов и кое-какой домашний скарб довершают принадлежности кухни. Тут и постель кухарки, и имущество ее, заключающееся в небольшом сундуке; тут красуется и двухвершковое зеркальце, обклеенное бумагою, и рядом с ним наклеена какая-нибудь «греческая героиня Бобелина», или картинка с помадной банки; тут и лук растет на окне, а иногда судьба заносит и герань; здесь и чайник с отбитым рыльцем, окруженный двумя-тремя чашками, в соседстве с какою-то зеленою стеклянною посудой, выглядывает с полки; здесь и жирный Васяка посиживает на окне, греясь против солнышка или созерцательно рассматривая ближайшую природу, особенно стая ворон, которых привлекает что-то лежащее на дворе, как раз против окна.

Вот и сама обитательница этого трюточного уголка. Что она делает? «Стряпает, разумеется». Да, стряпает; но это слово не выражает всего круга ее многообразной деятельности, хотя она и ограничивается небольшим пространством — от кухни до погреба или до кладовой, из лавочки на рынок, или с рынка в лавочку; хотя центр его все-таки, ни больше, ни меньше, как кухня. Но ведь на кухарке лежит весь порядок дома, она незаметный, но крепкий столб, поддерживающий его благосостояние. Она выковата, зачем издорожала говядина, а сливки оказались кислыми, зачем лавочник дал мало угольев или обман на одну копейку; с нее спрашивается, почему горшок прожил не два века, или как смела шаловливая кошка сделать неосторожный прыжок и разбить фиантовую тарелку; ее требуют к ответу, отчего суп пересолен, а жаркое недондо; на нее глумятся, что печь излодит много дров, а в комнатах сыро и холодно; ей выговаривают, великая «деревенщинаго глупой», зачем она сказала правду, когда приказано было объявлять всем посетителям, что господ нет дома, а она в простоте сердца на вопрос одного госия: «Домы ли барин?» — радушно отвечала: «Пожалуйте-с, у себя, трубку изволят курить».

Вот ранним утром стесню идет она на рынок с кузьком под мышкой, с купцином в руке. «Тетеньки, умища, пожалуйста сюда!» — кричат ей лавочники, развеселки, молочники, а иной плут так еще и шапку снимет. Но она не поддается на ушлые приставства, не верит божьим и правдивым словам продавцов, а торгуется допелыза, рассчитывая и зыгальзая

вижкую колёйку. Как внимательно рассматривает она доброту припасов, как заботливо считает по пальцам сдачу; сколько иногда убежденный стоит ей склонить неговорчивого продавца на уступку; сколько возов обойдет она, покупая, например, картофель, и то прицениваясь, то прислушиваясь к купле других, пока, наконец, решит свой выбор. А тут еще зелени разной требуется, корицы, перцу, кофю, сосисок; барин велел взять четвертку жукова табаку: «У нас, говорит, в лавочке семь копеек литиных берут»; барыня наказывала забежать и аптеку за гофманскими каплями; а яблоки-то к пирожному совсем было из ума вон. Легко ли упомянуть все — и грошовую, и рублевую покупку, легко ли, потому что у кухарки нет ни реестров, ни записок; одна голова обязана отвечать и за неграмотность и за непонятливость. Неудивительно, стало быть, что, возвращаясь с рынка, она не раз пересмотрит сдачу или зайдет к знакомому лавочнику, с просьбою проверить итог ее расходов.

Вот она дома, отдала отчет, принимается за стряпню. Приказали борщ сварить и жаркое приготовить, а говядины всего пять фунтов на четверых. Как ее делить? Надо, чтоб все вышло хорошо — и борщ вкусен, и жаркое сочно, и чтоб всего было довольно, а то исправно перерезается лишний человек, не достанет чего — тебя же обвинят; расчисть, скажут, ничего не умешь. И в глубокой думе, изощряя свою опытность, меряет она, на сколько частей резать небольшой кусок говядины, чтоб сделать оба кушанья в гаспорцию. А тут Васька, мяуча и мурлыкая, ластится около ног, просит обычный своей подачки. Нользя не дать и Ваське бросить ему добрый кусок; съел, просит еще. На и еще. Не сыт Васька, не отходит от стола, а говядины убавилось чуть ли не на осмьюшку фунта. Не дать жаль — кот-то славный такой, а дать... «Ну вот тебе еще кусок, кстати жила попалась, да уж больше и не проси!» Опять — мяу! мяу! «Ах, ты, обжора этакая!» И любимец получает справедливый толчок, после которого отправляется философствовать на кухню.

Наконец, кухарка устроилась совсем: печь затоплена, дрова разгорелись, горшки закипают — и дело кипит. Слава богу. Вдруг...

— Улыяна! а Улыяна! иди сюда скорее! — раздается звонкий голос хозяйки через отворенную дверь.

— Сейчас, сударыня. (Ах, чтоб тебе пусто было!)

— Да иди же скорее! Боже мой, какая ты неповоротливая!

— Нельзя же, сударыня, зря бросить дело.

— Ну, разговорилась! Вымой ручищу-то.

Это значит, что барыня изволит оденаться и нуждается в помощи своей единственной прислуги.

Во время застегиванья платья, для чего кухарка употребляет немисерные усилия, барыня вступает с нею в «задушевный» (если угадно, интимный) разговор, выходящий из пределов кухни.

— Стало быть, Василий Григорыч был-таки на порядках?

— Уж так на порядках, сударыня, что всю посуду перебил. Жене говорит: «Жить с тобой не хочу, ступай вон!» До Ивана Петровича дело доходило.

— Ну, это у них всегда так бывает. Поссорится да помиряется. А что свояченица его?

— Варвара Кузьминична-то? С прибылью скоро будет, с прибылью, сударыня. Соскучилась ждавши.

— Гм!... - и барыня предовольно улыбается.

— А правда, что Верочка Козлицына выходит замуж?

— Как же, сударыня, я не облыжес докладываю вам. И образом благословили. Через неделю быть свадьбе.

В эту минуту платье у барыни начинает почему-то застегиваться туго.

— Жених-то, нечего сказать, молодчина собой, и достаток, говорят, есть. Кондитеров нанял на стовор, музыка, танцы были, — продолжает кухарка свое донесение.

У барыни лопается крючок.

— Дай бог им совет да любви: парочка славная! — радостно говорит кухарка.

— Какая ты неловкая, Ульяна! — сердито вскрикивает барыня, вдруг разнувавшись из рук своей собеседницы и пожертвовав одним крючком своей досаде.

Но висквата, разумеется, не Ульяна, не ее неловкость, а известие, что Верочка Козлицына выходит замуж, делает хорошую партию, — партию, когда барыня знавала ее еще вот какой девочкой и чуть не за уши драла! Барыня вовсе не злая женщина, и досада ее легко объясняется чувством, свойственным не одной тысяче порядочных людей: «Как, дескать, распорядается судьба: чем такой-то лучше меня, а на него сыплются все земные блага, экипаж один чего стоит, — а я изволь покатыться на извозчике!»

Конечно многосложное одеванье барыни, кухарка освобождена от должности горничной и опять суетится около лачки, наверстывая потерянное время.

Спрашивается, откуда же, из какого богатого рудника почерпает кухарка современные новости, не помещаемые ни в одной газете и между тем благодаря языку облетающие известное пространство с быстротою телеграфа, — новости,

которые составляют насущную потребность для нее, занимают соседей и служат приятным развлечением для хозяйки; откуда? И не знаем — спросите у нее. Известно только, что население любого околотка, по месту жительства кухарки, все на счету у нее, и если она знает соседскую курицу, то как же не знать ей самого соседа, как не разведать, поправился ли Иван Григорьевич и ладно ли живет с мужем Аграфена Ивановна, и все такое прочее? Потом, когда сойдутся в лавке или встретятся на рынке Ульяна с Акуликой, да подойдет к ним еще Маланья, о чем же им и говорить, как не о хозяйских делах! «У наших пот то и то». — «А у моих вот какая напасть случилась». И пойдут, и пойдут. «Голубушки, — скажет сторонний человек, вслушавшись в их любопытную беседу, — ведь это значит сор из избы выносить». — «Как выносить! — позразят говоруньи. — Непшто мы сплетницы какие, разве мы славим по Москве? Так, к слову пришлось, дело соседское, а не что-нибудь этакое. Понимаете?»

Постараемся смекнуть.

Кончена стряпня, прибрана кухня, вымыта посуда, поспел борщ, и жаркое впору подавать на стол. Да господа что-то не рассудили обедать дома, в гости пошли. «Дикопина, право, — говорит кухарка сама с собой: — нынче к себе бы гостей надо ждать, — давеча дрова стрекотали и Васька замывал вст с этой стороны, — я так и думала: быть гостям, аи нет. Поди ты, случай какой! Ну, да и то сказать: хлопот меньше. Хоть отдохну малелько».

И с этим намерением кухарка спускается на свою постель. Проходит несколько минут. Но что теперь за сон! Разве самопарчик поставить? Хорошо бы этак пропустить чапечку-другую, да воды нет, а в лавочку идти не хочется. Ну, так и быть... «Охо-хо, — кухарка всзает. — Грехи наши тяжкие. Все в суете да в маяте, жизнь не как человек, и лба некогда перекрестить». (Следует продолжительное молчание, и думы о суете житейской сменяются мимолетскими воспоминаниями о недавнем путешествии на рынок, о свежих новостях, слышанных в лавочке, и тому подобном.) Наконец, это состояние полусна наскучивает кухарке, слышит она, что на дворе раздаются чьи-то голоса, с улицы доносятся крики разносчиков, стук экипажей, солнце весело глядит в окно кухни, на хозяйских часах пробило два. — кухарка ропсается. «Что это взаправду я размежалась, — говорит она, — не великий же день ходить такого перяхой! Хоть умелось да платье переменить: ведь нынче праздник».

Сказано — сделано. Мы не будем входить в подробности туалета кухарки и раскрывать тайны ее гаряда. Довольно сказать, что, употребив на свою особу несколько ховшей



Русская ресторация. Рис. В. Ф. Тимма. 1843 г.

воды, прибегнув к помощи чего-то, бережно спрятанного в двухвершковое зеркальце, кухарка изменится совершенно. Точно сказочный Иванушка-дурачок, который, бызая, влезет в одно ухо сапки-бурки вещей каурки дурнем и перикой и выйдет из другого молодень-молодцом, — так и кухарка, снарядившись, молодеет на десять лет, прибавляет себе красы столько, что и узнать ее нельзя. Та ли это Акулина, которая давеча, раскрасневшись от жару, со следами хлопот около печки на лице и на руках, с засученными по локоть рукавами, в затасканном фартуке, суетилась на стряпной? Та ли это Акулина, которая, накинув на плечи старую кацавейку, бежала утром на рынок и потом, возсе неграциозно склонившись на бок, несла из лавочки ведро воды и кулек с углем? Нет, она переродилась, лицо ее побелело, на щеках появился румянец перкиго сорта, на голове кокетливо повязана шелковая косынка, из-под которой еще кокетливо выглядывают косички волос, лоснящиеся, как стекло; новое сидевое платье резко бросается в глаза яркостью цветов и нестрогою узоров; на плечах, сверх платка, обнимающего шею, накинута удивительная красная или голубая шаль, такого ослепительного цвета, какой только может пролезть искусство купавинских фабрикантов, шаль, которую и можно встретить единственно на кухарках; а что за бабмаки у Акулины Ивановны! Козловые, со скрипом, который слышен издали, целаны на заказ, заплачены три четвертака и просторны до того, что надевай хоть три пары чулок, а в них еще найдется место для ножки какойнибудь барыни, вскормленной на булочках и сливках. Такие бабмаки и шныются только для одной Акулины Ивановны с подружками и составляют предмет тайной зависти для многих подмосковных «умниц», которые щеголяют в котях с красною оторочкой и с медными подковками.

Кухарка охорашивается еще раз перед зеркальцем, прилаживает косички, берет в руки вчетверо сложенный белый мыткатевый платок и стоит несколько минут, полная сознания собственных прелестей, любуясь ими, а еще больше ослепительным своим нарядом, и в маленьком раздумье, что ей теперь делать. Ведь она уж не просто кухарка, а подымай выше, во целый век возилась с горшками да с ухватями, а также видела добрых людей и от них не отстала; и летами еще не перестарок какой-нибудь всего-то...

Но лета кухарки более или менее покрыты для зрителя мраком неизвестности, и наше дело сторона.

Вот принарядилась Акулина Ивановна и сама знает, что стала не хуже других, да все-таки чего-то недостает ей для полноты счастья. А чего бы именно? Полюбоваться ею неко-

му, ласкивое слово сказать, что вот, дескать, точно принцесса какая. Мы актриса Кирбитьевна, а не Акулина Ивановна... Сидишь в четырех стенах, и живой души нет кругом тебя. Оди-оди-пехолька. Ты да Васька только и живете в кухне; да что Васька — кошка, как есть кошка, и шпегатия никакого не имеет.

Но пока эти думы носились в воображении кухарки, ее любимец Васька, все время нежившийся на окне против солнышка, вспомнил ли он вследствие требований желудка, что в эту пору обыкновенно накрывают на стол, с которого ему всегда сходит подачка, или среди солнечных грез какой-то тайный голос шепнул ему, что кухарка имеет не слишком выгодное мнение о его понятливости, — неизвестно, но какой из этих двух причин, только Васька встал, живописно сторбился, потянулся лапками, замурлыкал и ел, любопытно устремив глаза на разряженную свою хозяйку. Что он любовался ею, созерцал красную шапку и казистое платье, — это было видно из его взглядов и свидетельствовало о развитом в нем чувстве изящного. К сожалению, Акулине Ивановне некогда было обратить внимание на эту кошачью любезность и поздравить за нее Ваську куском говядины или хотя поглядеть по голове. Недоумения ее кончились, она решилась поступить точно так же, как поступала всегда в подобных случаях: если нельзя идти со двора, то очень можно побывать на дворе; нельзя оставить дом, но выйти из кухни никто не мешает. Дело в том, что необходимо «людей посмотреть, себя показать».

И вот она на крыльце. Яркость ее наряда спорит с блеском лучей солнца; башмачки скрипят на стлаву; кончики головной косынки распущены необыкновенно ловко. Но на дворе нет никого. Верно, все обедают или отдыхают после обеда. Нет ни Маланьи, кухарки, что живет в верхнем этаже, у старика-француза, и умеет говорить по-немецкому; ни Прасковьи, которая нянчит детей у Петра Ивановича и за что-то каждый день ссорится с своей дородной барыней; не видать и Аксиньи, которая недавно сшила себе салоп; нет и повара Ивана, что занимается у Чувашных во флигеле и всякий раз обещивает своего барина, даром, что тот — сам пальца в рот не кладет; и кучер Матвей, верно, завалился где-нибудь на сеннике... Нет никого! В другом доме хоть бы за ворота вышла, немножко развлекла бы тоску-скуку: а здесь польза: проезжая улица, скажут, что, мол, за вывеска такая стоит. Надо же и амбицию знать.

Скучно!.. Что ни думай, что ни делай — скучно. Нечем себя рассеять. Хоть бы орешками позабавиться, да орехов-то нет. Да и что орехи: ведь это на гулянье их очень приятно:

грызть, а одной-то и власть не пойдет... Скучно... Да что же это такое? «С горя хлеба не лишиться, со печали жизни не решиться», и кухарка, усевшись на крыльце и приложив ладонь к щеке, вдруг затягивает:

Отлетает мой соколик
Из очей моих, из глаз...

Недолго, однако, тянется одиночество кухарки; в награду за песню и за переизлившую скуку судьба посылает ей кого-нибудь для компании. Обыкновенно прежде всех является кучер, питающий большое ссочувствие к особе кухарки и преимущественно к ее заунывной песне, распеваемой самым пропитательным голосом.

Заснул он было сном богатырским, да мухи помешали сладкому отдыху, и далеко разнесившийся голос песни окончательно решил спор между желанием потянуться еще полчаса и удовольствием покалякать с хорошим человеком. «Сон не уйдет, а тут приятство и все этакое может случиться: ишь ты как закатывает Акулина», — основательно подумал кучер, задетый кухаркиною песней за самую чувствительную струну своего сердца и любви к вокальной музыке. Надел от палишное полукафтанье, набил крепчайшею махоркою трубку, закурил ее и медленными шагами отправился на призывный голос.

Кухарка продолжала заливаться все звончее; одиночество и скука довели ее до патетического одушевления...

— А, наше вам! С праздником, — молвил кучер, слегка приподняв картуз.

— Также и вас. Садитесь на чем ступите, — отвечала Акулина Ивановна, захохотала своей остроте и потом продолжала петь:

Уж ты злодей, варвар ты, разбойник.
Прострелил ты пистолетом грудь мою...

Кучер остался очень доволен и чувствительными словами песни и наружностью кухарки. Песня хорошая, не мужицкая какая-нибудь, и сам он частенько поет ее тоненьким голоском, посиживая на козлах и дожидаясь господ. Акулина тоже баба славная: и с поведением, и с политикой. С собой... что ж, и собой ничего. Шаль-то какую надела — ахти мис! Да шаль-то что — никак ничего, сама по себе; а ты, вот, приди к ней о празднике, как пироги пекут: ведь какую середку откроешь тебе: «На, говорит, Матвей, продовольствуйся, у нас этого всегда останется», да еще и чаем валяют. Известно, не то чтоб не выдали мы этого, а ласка, приятство, уважение — вот что дорого... Словом, кучер остался очень доволен

и, пуская струйки зловонного дыма, собирался сказать какую-нибудь любезность.

Акулина Ивановна, с своей стороны, была очень тоже довольна и приходом Матвея, и его парядом. Не могла она не заметить, что на нем красная александрійская рубашка с иголочки, плисовое полукафтанье без рукавов (для легкости) и новые сапоги с голенищами чуть не выше колен; серьга, продетая в левое ухо Матвея, и палочные перо, торчавшее из картуза, тоже приятно останавливали ее внимание. Про паружность и говорить нечего: кучер, как следует быть кучеру. Но могла она притом не вспомнить, что Матвей очень хороший человек, не такой, как другие озорники бывают. Случится досуг, он и дров тебе принесет, и сапоги бариному вычистит; ну, и насчет всего прочего... Стало быть, и кухарка была очень довольна кучером, но сказать ему какую-нибудь любезность не была расположена, вполне понимающая, по свойственной всему прекрасному полу тактике, что все выходы разговора на ее стороне. Итак, думая и ожидая любезничанья, она не переставала наполнять воздух раздирательскими звуками своей песни.

Кучер между тем подумался, что следует сказать голо-систой Акулине Ивановне.

— Ишь ты, какие штуки откалываешь! Ах, чтоб тебе!

И, сказав это, он шлепнул кухарку по плечу, что, по его мнению, означало очень большую любезность.

Кухарка не отвечала ничего, но довольно больно ударила своего кавалера по руке, вероятно, полагая, что и это любезность с ее стороны. Кучер, по-видимому, был тоже этого мнения, потому что на лице его показалась самодовольно-радостная улыбка, и он располагался отпустить еще какую-нибудь «штучку».

Конечно, со стороны могли бы заметить, что подобные выходы неприличны, что с прекрасным полом следует обращаться совсем иначе, соблюдать учтивость, политику вести. Но что же на кучере и выскивать! Лакей, например, или другие должностные лица, занимающиеся службою в барских комнатах, они в этом отношении не могут подвергнуться ни малейшему упреку: и обхождение у них галантерейное, и комплименты всякие есть, и красноречия прелесть. Но ведь им и есть где запясться и наслушаться хороших речей, — они обращаются в сфере высшего света. Ну, а круг кучерской деятельности известен какой...

— Ваших, звать, дома ест? спросил кучер после нескольких минут молчания, в которые, по-видимому, ему не удалось придумать никакой любезности.

— Ушли в гости. А ваших?

— Дома. Да мне что: я свое дело справил, так мне сполагора.

Кухарка перестает петь и грациозно обмахивает свое лицо миткалевым платком. Кучер молодежато погравляет картуз, подпирает одной рукой в бок и значительным тоном произносит такие многозначительные слова:

— А что, Акулина Ивановна, разве хватит нам кураж-ного? Как вы располагаетесь? Жара такая, что мочи нет.

— Чего это вы?

— Да так, по маленюкой, по шкальчику. Я вигом слетаю

— Благодарим покорно. Мы уже победади.

— Что ж за важность, что победади! Лишь бы во здравие пошло. Это не что-нибудь другое. Я сам, признаться, перехватил кусочек, да для компанства завсегда приятно выдти. А одному что-то не куражно, петиту совсем нет.

— Нет, не хочется, в душу не пойдет.

— Ну, орешками позабавиться?

— Орехи ничего, это можно.

За такую, уже настоящую, несомненную любезность кухарка дарит щедрого кучера взглядом, описать который нет никакой возможности.

Приносятся орехи, начинается щелканье, являются новые собеседники — и Маланья, и Прасковья, и все хорошие люди, кто только есть в доме, которые любят компанство. Заводится самый одушевленный разговор, пересыпается из пустого в порожнее, обсуждаются поступки хозяев, безапелляционно решается, кто добрый и кто плохой человек, кому давно на тот свет пора и кому дай бог много лет здравствовать... Все это любознательно и поучительно. Но вот, наконец, удостоивает беседу своим посещением и повар, тот самый, который ухитряется каждый день обшчитывать своего барина. Он одевается фирантом, курит папироски, водит знакомство с княжескими попарами и прочю лакейскою знатью и сам знает себе цену.

— Банжур, гутморген, мамзель Лизет, — говорит он, обращаясь к смазливой горничной, прелести которой затронули его франтовское сердце. — Салфет вашей милости. красота вашей чести.

— Мерси-с, — отзвонит образованная горничная, улыбаясь не менее образованному своему поклоннику.

Он отпускает еще какую-нибудь любезность, з минуту становится душою общества, затмевает всех мужчин (если таковые имеются налицо) и приводит в восторг весь прекрасный пол, начиная от смазливой горничной до Акулины Ивановны включительно. Если обстоятельства благоприятны, заводится хоробод, и веселье тянется до той поры, пока

служебные обязанности не позовут участников компании встать или пока не настанет ночь...

Акулина Ивановна ложится спать с самыми приятными ощущениями, и, вероятно, ей грезятся очень хорошие сновидения.

Еще довольное судьбою, еще счастливее бывает она, когда отпросится у своих хозяев «со двора». Это случается не каждый месяц, потому что присутствие кухарки «со двора» редко продолжается менее трех. Во-первых, она идет (разумеется, разряженная: дух) по какому-нибудь делу: потом ей надобно навесить двух или трех знакомок, куму, а иногда и кума; наконец, если день праздничный, необходимо побывать на гулянье (особенным предпочтением кухарки пользуются Марьяна рота и Нювинское). У знакомок и у кумы кухарка напьется чайку и не откажется от чего-нибудь другого, более основательно действующего на сердце и на голову. На гулянье она покачается на качелях, распевая песни, погрызет орешков, посмотрит на добрых людей, на комедию и иногда сведет очень приятное знакомство. Домой вернется она поздно, немножко навеселе, и в это время благоразумная хозяйка не должна делать ей никаких замечаний касательно продолжительного отсутствия или «распрепанных чувств» (выражение кухарки). Иначе эта последняя тут же потребует расчета или чересчур вылетит из пределов должного уважения к особе хозяйки.

Познакомившись с отдельными чертами быта кухарки, необходимо бросить взгляд и на ее биографию.

В известной бумаге токмо значится, что кухарка такая-то, столько-то лет, наделена от природы темнорусыми или другими какими волосами, такими-то глазами и прочее, а особых примет не имеет. Какой же материал для ее биографии может составить из этих сведений? Где ключ от загадочного ее происхождения? Где родилась кухарка, какую должность исправляла она, прежде чем приняла на себя стряпательные обязанности? Кто знает, это? Может быть, была у ней и молодость, полная желаний и ожиданий суженого; являлся этот суженый, брал за себя душу-девицу, жил с ней медовый месяц, как голубь с голубкою, потом похолоднее, потом начал слишком придерживаться чарочки, а наконец и угодил под красную шапку. Дал ему бог талант, да не умел он им владеть; знал он мастерство золотое, да стало оно у него хуже самого последнего. Куда денаться, куда голову преклонить? Было свое хозяйство, умела она распорядиться домом, сошьет, бывало, все, что нужно, и себе, и мужу, состряпает какое угодно кушанье; ну, а теперь что подделаешь? Жить трудами рук — не к тому готовили ее

отец с матерью. В пяньки идти — своих детей бог не дал, так сумею ли ухаживать за чужими? А вот, под этот раз и находится добрый человек, соседка какая-нибудь; голсприт она одинокой, что есть хорошее место для нее, восемь рублей в месяц жалованья дают, окромя подарков, хозяева хорошие, из купечества, семья небольшая: ступай, Акулина. «Да как же это? Я, право, не знаю, в чужих людях никогда не жила, — говорит Акулина в перепитности. — Пожалуй, строгости пойдут разные, взыски.. Да, может статься, я не сумею и работу такую делать...» — «Э, какая тут работа! — возражает соседка. — Известно, состригать, что нужно, да прислужить — и все тут. Не ты первая, не ты последняя, бывали и получше тебя». И Акулина склоняется на такие убедительные доводы и напихается в кухарки к «хорошим людям из купечества».

Сначала куда как дико кажется ей на новом, небывалом месте. И вставать надобно рано, и ко вкусу хозяйки припрорываться, и хозяину потрафить, и маленьких детей его уважить. Ночем валяничать: кухарка ты, и на твое место двадцать человек пойдут с охотою. И мало-помалу привыкает Акулина, и тогда через два окухаривается до того, что не всякий из прежних знакомых узнает ее... А еще через годик она ссорится за что-нибудь с своими хозяйками и переходит на другое место, с которого спустя более или менее непродолжительное время перебежит на третье, на четвертое, и так далее, до той поры, когда мы встретим ее у барина, что ездит по домам уроки задавать, и где она уже не прочь выслушивать любезности купера Матвея...

А бываст, даже еще чаще, так, что какая-нибудь подмошковая умица, разлучившись с мужем, идет, по милости ляхого свекра и золовок, что послом ее едят, — идет в матушку-Москву отыскивать себе место и трудового куска хлеба, которым не колоши бы ей глаза. Выходит ей место в купульницы на фабрику, зовут ее и в палочки, вот и кофидтер панимаст баб на лето пистить ягоды для варенья, и немцы шлет народу для переборки шерсти; да, кажись, места-то эти все непрочные. Лучше послушаться совета земляка, у которого есть пряничный курень и артель мастеровых, — пойти к нему в кухарки. И идет изнаа Маланья к пряничнику, намоскочивается, набирается столичного духа — и окухаривается.

А то бываст и так. Был у Аксиньи горе-муж Григорий, хозяйствовал он когда-то, потом маленько ешибся, пошел в работники, мастерство его вышло из моды, стало упадать, квартиру же не из чего напимать, а на улице жить не станешь, пить-есть тоже надо, и идет Маланья в кухарки, с мужем выдастся только по праздникам, снабжает его деньгами на похмелье, а иногда и сапоги ему купит, и рубашку

ситцевую кошмет. Нельзя иначе: врозь живут, а свой своему пошеволе друг.

В кухарки пашмаются и вдова круглая, у которой мужа бог взял, а близких родных нет никого.

В кухарки идет и та молодлица, которая неизвестно куда прожила свои дватцатые лета и красу, зазнобившую не одно сердце. Провела ли она бурную молодость или стубил се какой лиходею, — того не знает никто, да и сама она едва ли помнит все, что было с нею лет за десять тому, пока она не сделается кухаркою. Много воды утекло с того времени, и тяжело кружить себя воспоминаниями: о том, чего не воротить... Кухарки этого сорта носят довольно благозвучные имена.

Бывают еще кухарки и других сортов, других подразделений, из подразделений-то случаются даже исключения; но главные категории их все-таки именно те самые, о которых мы сейчас говорили.

Почему все они делаются кухарками, а не чем-нибудь другим, почему не ищут более почетных и прибыльных должностей — трудно определить. Знать, так на роду написано. Сказала судьба, положим, хоть Акулине Ивановне: «Вот, дескать, ты женщина работающая, домовитая, надобно дать тебе какое-нибудь дело, чтоб не пропала ты со скуки, не тяготила землю даром; будь же ты кухаркой». И стала Акулина кухаркой, и сотни подруг ее, на том же основании, пошли тою же дорогою. С судьбой спорить не станешь.

Но дело не в том, не в борьбе с судьбою. Замечательно, что из какого бы житейского моря ни вынесли кухарку волны обстоятельств на стрипательное поприще, всегда она бывает в одинаковой поре, не молодых и не старых лет, а как должно быть кухарке, от тридцати до сорока, с большою или меньшею молоджавостью на лице, с большим или меньшим расположением приобрести приличную дородность, смотря по тому, какая линия в жизни пойдет. Огонь ли закаляет их от влияния времени, от бурь и тревожностей житейских, или так надобно тому быть — право, не знаю. По крайней мере, встретить очень молодую кухарку или преклонных лет — чрезвычайная редкость. Кухарка-старуха, разумеется, долго паживает на месте: и хозяйка не совсем доволыса ею, да и сей-то работа становится уж не под силу — и идет старушка жить к подростку-внучку, который сам говорит, что бабушка не обещает сто хлебов... Поладись молодая кухарка — ветер у нес в голове ходит, не установится она на одном месте, увлекут ее с этого пути на разные дороги то собственная воля, то чужие советы да обманы.

А бывает и так. Живет, например, какая-нибудь Фе-

досья, девка кровь с молоком, и ни в чем дурном не замечена, живет она у какого-нибудь Евтихия Ивановича, у которого нет ни жены, ни родных, а имеется кой-какой благоприобретенный достаточек, — получает пять рублей в месяц жалования (потому, что Евтихий Иванович скуповат немножко), замешивает ему лакея, а подчас и дворника, удивительно умеет угодить на его вкус, припророчиться к нему... Крепко привязывается к ней Евтихий Иванович, по врожденной скупости ссорится иногда с единственным своим прилежником, пыгается даже отослать ее, — но привычка вторая натура, и видит он, что без Федосьи существование его не полно, что одиночке скучно жить ий сесте. Сбирается он было жениться, да свахи все надуют, показывают невест с изъяном или не тот товар, какой судили; посвататься самому — духа не хватает, робость берет, чуть только взглянешь на какую-нибудь расфранченную барышню... Да и что думать об этих барышнях: смолоду не было судьбы, а теперь, как начала побаливать поясница и на голове похвилье что-то сияющее, круглое, величюно в старинный пятак, — теперь и подумно нечего думать о какой-нибудь девице Берендеевой или Вакрамеевой, за которую чадолюбивые родители платили в пансион по двести целковых в год. Жениться, пожалуй, возьмешь без приданого, так она и разорит тебя, по собраниям да по театрам станет сидеть, и выйдет что-нибудь пехоршес, чего бы, кажется, и ожидать нельзя от такого милого существа... Ну, как же расположить свое житье-бытье? Сказано, что человек слаб, а окружающий его соблазн силен... И вот, неизвестно через сколько времени после прибытия Федосьи в дом Евтихия Ивановича, повторяется сцена вроде той, какую вы, вероятно, видели на картине одного даровитого художника, выставленной года два тому назад в Москве. А спустя несколько лет где-нибудь в Замоскворечье или в усадьбонной улице близ Камер-Коллежского вала вырастает уютный домик, на воротах которого значится: такой-то (бывшей Федосьи).

Наша ех-кухарка теперь сама себе гостюжа; хотя она по-прежнему ухаживает за Евтихисм Ивановичем, называет его своим «момочкой», бережно укутывает для защиты от простуды, лакомит вареными и солеными собственного производства, но все эти супружеские нежности не мешают бывшей Федосье держать Евтихия Ивановича в руках, особенно когда он вздумает увлечься воспоминаниями молодости. Надобно еще заметить, что его супруга очень разборчива в выборе кухарок и горничных, строго смотрит за их нравственностью и, как наредкость, нанимает таких, что нет ни кожи, ни рожи...

Впрочем, ведь это исключение, и довольно редкое. Зачем же так долго останавливаться на нем и не лучше ли будет обратиться к общим правилам...

В один прекрасный день на какой-нибудь из московских улиц вы встретите следующую сцену. Тихим шагом едет ломовой извозчик; легко нагружен его воз, легко и оригинально: на тюфяке или на перине возвышается небольшой сундук, а на сундуке посиживает женщина в салопе или (смотря по погоде) в красной шали и держит в руках либо самовар небольшого объема, либо горшок срапи. Это переезжает кухарка с места на место и, подобно одному древнему философфу, может сказать: *Omnia mea pesunt portis* — «все мое при мне», потому что нажитое годами и трудами имущество ее заключается в сундуке, на котором посиживает она, равнодушно поглядывая кругом, на прохожих и просящих, что молят перед нею, на улицы и дома, которые придется миновать ей, пока не достигнет она цели своего путешествия — места у новых хозяев или уголка в каморке, который гадобно нанять, пока не отыщется теплое местечко.

Зачем же, Акулина, отошла ты от прежних хозяев? Чем было не место? Жила бы ты да жила, паживала бы себе привязанность хороших людей и конейку на черный день! А то ведь почем знаешь, каковы-то будут новые хозяева, — пожалуй, не пришлось бы потужить и о прежних; да хорошо еще, как едешь ты прямо на место, а не углы напимать приходится. Разочтись-ка, во что обойдется тебе свое собственное хозяйство. За угол заплатишь ты на крайней мере дня с полтиной (по твоему счету, на ассигнации); пить-есть надо, и чаек ты привыкла поплатиться всегда два раза в день; случится, заберет к тебе знакомка, на ту пору также без места, и ее ты напоишь чайком, а еще, пожалуй, вздумаешь с горы и по рюмочке выпить; а все это счет да счет, из твоего кармана-то кон да кон. Проходит месяц-другой, и как ни грустно тебе месяцать заветную бумажку, бережно спрятанную в самом потайном месте сундука, а делать нечего, достанешь ты ее и разматываешь...

Почти каждый день отправляешься ты на вольное место¹, в надежде, не наймут ли тебя; но не всегда скоро сбывается эта надежда, и не одна ты прожорливый покарасну в ожидании наемщика, по крайней мере такого, который давал бы настоящую цену, а не какой-нибудь целковый либо пол-

¹ Для москвичей надобно заметить, что так называется место, где собирается в ожидании найма прислуга рязного рода. Таких сборных мест в Москве два: на Новой площади (существующее исстари) и у Варварских ворот, где, кроме домашней прислуги, всегда можно найти толпу чернорабочих. Кухарки предпочитают площадь.

тора в месяц: «Мне, — говорит, — хоть потроше, деревенскую бабу, да поделенце»... Прослышав ты случайно, что вот в таком-то месте требуется кухарка, — идешь туда, а там уже успели пацать. Рекомендует тебя какой-нибудь старинный кум или так хороший человек к какому-то барину; не правится тебе рекомендованное место, кажется трудновато, либо и цене не сойдешься, и сидишь ты опять — не у моря, а в наском угелку, ждешь не погоды, а местечка.

А накопленные денежки все убывают да убывают, и от заветной бумажки, которая еще не так давно составляла для тебя предмет тайной гордости и самых приятных мечтаний, от нее остается небольшое количество мелочек. И спустя еще темного времени принуждена ты нести в склад свою любимую красную шаль, и тогда уже рада какому-нибудь месту...

Зачем же, Акулина, довела ты себя до такого стесненного положения, зачем сошла с излюбленного места?

Мало ли «резоннов» найдет она в ответ на эти вопросы, то сошлется на поговорку: «рыба, дескать, ищет где глубже, а человек — где лучше»; то скажет: «чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу»; или: «грех да беда на ком не живут»; или выставит такие доводы, почему ей тельзя было не отойти от места, что житейскою основательностью их не убежишь разве только один закоренелый скептик. В числе этих доводов чаще встречается обстоятельство, что хозяева «прогорели», из покров переехали в комнатку; а реже всего, особенно с настоящею кухаркою, случаи, когда ей необходимо месяца два пожить где либуль в укомном захолустье... Последние случаи составляют сердечную тайну кухарки, и нам не годится обнаруживать их...

Как бы то ни было, на какие бы причины ни ссылалась Акулина Ивановна, на поверку все-таки выходит, что она любит переселения из дому в дом, что ее тошно малютом каким тянет от одних хозяев к другим, и не живет ей долго ни одном месте. Люди, которые имеют привычку глубоко вникать во всякое явление, анализировать его, объяснить, может быть, эту черту в быте кухарки жаклою новых впечатлений, любознательным желанием изучать жизнь в различных ее проявлениях. Не пускаясь так далеко, я могу сказать лишь то, что кухарка, которая прожила бы на одном месте пять лет, заслуживает почетной награды от своих хозяев, — и средний срок, в этом случае, для всех Акулин Иванов не превышает два года.

Переходя с места на место, от одних хозяев к другим, в каком быту не наживется кухарка, чего не насмотрится?

Начинает она, положим, с артели фабричных. Здесь ей выгодное жалованье, носка дров и воды лежит на очередных

дневальных, в стряпне не спрашивается никаких разносчиков, но зато уж и придется постряпать; щи и каша варятся не в горшочках, а в котлах громадного объема; ранним утром надобно сварить какое-нибудь хлебово к завтраку, а обед с ужином идут своим чередом. Вследствие ли этих трудов или особенно-го расположения кухарки к какому-нибудь молодцеватому парню (из-за чего возникают справедливые укоры и ревность со стороны товарищей отлученного предпочтением), или по другим причинам, — только кухарка недолго наживает на фабрике, тем более, что служба здесь составляет большую часть еще только первый дебют ее, и она поступает на другое место.

Переходит она к артели разносчиков, которые сообщают паничамот себе и квартиру и стряпуху. Здесь повторяется почти та же самая история.

Покидает кухарка и балагурно-разносчиков, и через чью-нибудь протекцию определяется в купеческий дом. Здесь она постигает все тайны домашнего хозяйства и выучивается гечь удивительную кудебяку. Смотря по характеру, темпераменту и большей или меньшей свывчке с столичными обычаями, кухарка живет или в ладах с прочею прислугой дома (горничною, кормилицею и нянькою), или ссорится с ними зуб за зуб. Только к тому, кто ходит хозяйских рысаков, она почти всегда чувствует невольное влечение.

Пожила кухарка у купца, очутилась потом и у господ. В эту эпоху кухонные ее познания приближаются к искусству повара, и ей становятся не чужды разные заморские названия супов и соусов, хотя она переиначивает их по-своему.

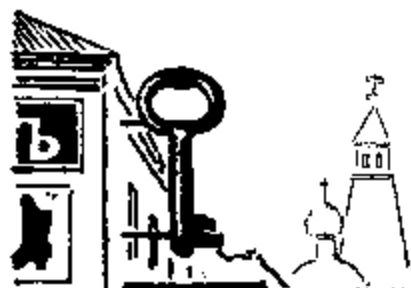
Семья аккуратного немца, небогатый чиновник, зажиточный мастеровой, барин так из благородных, вдова, которая держит нянебнишков, старый холостяк, грек или армянин, — у всех этих лиц, с различными видоизменениями, по несколько раз проживет кухарка, и всех оставит, чтобы перейти к новому, у которого еще не приходилось ей жить, или к кому-нибудь из числа тех, с чьим бытом она уже ознакомилась.

Но краткости времени житья кухарки, по ее непосидитивости редко где прививаются к ней того призыву, какая достается на долю другим членам домашней прислуги; редко где кухарка оставляет по себе продолжительное воспоминание, да и то ограничивается большею частью сравнением с ее предшественницами в умении стряпать и служить. И сама она одинаково равнодушно расстается почти с каждым домом, — и как горячо принимает к сердцу на первых порах те маленькие невзгоды, какие случалось ей пережить в этом доме, так же легко забывает и те прелестьности (относительно лакомого куска и чашки чаю), которые видела от хозяев его.

Равнодушие с обеих сторон, — и разве только на минуту прервется оно, когда где-нибудь на гулянье встретится кухарка и ее бывшие хозяева. — «А, да это наша Акулина!» — скажет барыня, кивнув головою в ответ на поклон прежней своей стряпательницы; промолвит еще два-три слова, да и пойдет дальше под ручку с своим мужем. А кухарка пытливо посмотрит ей вслед, насмешливо улыбнется и проговорит сквозь зубы: «Ишь ты как раздобрела, не такая была!» — скажет это, да и отправится на качели с каким-нибудь подвернувшимся на ту пору кавалером. Тем и кончится эта встреча людей, которые когда-то были близки друг другу.

Но барыня знала, вероятно, одну только внешнюю сторону жизни кухарки, внутренней, может быть, даже и не подозревала в ней. А кухарка была невольником свидетельницей всех семейных историй, из которых лишь, ограничиваясь четырьмя стенами, не переходя за порог дома, разыгрываются иногда сильнее и поразительнее всех драм, какие мы смотрим на театральной сцене; кухарка видела и знала все эти мелкие житейские огорчения, которые, как микроскопические насекомые, подтачивающие крепкий дуб, вкопец обессиливают самую твердую волю и ожесточают самое мягкое сердце. Кухарка знала, отчего ее молодая хозяйка плачет тайком, и какая забота заставляет мужа, что души не видел в ней перед свадьбой, возвращаться теперь домой за полночь. Ей известно, куда хозяин девал деньги, когда сказал, что потерял их, и три дня ходил точно сам не свой. От ее глаз не укрылась та сцена, когда влюбленный и нежный супруг страшно грозил своей обожаемой супруге, не соглашавшейся подписать какую-то бумагу. Кухарка видела, мало ли что она видела, да молчала: «не мое, дескать, дело». С одной стороны, перед нею проходили семейные драмы и трагедии, с другой — комедия, водевили, и все это исчезло, исчезает, сменяется одно другим, забывается среди ее частых перекочевок с места на место, перекочевков, продолжающихся до той поры, пока судьба не скажет: «Ну, будет, послужила ты на своем веку, пора и на покой!..»

ПУБЛИКАЦИИ И ВЫВЕСКИ



то такое публикация и вывеска — известно всем и каждому. Кому принадлежит честь изобретения их — грекам или римлянам, когда последовало глубокой древности или полздесь и недосуг пускаться влюда, достоверно лишь то,звонтой общественной жизниДнепра и Дона; публикацияи кораблем в одном и том жецкая, аттестация, рекомендаця, вариация, грация, репутация, мистификация, традиция, конкуренция, сентенция, сяких акций, алций, ипций илю отечественного языка; выом и тяжеле. Публикация поблестия, поведенцию и надуженню одного остряка), но для усовершенствования; абулочник. Вот все, что можноистории, и того, кажется, доенному быту той и другой.емля наполнилась, язык довои верила, что извозчики лучого; прежде по горло было



это изобретение во времена ливедомством истории? — не местоузыкария. Для нас, русского
 = ! ! ! что все эти принадлежности раывдуманы не на берегах Волги,прикатила к нам вместе с пернытже, где заключались цивилизация, амбиция, грация, генерация, нотация, экскузация, профанция, эрудиция, композиция, коппротекция и многое множествоений, содействующих обогащивеска же приехала с зимним обогродила у нас, в известном слое озапцию ('ars parvandi', по вырше продолжает ходить за морыввеска обрусела, как немецкийи позволительно сказать об ихстатично для приступа к совре

Была пора, когда слухомидил до Киева и г-жа Простаковше всякой географии знают до

¹ Искусство называть

дела кумушкам-постовщицам и тем добрым людям, которые готовы пять раз на дню победать, лишь бы услужить через это ближнему... То ли ныне? Слухи под опалую скептицизма, языку не дают более веры, г-жи Простаковой с огнем не найдешь, удаля кумушек сватовство, а добрым людям, персименованным в порядочные (*comme il faut*), осталось па долю составлять партию виста... Человек сам стал машиною и требует, чтобы все шло у него, как заведенные часы, и никто не мешался бы не в свое дело. Встретилась ему какая надобность продать, купить, заложить, — все, что только продается, покупается и закладывается, — он публикует, и дело в шляпе. Машина приготавливает перья и бумагу, машина напечатает публикацию, машина напечатает ее, машина разнесет до все концы вселенной, кликнет клич, — и будь желаемое хоть на дне морском, а явится оно перед чудодеем, как лист перед травкою, по щучьему веленью, по его прошеенью, вызванное могучею силою публикации. Рычаг, двинувший эту машину, не нужно пазывать: его слышат глухие, и видят слепцы; его зовут «презренным», а он сам презирает всех, потому что он и есть та точка опоры, которой искал Архимед, чтобы сдвинуть земной шар с места; и поэтому владелец полковенного груза смело пышет на всех парусах по широкому морю, а у кого оказывается педовес в баласте или баласте, тот садится на мель, удит рыбу в мутной воде или мечтает да пиплет стихи... Но

Пофилософствуй — ум вскружител!

Лучше вот целая кипа публикаций всякого рода, вида и цвета. Посмотрим: «Продается дом на веселом и бойком месте. Требуется лакей трезвого поведения, знающий поварскую должность, а в случае нужды — кучерскую. Иностранец ищет компаньона из русских с капиталом. Сбежала собака, приметам хвост и уши рубленные... Приведена шестерня карачовых лошадей, из коих одна известного завода: отец Юнтер, мать Пенсолопа...»

Ну, для нас это интересно. Мимо. Пусть читают те, кому о сем водать надлежит. Далее. Мадам такая-то извещает, как о событии чрезвычайной важности, что модистка, которую она ожидала, приехала на днях из Парижа и привезла с собой большой ассортимент уборов *à la to, à la то, à la то, à la то, à la то, à la то*. Гастрономический (попросту — съестной) магазин уведомляет о первом транспорте свежих фленсбургских устриц, доброты доселе здесь невиданной, так что «онне даже пипчат». Сдержатель зубного кабинета публикует о получении из Америки «партии лучших искусственных зубов, превосходящихся натуральным как в отношении прочности, бо

лизны, так и удобства к жеванию и проглатыванию». Рядом с этой публикацией какой-то добрый человек всенародно объявляет, что у него всталище зубы, которые он приобрел у одного зубопрача в столице, где «обзретаются все блага жизняк». Ну, эти известия не мешают принять к сведению.

А ведь в самом деле не ошибся добрый человек, сказав, что все блага имеются в столице. Вот кипа публикаций о разных увеселениях: каких здесь нет, и чем не потешает человек человека! Миновав обыкновенные театры, концерты и тому подобное, — потому что здесь не умеют писать порядочных публикаций, — далее видим: Олимп; Олимпийский цирк; удивительные эквилибро-механико-гимнастико-конные представления; бриллиантовые фейерверки с великолепным табло; Венеру, проезжающую на огненной колеснице в гости к Плутону; медвежью травлю; концерты на барабанах и кошачьи (первые представляют сражение при Ватерлоо, последние играют польку-мазурку); воздушные полеты; картины живые и туманные; зверей и людей в натуре и из воску; панорамы, диорамы, косморамы; механико-оптико-магические фокус-покусы; египетское волшебство; Геркулесов, Адонисов, тирольцев, американцев, все это в великолепно-пышных программах, «не падающее трудов и издержек, ласкающее себя надеждою заслужить благосклонность почтеннейшей публики», возмещаемое в разных чудовищных публикациях (яспонсе-топсиге), першковыми буквами, украшенное нередко политипажамии времен царя Гороха, — все это в состоянии наполнить пустоту обычной жизни людей, которые лязгают с своим временем. Но только что готовишься запеть:

На радость жизнь нам боги дали

вдруг... улыбка замирает на губах, шутка улетает недоговоренная, лицо вытягивается, волосы топорщатся, дрожь пробегает по леденеющему телу... Из-за сборища игр и смехов, как теңь в Гамлете, как гроб на пирах древних египтян, мрачно выглядывает следующая публикация: «Фабрика надгробных памятников... Рекомендуются почтеннейшей публике надгробные монументы в новейшем вкусе, с рачительством за прочность оных и за красивую отделку. Образцы можно видеть на всех кладбищах...» О ужас, ужас, ужас!.. Итак, должно умереть, а сперва сесть написать завешание:

Вот здесь, когда меня не будет... поставьте памятник новейшего фасона, сделанный на такой-то фабрике... Умереть по милости этого зловещего *memorandum*¹, которое своим появлением отравило радостную мину-

¹ Памяни о смерти.

ту и грозит торчать, судя по двум почти годам, беспрестанно в глазах, загнать тоску, истомить душу, уморить, пока не догадаться умереть сам, не сделавшись потребителем изделий фабрики или заблаговременно не закажешь себе мону-мента в новейшем вкусе! Умереть во цвете лет, не дочитав всех публикаций, не посмотрев ни одной вывески!

Так назло, не хочу же, не стану умирать, не поддамся никакой фабрике, хоть распубликуйся она: у меня в руках «Истинный способ быть богатым, веселым, счастливым, здоровым и долговечным»; несомненная польза этого сокровища доказывается третьим изданием. Куплю его — и буду застрахован от всех бед и напастей, в том числе и от фабрики надгробных памятников. Мало того, обзаведусь всем, что может содействовать успешному осуществлению драгоценного «Способа». Разумеется, что потребуются прежде всего: «Копите золото, золото до конца...» Вот «Искусство наживать деньги», сочинение Ротшильда, денежного царя, а такой сочинитель уж, верно, не обманет. Слобит всего три гривенника. Хорошо; куплю я «Искусство», разбогатею, заживу пап-паном, все будет покорно моей воле, — и вдруг влюблюсь, потому что против манеры прекрасных глаз бессилена всякий «Способ»; влюблюсь и не буду любим взаимно: золото мое и сердце отвергнут, над вздохом улыбнутся, клятвам не поверят. Лишусь я сна и пищи, исхудая, как скелет, и снова буду близок к надгробной фабрике. Что делать тогда?.. О добрая публикация! опять выручаешь ты несчастливца, и с сладостным трепетом сердца читаются следующие строки: «Нет более несчастья в любви, или истинный и вернейший ключ к женскому сердцу, искусство нравиться женщинам, основанное на изучении женской природы и применении к духу нашего века». Книга петербургского изделия, цена полтинник, а с пересылкой во все горло Российской империи три четвертака. Покупаю этот алмаз любви, и, как говорили в старину, самая неприступная крепость женского сердца спускает предо мною флаг. Будущей супруге своей, вместо свадебной корзинки, дарю «Искусство быть всегда любимой своим мужем»; «Секреты дамского туалета»; «Лучшее приданое для молодых девиц, желающих быть счастливыми в супружестве»; сам запасаясь «Супружескою грамматикою, посредством которой каждый муж может довести свою жену до той степени, чтобы она была ниже травы, типе воды», — и женюсь в полной уверенности, что буду наслаждаться супружеским счастьем, благодаря и вспоминая бумагопрядильную литературу.

Но не всякий выберет себе такую блистательную долю. Иной пожелает довольствоваться скромною умеренностью, провести свой век тихо, не беспокоя никого и не мешаясь ни



Магазин русских изделий на Кузнецком мосту. Литография И. С. Гоголина.



Русские мешлы. Раскрашенная литография Логінова. 1841 г.

во что. Хорошо. Да будет по его желанию. Год за годом, и вот придет к нему старость-нерадость и приведет с собой батагу немощей. Лечаться скучно, расстаться с жизнью жалко. Что же делать в таком случае? Стоит только купить «Домашнего врача» (если Лечебник Енгалычева уже потерял свой давний авторитет), посоветоваться с «Низейшим и зернейшим способом лечить все болезни смесью французской водки с салом», — и здоровье восстановится заново, в самом прочном виде. Это универсальные средства против всех болезней; а специальных я не оберешься: «Нет более геморроя»; «Лечение от запоя и пьянства»; «Трактат о болезнях волос»; «Симпатическое средство против сердечных болезней»... да всех и не сочтешь. Словом, перечитывая публикации, не надивись-ся, как скоро бумагопрядильная литература вникла во все подробности страждущего человечества, озаботилась о малейших его нуждах и во многом перещеголяла заморскую свою учительницу. Случится кому выжить из ума, ошалеть, — купи «Искусство сохранять память и приобретать, ее потерявши, не обман, а истину», — и ума прибавит палата; бегает какой-нибудь современный человек от долгов, пусть купит «Искусство не платить их», и кредиторы зарекоут; один бережливый человек желает сократить свои расходы, небольшая статья в которых составляют счета сапожника: пусть он пожертвует двушнвенным на «Секрет носить сапоги и всякую обувь, не изнашивая», — и сапожный цех обанкротится; выдумает он, то есть этот бережливый человек, лично свою особую, заменить кухарку, — к его услугам «Русская поваренная книга, составленная обществом хозяек, под дирекцією знаменитого Яра»; захочет он обойтись без цырюльника, вот «Способ бриться без бритвы, мыла и воды», придет кому охота посмеяться над готовым остроумием, — извольте разориться на «Зубоскала; Анекдоты всех веков и народов; Приятного и веселого собеседника», — и хохочите до упаду.

Бумагопрядильная литература доставляет «надежных управляющих, которые удешевят доходы с имений»; вырабатывает крыловскую старжу; преподает «курс светских приличий»; следит мозоли и бородавки; истребляет клопов и разных насекомых; изобретает поплавок пшена, требующие вдвое менее дров; приготовляет блистательную ваксу, лучшую горчицу; отбивает хлеб у Боско, обнарольвая его фокусы; делает союз без сундальки, сахар без завадов; тупит сало без котлов; гадает на картах, кофе и бобах, — делает все, что угодно публике, только себя не даст провести на бобах. Лишь бы придумано было заманчивое заглавие ее изделия да написана ловкая публикация, — и хлопотать более не о

чем: земля русская велика и обильна, прокормит не одну тысячу дармоедов...

Мастерица бумагопрядильная литература составлять публикации; но и другие промышленности мало уступают ей в благородном стремлении завлечь публику. Послушайте:

«Не нужно нам более свальных свеч! Их могут теперь заменить такие-то...»

«NN et C^e, портные (Marchands tailleurs) из Парижа. Большой ассортимент готового платья. Заказы, исполняемые в 24 часа (не на живую ли нитку?). Экспедиции (!!!) во все губернии. Они ангажируют публику не оставить их своим вниманием...»

«Смерть клопам, тараканам и прочим нарушителям спокойствия мирного хрюпа человека! Нижесподписавшийся ручается своею честью...»

«Придя кризисного искусства. Nec plus ultra¹ совершенства: старые платья, без распарывания, чистятся и красятся заково в 24 часа...»

«Где вы обедасте, мой почтеннейший, что отрастили себе такую благостыню?» — спрашивает господин-сичка у господина весьма улитачного жизненным полнотою (как видно на полилиплаже, помещенном в заголовке объявления от одной гостиницы, под которым напечатан этот разговор). — «Постоянно там-то. Чистота, аккуратность, ловкость прислуги, умеренность цен, гастрономический шик на всех блюдах — вот девиз этого заведения, единственного в своем роде...»

Впрочем, русский человек иногда пересолит, занесет такую небывальщину в лицах, что сейчас скажешь ему: «нет, брат, не натерел ты еще в надувательской системе». Зато залетные к нам гости, для которых Московия — обетованная страна, кипящая рублями и простофилями (bophomies), — они тогда только попадают впросак, если какой-нибудь злой дух натолкнет их на мысль перенести свое широкошпательное апломб² по-русски. Но на родном их диалекте, на этом конфетном языке, на котором чем больше слов, тем меньше дела, — здесь все шито да крыто. Немец занимается по большей части чернорабочими ремеслами, где дело говорит само за себя; при этом солидная наружность и многозначительные: ja, ja, so, so, — поднимают его по крайней мере на десять процентов. Публикации здесь редко требуются; и француз жить без них не может, и дело у него не будет клепаться, и сам он затрется в толпе громких промышленников. Великолепная обстановка, бросающая пыль в глаза, размашистое,

¹ До последней степени.

² Объявление.

высокопарное объявление — вот что подымает его в гору, вот на чем высижает он, первый в свете краской и непременно артист какой-нибудь профессии — хоть ножниц или шницов. — «Messieurs et mesdames, — говорит он почтительным тоном, как с кафедры, обращаясь к нам, северным варварам: — до сих пор полусочесальное искусство в России находилось на самой низкой степени, несколько не соответствующей прогрессу других частей цивилизации. Им занимались большею частью ремесленники, не чувствовавшие в себе никакого призвания к этому артистическому занятию. Надобно родиться куафером. Посвятив всю жизнь свою шевелюре, я парочко покинул Париж, где находился членом одного из знаменитейших волосочесальных заведений, переплыл моря и явился в эту столицу с пламенным желанием припять на себя попечение о ваших головках и головках. Могу смело сказать, что я обладаю всеми сокровеннейшими тайнами куаферии, и успехи мои по этой части не оставляют желать ничего более. Кому не известно, что прикосновение артистического гребня решает участь головки, дебютирующей в свете, а мастерски приколотый цветок или грациозный локон определяют число побед на бале. Для человека хорошего тона прическа то же, что оружие для воина. С этой целью я открыл роскошно комфортабельный зал для стрижки и заправки волос, в котором находятся особые апартаменты для дам. Здесь имеется все, что может удовлетворить самому прихотливому вкусу: большой запас настоящих французских волос, превосходный ассортимент готовых кос, париков, накладок, буклей, банто, торсад, лучшие парфюмерии, косметики, фенемасляная вода, окрашивающая волосы в одну минуту, и проч., словом, все, что принадлежит до моего искусства. Надеюсь, что публика» и т. д. Надейтесь, г. профессор гребенки, надейтесь; а мы на домашнем совете вздумаем думу крепкую: куда же девалась шелковая коса души-красной девилы, перевитая лентами, пересыпанная жемчугом? кто обзавел кудри русые добра-молодца? — подумаем, вздохнем да и пойдем стричься под приезжую гребенку à la что-нибудь пожалуй хоть à la Russe, если скажут нам, что Париж удостоил издать такую моду.

Стоит еще заметить в публикациях различные прилагательные, какими сопровождается слово продажа: продают — за отъездом, за излечением, по нечадобности, по обстоятельствам, по нужде... Сметливые покупщики соображают по этим эпитетам план приступа и ход дела: нужна человеку, воспользуйся ею, прижми его и несколькими удачными покупками составь себе славу умного человека. Впрочем, и продавцы не всегда промах, и слова: обстоятельства, нуж-

да, отъезд — нередко одна приманка, на которую идет крупная рыба. Вообще, известное выражение «дешево и сердито» искушает не одного добронормяточного человека, и, пользуясь этим невинным желанием, многие магазинчики назначают, кроме громкой Фоминской недели, еще несколько недель в году для продажи «по самым дешевым ценам»; иные вдруг объявляют, что спешат распродать ассортимент таких-то товаров «с необыкновенною, неслыханною уступкою», да и публикуют это добрый год, к удовольствию расчетливых покупателей и к пользе своего кармана. А один книгопродавец, которому досадно было видеть, как хватают барыши Ножевая линия с Цанским рядом в Фомину неделю, объявил, что у него продаются литературные окитатки!!!

Но не все же одни пuffy (по-русски — надувания) встречаются в публикациях. Много в них вызывающего не одну насмешку; есть в них и горе и тайны, скрытые под формою букв: говорят они и мысли, лишь надо читать их

С толком, с чувством, с расстановкой.

«Одиноким пожилой человек ищет места управителя в надежде заслужить себе вечный приют усердием и честностью. Спросить там-то. Тут же продается канарейка, которая дерется на руку и поет». И вот представляется бедная комнатка-уголок в глухом переулке, в старом деревянном домике; убранство ее — зетхий стол, давно приговоренный к сожжению, стул без задка да матрас с чемоданом вместо подушки. Здесь, на хлебах у какой-то вдовы, приютился в ожидании места объявитель. Издалека притащился он в надежде основаться и дожить свой век в столице. Ни родных, ни знакомых — нет у него никого в огромном городе; был, правда, один сослуживец-однокашник, да он живет теперь в таких палатах, что и подойти страшно; верзила-швейцар стоит у дверей, докладывает по выбору, а ца припелыца и не взглянул. Пыголкался кое-куда будущий управитель — везде один ответ: «пождитесь». Ждет он и месяц, и два, и полгода, перебиваясь со дня на день последними крохами; наконец, в крохи под исход, и продавать более нечего, разве единственный заслуженный фрак. Хозяйка отдыха не дает: «когда же, бапошка, разбогатеешь ты деньжонками? Сама вдова горькая, быует как рыба об лед». — «Дай запечатаю в газетах, авось, будет толк, повернется, может быть, какой приезжий помещик», — думает бедняга и отдает трудовой четвертак за скромную публикацию. Но если кому и нужен управляющий, кто поведет такую дашь? А когда и завернет случайно наемщик, не сойдется: не учился, дескать, рациональному хозяйству, осанки управительской не имеет, смирен больно, не

сумеет прикрикнуть как должно, распечь кого следует... И опять тягостные дни бесплодного ожидания, опять пуще прежнего пристает хозяйка, грозит жаловаться... «Делать нечего, продам Анючку», — решается бездолюбный управитель; а Анючка — канарейка, вскормленная и обученная им в счастливые годы. Привез он с собою жестобокую певунью и все бы не расстался с нею, да нужда, авось дадут на редкость рублей двадцать... Новая публикация, новое мучительное ожидание. Кого-то бог пошлет — покупателя или пасмщика? Ну, Анючка, прыгни, голубочка, на руку, запой в последний раз бриллиантовой флейтой с раскатами... Ох, нет, ни за что не расстануся с тобой!»

«Гувернантка, знающая языки французский, немецкий и музыку, желает поступить к малолетним детям в самую дальнюю губернию». Почему же в самую дальнюю, в глушь, в Саратов, в Оренбург? почему не здесь, в столице или в ближней губернии? Не высказывается ли тут желание унести далеко от суетной, шумной жизни, от любовных взоров, от людских пересудов следы душевного горя, неизлечимой сердечной раны, и среди новых впечатлений, однообразного, скромного быта, заглушить в себе грустные воспоминания? Кто знает! Чужая душа, что лес темна.

«Проездом от Арбатских ворот под Лавинье потерял старинный кинжал с простой деревянной рукояткой; доставивший его по адресу получит такую-то награду». Это что значит? Потерял антиквариат, вызывающий показывать другому любителю старины свое приобретение, стоившее ему немалых хлопот; поднял потерю уличный мальчишка и, рассмотрев, что ножик крепкий, усердно отточил его на камне и определил исправлять какую-то домашнюю службу? Мигам разнесла публикация весть о дорогой для дремко-любителя потере; но, увы! мальчишка не читает газет и ценит свою находку не на вес золота, которое мог бы получить от хозяина вещи, а дешевле обыкновенного ножа, потому что у этого последнего ручка-то кожаная... А между тем бедный антиквариат не знает себе спокойного часа; чуть стукнули в дверь — кто? не кинжал ли принесли? Займется делом — мысли бегут за мечтами, в строках мерещится узорчатая рукоятка с надписью, объяснение которой доставило ему столько удовольствий; забудется сном — сердце не на месте, и тревожная дума пробуждает ежеминутно.

Потеря другого рода — и другая сторона медали. «На маскараде в Большом театре обрешено золотое кольцо, с медальоном из волос, на котором вырезаны литеры Н. И. 18...». Здесь как гадать? Действительно ли волею злой судьбы,

потерял сердечный сувенир, или какое-нибудь остроглазое домино похитило его с согласия владельца за ужином tête-à-tête¹? Сожалеет ли потерявший об утрате, или с приятным чувством вспоминает о милой болтовне, которой прелестивало похищенное кольцо, и только для формы, для успокоения особы, с которой связало его кольцо лет пять тому, публикует во всеобщее извещение о сомнительной потере? За неизмением фактов решить трудно.

«Отставной унтер-офицер желает быть дядькой или попросту «дядюшкой» для дворянских детей, выходящих в свет, и портнес». Нет никакого сомнения, это суворовский чудовище. Был он турок и поляк, а в Париже пировал, по Варшаву стоял, — а теперь, уволенный вистую, не ходит и не может жить без дела: со скуки проидаешь. Нетрудно, что на плечах он носит за шестьдесят: любого двадцатилетнего парня заткнет за пояс. Прошел он сквозь огонь и воду, едал хлеб не из семи печей, — так ему всякая должность знакома, как свои пять пальцев, ничего из рук не выпадет. И малюток он будет нянчить, и за подростков присматривать, и взрослым прислуживать, и кушанье как угодно состряплет, и платье заново поставит. Не упускай же такого клада, благо сам в руки дается: а ты, храбрый кавалер, здравствуй на многие лета!

«Душеприказчики покойного NN (по слухам — миллионера) сам вызывают, но неизвестности местопребывания единственного его наследника (такого-то), в установленном законом срок, для вступления во владение завещанными ему приобретенными капиталами покойного». Итак, оказывается, что богатые дядюшки существуют не в одних романах. Где-то и как застанет счастливец неожиданная весточка. Может быть, под зеленым гнетом обстоятельств, и тогда как в пещеру; может быть, у него не найдется и рубля, чтобы угостить первого, кто, как живой водою, аспрыскнет его этим известием, — у него, который через сукки, огуманенный водным превращением, не будет знать, что делать с своим богатством!

Но ведь это одни мечты, работа воображения, замечательной положительный человек. Спорить не буду; а если угодно вам положительности, потрудитесь прочесть заключительную нашу публикацию: «Отдаются под верные залоги от 30 до 50 тысяч рублей серебром». Кажется, увесистее нельзя и требовать, даром что напечатано неказисто. Скорее же, скорее все, владеющие верными залогами, садитесь — не

¹ Tête-à-tête (франц.) — наедине.

ковер-самолет, изгнанный из употребления, а на паровоз — и спешите по адресу, пока не упредили вас.

Паровоз — эмблема нашего парового века, требующего, чтобы всякий мало-мальски разумный человек хоть бы рысцою, да бежал и успевал за его семимильными шагами, под опасением, в случае обыкновенной ходьбы, прослыть отсталым от века, — паровоз, и ты попал в публикацию «Магазин под знаком паровоза». Что ж это такое? Да ничего более, как вывеска, изображающая паровоз, который мчит на себе колесную масть, чернила, лошадиные лекарства да бритвы с ремнями, потому что эти предметы, всроют-по, выражающие дух века, продаются в означенном магазине.

Следовательно, вывеска — это указатель, способствующий отысканию какого-либо предмета, и название свое получила от того, что вывешивается. Это ясно и не требует никаких филологических изысканий. Публикация указатель временный, вывеска — постоянный. В древности всякий, занимавшийся какою-нибудь промышленностью, вывешивал признак, по которому легко было бы найти его без распысов. С распространением образованности обычай этот, по многим причинам, оказался неудобным, слово заменило дело, и возникла новая отрасль живописи — вывескописание. Впрочем, следы древнего обычая сохранились местами еще и доныне; обручник вывешивает над своею лавочкою-мастерскою связку обручей; местопребывание стекольщика означает лезвистой рамкой из разноцветных стекол, иногда с изображением долота; лавку шорника указывает висящий на дверях хомут или дуга; на притолоке у дышащего паром окна калачника торчат «крупичаты-горячи». Но скоро-скоро эти незатейливые приметы уступят место вывескам, и скоро все будет вывеска...

Постепенное усовершенствование этих последних можно видеть и в настоящее время; но скромные остатки старины как-то совсестятся стоять рядом с надутыми произведениями современности, и почтенная, изъеденная временем наружность их боится сравнения с блестящей золотом и разными узорочьями, видной да всю улицу. — «Висенный и партикулярный партьной Иванъ Федаравъ» — прячется подальше от «*Marchand-Tailleur de Paris*»¹; «Авошесная лафка» живет в захолустье от «Магазина колоннальных товаров»; «Перукмахер и фершеельных дел мастер, он же отворяет жильную, баночную и пивачную кровь», изобразивший важнейшие моменты своей деятельности на вывеске, украшенной кавалером

¹ Портной из Парижа

с дамою, не смеет приютиться рядом с великолепным «*Salon pour la coupe de cheveux*»¹. «Выход азамедления растерящины» — устроен на почтительном расстоянии от «*Hôtel de Dresde*»; смиренная домашняя вывеска — доскуток бумаги, возвещающая, что «Всем доме одягца кяморка», краснеет, глядя через улицу на затейливую дощечку с надписью: «*Chapeaux garnies à l'usage*»²..

Антикварию городской жизни любопытно будет заняться исследованием стародавних вывесок; «благостителю русского языка» может прийти охота побалагурить насчет их ссоры с грамматикою, но нам решительно некогда: животрепещущая современность раскидывается перед нами такой великолепной картиной, поражает столькими диковинами, что нет никакой возможности устоять против ее обольщений.

Кузнецкий мост, Тверская, Никольская, Ильинка — какое зрелище пред очи представляет вы? Домище на домике, дверь на двери, окно на окне, и все это, от нуту до верху, усеяно вывесками, покрыто ими, как обои. Вывеска цепляется за вывеску, одна теснит другую; гигантский вызолоченный слог гордо и высоко висит над двухаршинным кренделем; окорок ветчины красуется против телескопа; ключ в полнуде весом присоединился бок о бок с испанскими ножницами, седлом, сделанным по мерке Бобы-королевича, и перчаткою, в которую влезет дюжина рук; виноградная гроздь красноречиво довершает эффект «Торговли российских и иностранных вин, рому и водок».

Это вывески натуральные, осязательно представляющие предметы; а вот богатая коллекция вывесок-картин: узкоглазые жители Среднего царства красуются на дверях чайного магазина; чернокожие индийцы грациозно покуривают сигары при входе в продажу табака, а над ними длинноусый турок, поджав ноги, типет наслаждение кейфа из огромного кальяна; пышные платья и восхитительные заколки обозначают местопребывание парижской модистки; процесс бритья и пускания крови представляет разительный адрес цырюльни; различные группы изящно костюмированных кавалеров образуют из себя фамилию знаменитости портного дела; ряд бутылочек, из которых бьет фонтан пеннистого наливка, с надписью «эко пиво!» приглашает к себе жаждущих прохлады; Везувий в полном разгаре извержения коптит колбасы; конфеты и разные сласти сыплются из рога изобилия в руки малюток, а летящая слава трубит известность кондитерской; ярославец на отлете несет поднос с чайным прибором; любя-

¹ Салон для стрижки волос

² Служат меблированные комнаты

тели гимнастики упражняют свои силы в катании шаров по зеленому полю...

Но что ж тут удивительного? Товар лицом продается, а публика, хоть и почтенная особа, однако любит разные приманки. Все это тешит взор, а сердца ничуть не шевелит: надписи, надписи — вот отчего оно бьется сильнее обыкновенного. Какой прогресс, какое быстрое развитие, какая скороспелость!.. Смотришь — и не верится, начинаешь думать — и мысли врозь от радости. Русский дух насолит не одному порядочному человеку, а здесь его и видом не видать, и слыхом не слыхать, и баба-яга может разьежжась безбоязненно по всем четыре стороны. Париж, настоящий Париж, то есть, разумеется, самый заманчивый уголок его, в футляре и за стеклом, чтобы наш северный мороз не пошутил с залетным гостем... *À la mode du jour, au pauvre diable, à la coquette, à la renommée, à la confiance, à la locomotive, au Rocher de Cancale, à la ville de Paris, à la ville de Lyon, à la ville de Moscou...*¹ Позвольте, как же это Москва попала в Москву, и из златоглавой первопрестольной столицы-матушки сделалась виллой? Да так! Век приказал, а кто смеет спорить с вekom: поневоле нарядинься в маскарад...

Мало ли чего не знала и о чем не воображала добрая старушка прежде! Были у ней, например, просто лавки да ряды, что ломались под товарами; прошло не много, не мало лет — и магазины затерли лавки чуть не в грязь; минуло еще годков десять — присхали депо, и теперь, куда ни погляди, везде депо: у хлебника депо пшеницы, у табачника главное депо сигар, у помадчика депо благовонных товаров, здесь депо пивовок, там депо дамских кос... Потом пожаловали пассажи, галереи, маленькие базары и *à la*, которые, по-видимому, имеют волшебную силу притягивать к себе русские кошельки и опорожнять их *à la* так или сяк. Прежде, например, один русский человек, портной по профессии, Иван по имени, Иванов по отчеству, вздумал написать на своей вывеске, что он «из немцев». Вздумал единственно потому, что немцам на Руси шибко везло, — написал и сел у моря ждать погоды. Куда! не тут-то было: земляки подняли такую тревогу, такой хохот, что чуть не сжили бедника со свету. А потом, лет через двадцать появились *frères Koussmin, frères Panto-lejeff, Wolkof père et fils, Williamson Koubasoff*² (в паспорте значится: Васильи Васильев из Коломны), Егор обратился в

¹ Часто встречавшиеся вывески французских магазинов «Последние моды» — «Доширо» — «Жокет» — «Репутация» — «Доверте» — «Двигатель» — «Скала Канкаль» — «Париж» — «Лион» — «Москва»...

² Братья Кузьмины, братья Пантелеевы, Волков отец и сын. Виделись Кубасов.

Жоржа, Федор в Теодора. — и ничего, все с рук сошло, и теперь еще сходит, потому что «нам без немцев нет спасенья», и смесь французского с нижегородским должно еще будет теснить смиренный русский язык... Прежде, например, Москва в простоте сердца верила, что запрос в карман не лезет, и что если изба красна углами, то и лавка хороша не зеркальными окнами, не лаковыми шкафами, не в барашки завитым *comptoir*¹ и не вертлявою *dame du comptoir*². Вдруг подул ветер с полуночи, и все перескучивнулось вверх ногами, и русский человек, особенно борода, сделался таким плутом, что без обману и часу не проживет, и торговаться стало стыдно, *mauvais ton*³, и в лавках наступили холод с темнотою, и сидельцы разжалованы были в леучи. *Pris-comptant, pris-fixe*⁴ — как магнит, потянули к себе покупателей, и добрые люди, не морщась, приплачивали по пятидесяти процентов и за комфорт магазина, и за галантерейное обхождение *comptoir*, и за улыбочки конторщицы: дорого, дескать, да мило. Счет всегда круглый, рубли да рубли *en argent* и удивительно как округляет карман. К счастью, снова проглянуло солнышко и разогнало туман, заставший было всем глаза. Перекрестился русский человек, нанял целый дом, разубрал его как следует, битком набил товарами собственных своих трудов, обозначил скромной надписью: «Русские изделия» — и заторговал на славу. Десятки тысяч рублей оборачиваются здесь ежедневно, сотни тысяч переходит из рук в руки в других местах, где дело делается по-русски, не в затейливом магазине, а просто в лавке, в полутемной палатке, не обозначенной даже и вывескою. И если покупателю нужны не *bijoux*, не *parfumerie* с *galanterie* и не *bonbonnets*⁵ да разные вздоры, он может смело, с полным доверием к старинному «праву-слову», обратиться к земляку, помня, однако, что на грех мудреца нет, и в семье не без урода.

«Ничего», — слышится возражение, — а вдруг кто-нибудь из нас еще? Ведь мы не славянищею торгуем одними сырыми, грубыми произведениями: салом, кожами, пенькою!» О вкусах никто и не спорит: господи. Законодательство по этой части, издание мод, остроумие, любезностей, болтовни и всяких вздоров пусть и остается, по праву давности, за великой нацией. Например, касательно одежды — пусть они одевают нас, лишь бы в лапти не обули; пусть чистят наши портянки, лишь бы вовсе нас не облытели; касательно востос — пускай привозят сюда

¹ Продавцом, заведующим.

² Продащица.

³ Дурной тон.

⁴ Предскупая, дога без запроса.

⁵ Ювелирные украшения, *parfumerie*, *galanterie*, *bonbonnets*.

французские, лишь бы наши при нас остались: касательно болтовни — пускай тешатся сколько душе угодно, только бы не нам пришлось платить за чужие грехи, и прочее, и так далее.

Впрочем, это дело уже решенное, и оставшие учителя наши давно пользуются своими преимуществами безданны, беспощинно. Вон — длинный ряд вывесок, возвещающих место жительства разных артистов по части гребенки, иголки, шила и ножниц: это все знаменитости. Такой-то, одна фамилия, без всяких атрибутов ремесла, — и фамилия эта гремит. Мало того: если Пьер был знаменит, то и Жан, называя себя его successneur¹, пользуется такою же известностью; если основатель магазина нажил своей профессиональной дом, то его преемник гитает наложку нажить два...

Может быть, надоело глядеть на мертвые вывески, — как смотрите на живые, на ходячие: не одна Москва — весь свет полон ими...

— — —

¹ Преемник.

САМОВАР



Кипит медный богатырь; полымем пышет его гневное жерло; клубом клубится из него пар; белым ключом бьет и клокочет бурливая вода...

Близко наслаждение: готон душистый чай. Какой вкус, какой запах: что пей, то хочется! Чашка за чашкой, и пот мало-помалу во всем существе, по всем жилкам и суставам, разливается неизъяснимое самодовольствие; тепло становится жить на свете, легко и весело на сердце; ни забота, ни печаль не смеют подступить к тебе в эти блаженные минуты. Хорошо. Тихая лень обаяет душу и тело, все чувства в бес-срочном отпуску; хлопотливому уму-разуму отдых, иривому рою мечтаний полная воля... Приходят и сумерки, задумчи-вые ~~и тихие~~ сумерки. ~~Куржик, дашит, а сам сидит, а как-то~~ полузабытья; дремать не дремлет, а похоже на то. В легких облаках вьющегося пара вереницей мелькают фантастические лица; воображение уносится за тридевять земель; точно за пору детства, когда засыпаешь, бывало, под сказку бабушки, и лежишь раздольною душою в том волшебный мир, где живут Иван-царевичи с жар птицами; бабы-яги да мужички с ноготок, борода с локоток...

Вот и самовар заводит обычную свою песню на разные голоса. То затянет ее дребсзжащим голоском подгулявшего старика, то хватит пронзительного дисканта, то возьмет мягкого тенора, из него возвысится до громкого basso-cantante и вдруг спустится в певучее mezzo-soprano. Замолкнет на минутку, как будто раздумывая о чем-то, и зальется опять эон-

кой песней, то радостной, то заунывной. Какой же смысл таится в ней? Ведь не на одну забаву себе и хозяину надрывашь ты грудь, шумишь и гудишь во всю ночь! Что-нибудь недаром. Давно мы знакомы с тобой, часто прислушиваясь к твоему загадочному пению; иногда, кажется, пахоту ключ к нему; неопределенные звуки облекаются в слово, в мысль, — и вдруг обрывается путеводная нить, и опять слышатся одни неясные вариации на непонятную тему...

Попробуем еще раз Запой, сделай милость

А! Так. Плачешься ты на судьбу, вспоминая старину: славное было время — и люди были долговечнее, и посуда крепче. Все делалось особого крепкого заката, не хруптело от какого-нибудь ничтожного толчка, не знало кинжолу и храбро сопротивлялось губительному времени. Что за вековщина была прочности! Медь — жила увесистая, такая, что из одной вещи вышло бы пяток современных; серебро — все было настоящее, высокой пробы, широкого размера, никак не голая накладная, или самозванец нейзильбер; бронза добротностию и красотою мало уступала золоту; камень дорогой — настоящий самоцвет, не шутовское *imitation de diamants*, изобретенное веком, который хочет рожь на обухе молотить и зерна не уронить. Да. Служили вы отцу, заново переходили к сыну, и звук получал дедовское наследие и бережно хранил его, как родовую святыню, зная, что не на прах и не на час собиралось оно, а скопилось потом и бережливостию, заготавливалось в прок и на век, с мыслию о нем, еще не родившемся потомке. Привольно было обжиться в одной семье, весело было служить признателному человеку. Теперь как в воду кануло это золотое время. Разлюбил человек воспоминания, оторвался от старины и, закалив свое сердце в броню из металлов, бежит вперед без оглядки, точно вырос он в парнике, а не на почве, увлажненной слезами и кровью нескольких поколений. До вас ли, стариков, ему, занятому исключительно одним собой, своими пуждами и выгодами? На что ему дедовские кубки, братилы, столетние кресла, фамильные портреты, вековые пергаменты? Одно он переплавил в хрупкие столовые приборы, другое продал мезылам, лилжил ростовщику, третье валяется в кладовой, обреченное тлению и в добычу мышам... Если самого себя меняет он на подделку семь раз, то какого же постоянства ждать от ветренника в отношении к самоварам! Вот и ты, того и гляди, попадешь под опалу, забудется долговременная твоя служба, и продадут тебя в лом — не за порок какой-нибудь, а единственно за то, что старомодного ты фасона, отстал от века. Пройдут года, и никто не вспомнит о тебе, никто не скажет, что был такой-то самовар, который

столько-то лет грел воду для наслаждения и утешения человечества! Грустно... На каком же основании создавалась жизнь зонтика? Как смели калоши иметь свою историю? Кто позволил вести путевые вычисления зайцу? Откуда взялись прищипывающая булавка, черзопца, синей ассигнация? Да, словом, редко у какого из предметов, ничуть не полезнее, не заслуженнее тебя, не было своей биографии, своего историка. За что же ты один подвергнешься несправедливому забвению? За какую провинность обижает тебя судьба-мачеха? Бедный самовар!...

Чу! радостно загудел ты, давая знать, что поняты твои жалобы. Начнем же скорее, пока не остыли в тебе жизненный пыл, повествование о твоей кинучей жизни, соберем в одно все отрывки ее, что слышалось и виделось мне под твой говор в длинные одинокие вечера.

Вышел ты на свет в городе, где по части металлических изделий - чего хочешь, того и просишь. Это свидетельствует старинная надпись, кудрявым почерком вырезанная на ободочке твоей крышки: *«Василей, Иванъ Ломовъ в Туле»*. Не долго пробыл ты на родине, и как пришла пора, хозяева повезли тебя к Макарыю, вместе с многочисленною артелью разных самоваров и всякой медной посуды. Поехал тут самовар-будан в три ведра объемом, председатель извергов с наемными кондитерами и загородных трактиров-палаток; поехал и самовар-крошка в десять чашек величиною, отрада холостяков; приотились и дорожный складной, и десятки семейных самоваров разной вместимости; кастрюлям, чайникам, подсвечникам не было счета. Приехали вы на всесветное торжище, покрасовались в лавке недели две и разошлись по разным концам земли Русской, кто куда. Тебя привела судьба жить в Рязани, в Солдатской слободке. Хозяин твой пожилой чиновник какого-то суда, богат лишь одними детьми да заботами. Уже давно собирался он обзавестись самоваром, и жена сколько раз говорила: «Когда же мы, Егор Афанасьевич, перестанем греть воду для чаю в горнице? хоть бы постыпились добрых людей!» - да на всякое хотение было терпение, и не явись неожиданно наградные деньги, пришлось бы еще не один год довольствоваться горшочком. Зато уж и было радости, когда привезли тебя в трехконный с зелеными ставнями домик новых твоих хозяев! Настоящий годово́й праздник, особенно для детей, которые не могли наглядеться на твою светлую, как стекло, наружность, на узорочную конфорку, на хитрый кран, хлопали ручонками, кричали, бегали, — так что, благодаря их возгласам, почти весь околоток мигом узнал, что Егор Афанасьевич купил самовар, и не одна домовитая хозяйка позавидовала такой дорогóй в то время

чеши. А радостная семья, как водится, тотчас прикинулась об-
нозлить покупку, и для этого важного случая устроена была
надлежащая закуска и приглашено несколько говорливых ко-
седок. Вот запылали уголья, зашумела вода, пошло диковин-
ное бурчание — ну, честь имеем поздравить: поступил ты са-
мовар на службу, дана тебе жизнь и дуня — служи же на
пользу человеку и себе на славу. На повоселье все идет хоро-
шо. Кипит ключом, горя жаром, на столе, покрытом белоснеж-
ной скатертью, среди семи старинных чашек, дружелюбно
приклонившись краном к объемистому чайнику, ты составля-
ешь главный предмет разговора, к тебе относятся все похва-
лы за чай. «Нет никакого сравнения с водою, трегою в горш-
ке!» — слышится со всех сторон, и никто не прочь выпить
лишнюю чашку аппетитного напитка; даже маленькому Мише
позволяется выкупать более обычной порции.

А в следующие дни ты торжественно принимаешь на
свое назначение — служить из кухни, самовар вступает во
все его права и, разумеется, с честью исполняет свою много-
трудную обязанность. Работы вволю. Прежде семья Егора
Афафасьевича пила чай изредка, по праздникам, или для го-
стей. А в будни довольствовалась мятой, бузиной, липовым
цветом и другими домашними травами, да и то когда сло-
ручно было согреть воду в горшочке; а как запелась благо-
детельная машина, то и питье чаю обратилось в привычку,
почти в необходимость, тем более, что во всякое время, как
только захотелось, можно мигом поставить самовар и усла-
дить свою душу. Пришел кто из знакомых, чем лучше попот-
чевать его, как не чаем? Заболела у кого-нибудь из малюток
голова, понездоровилось сахарной сожительнице Егора Афа-
фасьевича — на что полезительнее лекарство, как чай? А слу-
чалось нередко и так: вечером Егор Афафасьевич придет от
должности с огромною связкою бумаг, которые непременно
надобно переписать к следующему утру; мочи нет, как болит
у него позвоночник, и глаза плохо видят ночью; да что ж де-
лать-то: служба! Походит-походит труженик по горешке, по-
бродяжит на судьбу, на обстоятельства, кстати даст нагоняй
кому-нибудь из шагунов-рефитишек, да и кончит тем, что
скажет жене: «Поставь-ко, матушка Катерина Александров-
на, самоварчик: авось, будет полегче! бог не без милости!»
И точно, напившись чаю, он перестанет хмуриться, развеся-
лится, от сердца отойдут житейские невзгоды, как рукой сня-
ет изморозь, — усердно засядет ворчун за дело и просидит
за ним, не разгибая спины, пока не осилит срочной работы.

Другу-утешителю человека в горе, другу-собеседнику в
радости — самовару особенный почет и любовь ото всех. За-
нимает он самое явное место в комнате на комод; каждую

субботу чистится кирпичом с уксусом и, благодаря этой операции, смотрит всегда как будто сейчас с мылится; случись кому из соседей попросить его на часок, хозяйка дает, но с строгим наказом, чтоб не испортили ее любимца. Только тогда и бывают в семье Егора Афанасьевича недовольные самоваром, когда мать подвергнет крошку-шалуна за провинность чрезвычайному наказанию — остаться без чая; да и то не более часа продолжается это неудовольствие: материнская нежность отирает детские глазки, и самовар снова делается миленьким, хорошеньким, певунчиком.

По время-то между тем знать ничего не хочет — ни горя, ни радости, и бежит быстрее воды; день исчезает во дне, год поглощается годом. Прошло не мало лет твоей службы у доброй семьи. Два раза успел ты побывать в полуде; врос в землю, избогачился уютный домик; соседка как дунь и сгорбилась Егор Афанасьевич; а Катерины Александровны нельзя и признать с первого взгляда: настоящая старуха. Много горя и мало радостей видела среди себя согласная семья. Детей, кроме двоих, всех бог прибрал; да от этих двоих не скоро можно было ожидать подпоры родительской старости. Милша еще учится в гимназии, а сестра его на возраст, через год неместа; но кто же возьмет бесприданницу?

Вот и еще минуло года с два. Егор Афанасьевич крикнул долго жить. Известно, что хорошие люди и богу надобны; да и по летам-то смерть глядела старику уже через плечо, по дня на день следовало ожидать ее; но как будто вовсе непредвиденным, страшным ударом поразила она осиротелых. Как быть, чем жить? Делать нечего, бросай, Милша, науку, ступай служить, благо начальство помнит старика-отца; а ты, Аннушка, полно гадать о женихах, просиживай ночи за работой; пропай, буренушка, лет десять снабжавшая нас молоком; приходится вести тебя на базар; прощайте и яблочки из своего сада: вас снимет барышняк... Но какие средства ни употребляли сироты, чтобы не чувствовать горя горького, не терпеть нужды безотступной, — без головы, без надежной подпоры им было куда как туго, и завтра всегда являлось печальнее сегодня. Редко развлекал самовар тоску своих хозяев; сиюминутно и рядом случалось, что вместо отряда он приносил с собою новую печаль. Подадут его на стол, закинут он как следует, зальется несною, — и вдруг старушка востынит, что покойник любил этот говор, или что весел он был в этот же самый день, столько-то лет тому назад, — вспомнит, да и зальется слезами; глядя на нее, заплачут и дети...

Но не одни заботы о насущном пронатаили, что тяжким камнем налегали на всю семью, мучили старушку: пуще всего тяготил ее Милша. Каким примерным мальчиком он был в

гимназии, как любили его учителя! А поступил на службу бог знает, что за рассеянность и за небрежность напала на него! То забудет поклониться кому следует; то, переписывая бумагу, подумает исправить слог ее; то найдет на него такой стих, что сидит день-линем целый так да бормочет что-то сквозь зубы. Раз дали ему переписать набело какое-то дело. Миша отличился, переписал ровным, четким почерком, и рука не расходилась у него ни на одну прибабку. Григорий Пактевеевич в первый раз похвалил Мишу и донес бумагу к Петру Федоровичу. Петр Федорович как взглянул, так и ахнул. На последней странице Миша удодужился приписать стихотворение Державина: «Властителю и судиям», и прибавил к нему несколько строк собственного своего изделия. Изумление всех сослуживцев названного поэта было чрезвычайное. «Пишет стихи! в эти лета? Не имея даже классного чина!!!»

Один старый сослуживец покойного Егора Афанасьевича поспешил довести это казусное обстоятельство до сведения маэстро Миши. «Конечно, матушка, — заключил он, окончив свой рассказ, — сочинительство вещь не глупая, но подобно знанью, как потрафить. Бывали примеры, что через сочинительство попадали и в генералы, например Сумароков, да ведь это не редкость. А Михайле Егоровичу подобно сослужить да и послужить: уж если есть у него такая смертная охота сочинять, так пусть напишет стихи на день именин Петра Федоровича: чрез это можно кое-что и выиграть. Так-то-с». Старушку это известие удивило не менее всего служащего люда. Тотчас к Мише. «Что с тобою делается, мой голубчик?» — «Ничего, мамеышка». — «Какое ничего а стишки-то откуда берутся, каким маэстром ты их сочиняешь?» — «Мудрено», — отвечал Миша, и одну только поняла мать, что он хочет учиться, сидит и видит ехать в Москву, чтобы удовлетворить своим «тысящим потребностям». «Охо-хо ты, мой сердечный, — промолвила мать, покачал головой, — нынче занесешься, углдеешь, пожалуй. Помилуй бог как занчтасься!.. Сем-то и поставлю самоназчик?»

Но как неожиданно падали беды в бездельную семью, так внезапно посетило ее и счастье. Свет стоит не без добрых людей, и не всегда с огнем отыскиваются они. К бесприданнице Аннушке присватались жених...

«Свадьба, свадьба!» — раздается из подгорода, «свадьба, свадьба!» — гудит самовар, весело шумя на дровяном столе, окруженный роем деушек, воспевающих шелковую кобю дунни-девицы. «Скоро ли свадьба?» — нетерпеливо историт Миша, горя желанием увидеть осуществление задуманной своей надежды — ехать в Москву, средства для чего обещаны ему от будущего зятя.



Харчевня в Москве. Раскрашенная литография Логинова. 1841 г.



Чашечное. Рис. кн. Г. Г. Гагарина. 1845 г.

Но скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается: началось оно осенью, а пока тянулось приготовления, шьюсь приданое, обзаводился жепих своим домом, пока миновал медовый месяц, — наступила полная зима.

Памятный день в жизни Миши и в истории самопара! У ворот довольно красивого дома на Дворянской улице стоит тройка рынных коней, готовая по взмаху кнута лететь за тридцать земель; ямщик обхаживает круг своих сокольников, хлопывая рукавицами, и, несмотря на крепкий мороз, курныкает «Степь Саратовскую».

«Скоро ли же выйдут господа?» — спрашивает он у человека, нагружающего кибитку дорожной кладью. «Да еще не совсем собрались», отвечает тот. И в самом деле, хотя не один день продолжался сборы к дороге, а все-таки оказывается, что забыли приготовить и то и другое, и если бы укладывавшая все, что заботливость матери считала необходимым для спокойствия сына, не достало бы и трех кибиток. Ну, теперь, кажется, все. Остается присесть да помолиться богу. «Ах, ведь совсем из пелены вын, — говорит вдруг старушка, — самовар-то и забыли. Уложить его поскорее в один кулек с сапогами». — «Да помилуйте, маменька, на что он мне?» — горячо возражает сын, не чующий как бы выбраться за Московскую заставу. «А где же ты будешь пить чай?» — «Да там, где стану жить». — «На хлебах-то? Нет, дружок, знаешь, каковы наемные квартиры-то: не горюше лишний раз пропел, и за это заплати. То ли дело свой самоварчик: как захотел, так и зашлеп; любо, да и только». И как ли отнекивался Миша, а должен был исполнить желание матери. «Береги же его, сынок, — промолвила она, — это память покойного отца...»

Пошли прощанья, прощанья; прослезился Миша, заплакала сестра, ручьем слез разлилась мать... И вот кибитка с дорожками бутинками уже скрылась из виду, а она все еще стоит на крыльце, как будто ожидая, не вырвутся ли они; вот они уже миновали станцию, а мать все еще стоит на коленях пред образами, моля пречистую, да напутствует своим покровом ее нечагладное детище.

Миша в Москве. Чудно притягивает его этот

Город храмов и палат,
Град средный, град сердечный,
Коренной России град.¹

Какое разнообразие! Сколько движения, жизни, уместной, торговою, промышленной! Какое богатство видов! Сколь-

¹ Ф. Н. Глинка.

ко следов священной старины и в иданиях, и в обычаях, и в самом языке!.. Удовлетворив первой жажде любопытства, осмотревшись, написав стихи в честь Кремля, Миша горячо принялся за дело... И музы приоткрылись у молодого пришельца: не мало написал он элегий, посланий, просто стихов и, наконец, тех литературных шуток, которые под именем шарад, логотрифов, анаграмм, акrostихов цитешали публику того времени.

А что делает самовар? Усердно служит, принимает горячее участие в трудах своего хозяина, и часто утренняя заря застает их вместе — одного с книгою или пером в руках, другого — закипающего для освежения сил труженика.

Между товарищами Миши многие также принадлежали к числу поклонников Аполлона, и общая любовь, общие мечты и надежды сблизили их тесною приятною. Посочередно собирались они друг у друга коровать время. Не дужно, кажется, говорить, что литературные вечера молодежи показались бы странными теперь, когда дети волпчат себя молодыми людьми, а юноши титулуются мужами. Разумеется, много было заносчивого и суждениях будущих подвижников словесности; увлечение переливалось иногда через край; романтизм напропалую воспал с классицизмом, устойчиво зацципавшим свои стародавние прапа; но все это было как-то уместно, искренне и во всяком случае лучше преферанса, ремизов и прочего. Мало проскакивало фейерверочных блесков ума, но достаточно было сердечной теплоты, и простота заменяла хитросплетенные парадоксы. Убеждение не навязывалось, а приходило само собою. Вечера у Миши были особенно шумны, и собеседники нередко просиживали за полночь. Хозяин не скуился на чай, единственное угощение, какое требовали от него посетители, и расходы на этот предмет щедро возмещались удовольствием, какое доставляли ему литературные собрания. И самолюбие его было чем удовлетвориться: стихи его почти всегда одобрялись бывшимиеством философов, и один молодой сочлен предложил было издать их в свет на общий счет; но так как печатание требовало денег, которые не часто посещали карманы бесребреников, то решено было, для ознакомления публики с новым талантом, предварительно поместить несколько стихотворений в одном московском журнале. Миша выбрал заветные свои произведения и послал. С месяц прошло в тревожном ожидании, наконец — о радость, о восторг! «Послание к родине» было напечатано, и еще с лестным примечанием снисходительного редактора.

Несколько дней Миша был сам не свой от полноты чувств, не знал, за что прикяться, с кем поделиться своим счастьем. Ему казалось, что уже вся Москва читает его

стихи, что лишь только покажется он на улице, все обратят на него внимание, заговорят: «Новый поэт, поэт!» Пойдут знакомства, а у него, досада какая, и фрака нет!

Но долго ли носиться в голове юноши розовым мечтам и засыпать ему под их обаянием? Увы! разочарования не замедлили пойти своим чередом...

Началось с того, к чему особенно лежала душа, с науки. Многое, что думал осилить он одною искреннею любовью, явилось недоступным ему... Когда так, бог же с ней, с этой наукой, подумал слабодушный Миша. К тебе, поэзия святая, к тебе, неизменная подруга сердца, припикну я...

Действительно, обиженому самолюбию, обманутым надеждам скоро представился случай к удовлетворению. Муж Аннушки рекомендовал молодого поэта одному вельможному покровителю литературы, и Миша последний представился своему будущему меценату. С трепетным, полным надежд сердцем поднялся он по великосветской лестнице в огромную приемную и робко занял место в длинном ряду просителей. Скоро распахнулись двери кабинета, и вельможа двинулся в путь, где предстояло ему сделать много добра или худа. С тревожным чувством заметил Миша, что он не в духе, расстроен. «Вам что угодно?» — спросил меценат, дошед наконец до него. «Ваше превосходительство назначили мне явиться.» — «Зачем?» Молча подав ему юнота «Бессмертия души», плач двух бессонных ночей. Бегом взглянул вельможа на мелко исписанную, тонко бисером, тетрадь и, как громом, вдруг поразил поэта вопросом: «А читали ли вы Клоушника?» Смущенный Миша не знал, что отвечать на такой неожиданный экзамен. «Какой же вы поэт, если не читали Клоушника?» заметил меценат. «Я полагаю, что, чувствуя призвание,» — смиренно начал было Миша; но покровитель быстро прервал его новым замечанием: «Да кто же вас призывает?» — и, молнии это, двинулся далее.

Жестокое поражение были этим уроком поэтические наклонности Миши. Как назло, сплелся немного, в журнаliest позлратил тетрадь его стихотворений с коротким замечанием, что не может их напечатать. Как назло, в это же время на горизонте литературных вечеров молодежи возилась новая звезда, несравненно ярче, и затмила собою Мишу. Как назло, и черпковая «душа его души», предмет многих посланий и мадригалов, вышла замуж за какого-то квадратного господина... Сосредоточиться в самом себе, равнодушно перенести и прихоти случая, и ветер людских мнений у бедного поэта не достало сил. Сомнение и тоска сильно закрепились ему в душу. Не раз, «попав в себя сгущенный огонь поэзии, призвав на жертву Аполлону», брался он за перо; но

едва начинали забываться дразни жизни, вдруг, казалось ему, какой-то насмешливый голос шептал над ухом: «А читали ль вы Клопштока?», «А кто вас призывал?» Небольшие красные юноша и в тажком раздумье бросался на постель, напрасно силясь оживить в себе иссякавший источник вдохновения.

Житейские заботы также круто подступили к Мише. Пришлось самому петься о средствах содержать себя в Москве, потому что муж Аннушки, пособиями которого до сих пор существовала он, умер, не оставив никакого завещания.

День за днем горкая действительность стала все более и более обнажаться из-под пелены, которою завесило было ее воображение, делалась все мрачнее и безнадежнее. «Тяжело, душевные силы истощаются, гаснут; всякий проблеск их мучает, а не животворит; так прочь же их сожжем, прочь все, что мешает слезыйти до совершенного равнодушия к внутренней жизни. Лучше быть бесчувственным, нежели чувствительным; а если заговорит прежнее, есть средства забыть-ся.» Такие мысли беспрестанно искушали юношу, и забывался он под их тлетворным влиянием, и мало-помалу погружался в тине прозябательной жизни, с каждым шагом все глубже и глубже.

Три года прошло, как расстался Миша с матерью. Узнает ли она его теперь? назовет ли своим сыном этого полуюношу, толмужа, с испугным лицом, на которое не труд и не бессонные ночи падожили свою печать, — его, небрежно одетого, с цинической речью и презрительной улыбкой на устах? А если и признаст, то не зарыдает ли тажко и не промолвит ли: «На то ли родила я тебя, милый сыночек, чтоб плакаться под старость на твою победную голову!»

По-прежнему собираются у Миши веселые товарищи, по не те, что прежде. Не о поэзии, не о светлых увлечениях молодости ведут они речь, насмешливо называя ребячеством все, что радовало душу в былые дни; а рассказывают анекдоты, при одной мысли о которых краснел, бывало, Миша. Шеголягут друг перед другом двусмысленными остротами. Самолар уже заброшен в угол, и на столе вместо него господствует какая-то подозрительная посуда; дым от трубок столбом ходит по комнате; и разливной смех и забубенные песни тревожат сон не одного соседнего дома.

Еще несколько месяцев — и Миша покидает свою квартиру, где знал много счастливых дней; из экономии он переезжает куда-то на хлебы, распродает всю домашнюю утварь, не жалеет даже, как лишнюю вещь, и самовара, с которым, с еднократным парадоксом после отца, обещал никогда не расставаться.

И три года могли так страшно исказить чистого юности! Да, сильна пошлость, и если раз охватит кого своею губительною сетью, много падо жертв, чтобы отрешиться от нее.

Что будет с Мишею потом, в пору совершенной зрелости? Огрубнет ли он навсегда или дойдет до бога многомогущая материнская молитва, и зорится ли он в родной город измененным, со следами разрушительного опыта, но все-таки подобием человека, не погибшим безвозвратно?.. О, самовар, самовар!

II

Везет тебя новый твой хозяин вместе с семью мало-сольною, мешком грецких орехов, разною бакалеею и бочонком сантурического, везет «вдоль по Питерской по дорожке», без малого за двести верст. Товары нужны ему для мелочной лавочки, ты требуешься для постоянного двора, который содержит он. Ну, не жалуйся теперь, что зальох без дела, пропал со скуки; здесь только устевай кипеть, будь готов на службу во всякий час дня и ночи, не зная отдыха ни летом, ни зимой. Большая дорога; взад и вперед ежеминутно снуют по ней и конные и пешие; и всякий, у кого есть в кармане лишняя гривна, не откажется подкрепить свои силы благодетельным чаем, когда ослезится, когда сгустится им. Всегда ты был кетати, добрый самовар; но где взять слова для выражения того, каким другом являлся ты в ненастные дни осени, в бурную выюгу суровой зимы? Ветер страшно завывает, взметая до небес и крутя столбом снежную пыль; крошится мороз; не то что дорожки — эги не видно склозы облака снегу; кругом разливанное море метели, ретиные кони выбились из сил; ямщик приуныл; у седока зуб с зубом не сходится, и медвежья губа прозябла, покрывшись ледяным инеем... Пришел, видно, последний час... «Эх, голубчики, выложите!» — крикнет вдруг Ванюха, завидев желанный огонек, — вон оно, Ермилково-то!» Почувствуй ночлег, понатужатся кони и разом приклат ко двору. Слава тебе, господи! Здесь и заговейся, злая выюга. Ямщику стакан пива, барину живой рукой самовар. И довольно получасовой беседы с тобою, чтоб оживить душу и тело, разогреть кровь и сердце, почувствовать в себе завидный аппетит на плотный ужин, и крепкий покой на утомленный сон, и силы для дальнейшего пути, сколько бы выюг так ты предстояло. Но так проходит слава мира сего и такова людская благодарность: на следующей же станции позабудут тебя; а настань хорошая погода, так не спросят, пожалуй, и самовара, а просто пройдутся по рюмочке.



В трактире. Рис. П. М. Шмелькова. 1859 г.

Вспомни, самовар, кого не согревал ты, каких племен, одежд, лиц, каречий, состояний не приходилось видеть тебе на постоялом дворе!

Вот компанство гостенных владимирцев, которые под именем ходябщиков и яфеней, с возами, коробами и мешками, гуляют по лицу почти всей земли Русской. Случайно встретившись земляки, неизвестно, приведет ли бог свидеться опять: польем же, братцы, вместе бусильнику (чайку) да погитарим про дела. И изюм они по многому множеству крещенных чашек, льют «до седьмого яруса поту», крутыми каулями выступающего чрез все поры тела; между антрактами расширявают друг у друга, какво поживает Терехя, здравствует ли дядя Антип, не обженился ли Семен; наведываются и про торговлю: в ходу ли нынче «Похождения несчастного Никанора», и отчего пошел в славу господин Пушников; по чем покупали кубовую лехтрадь, и много ли можно выручить на тульских бритвах.

Только что слили православные бородки, распростившись и пошли в путь али на конь камурку бусать (п кавав горелку пить), только что отправился ты на отдых и спой угоса, с громом и треском катит ко двору двухсиженный тарантас, нагруженный смоленским помещиком с дочерью-пансионеркою и прислугою, перинами, ларцами, сундуками, узлами, кардонами и всякою всячиной. «Жиней поворотнайся, хе зияв, помогай выносить из тарантаса, давай чистую комнату, приготовь свежей воды, разводи огонь, тащи кринку сливок, беги из деревни на земляничкой...» — раздаются приказанья за приказаньем; хозяин смотался с ног, дым идет коромыслом по всему двору. Не любит лиш барин сидеть налетке и требует, чтобы на стоянке был у него такой же комфорт, как дома. Остановился где, так уж и закусит плотную, и отдохнет, и на флейте, по драгунской привычке, похвистит, и чаю закупается псалты. Точно так случилось и на этот раз. Вздремнув с часок, барин потребовал наконец самовар. Какая белоснежная ручка хлопочет около туляка, какие бархатные глазки видятся в его полированных боках, что за перламутровые губки прикасаются к чашке и что за жемчужный смех раздается из них, когда на вопрос: «С чем прикажете, талаша, палить вам чаю — со сливками или из бутылки?» Панаша серьезно ответит: «Я душенька, с 97-го года, по совету доктора, постоянно придерживаюсь ямайского!» Промочив горло двумя стаканами «с подливочкою», барин принялся расспрашивать дворника, как и что он, сколько платит оброка и каковы нынче яровые; но едва вошел в предмет своего разговора, едва начал доказывать, что мужик лентяй-лентяих, — вдруг: динь, динь, зазвучала пблиз колокольных, все ближе

ближе, ног и коной видно — ухарская тройка мчитя что есть духу, на лбу написано: «по экстренной надобности», пар из ноздрей, брызги пены с боков, клубом пыль из-под копыт... Подлетели ко двору, остановились как вкопанные, с тележки прыгнул молодежавший офицер, хозяин со всех ног бросился встречать нового гостя, милостивая разврателица чаю невольюно взглянула в сомбривенное зеркальце, висевшее на стене, и поправила челдеринку. Все это сделалось скорее, чем глазом мигнуть.

— Чем прикажете прохитить, ваше высокоблагородие? — слышится за дверьми почтительный вопрос хозяина.

— Мне ничего, братец, не нужно, кроме лопатей да стакана холодной воды.

Помещик был хлебосол: какво же ему капышать, что его близкий, пизмогающий от жажды, хочет утолить ее водой, простой водой, когда за два шага кипит благотворная китайская, да вдобавок с имайским, со сливочками и с разными разностями. Русские натура взята верх над европейскими приличиями. Оправив халат, домовитый постоялец вышел к просящему. «Покорно прошу, по-дорожному, без церемоний: не угодно ли выкупать со мной стакан чаю?» Офицер, слегка поклонившись, окинул хлебосола взглядом. «Честь имею рекомендовать: такой-то, — продолжал помещик, — везу дочку из Москвы, из пансиона, воявода. Позвольте и мне узнать, с кем имею честь говорить?» После обмена приветствий радушный хлебосол еще сильнее приступил к просящему, и сколько ни отговаривался этот последний ледосолом, дорожным костюмом, а должен был наконец принять его приглашение, тем более, что лопатей не оказалось в чашотопе.

Слово за словом, стакан за стаканом, завязывается бойкий разговор, и часы пролетают, как минуты. Между новыми знакомцами подпорается такая короткость, что хозяин называет своего гостя братцем; панионирка уже более не досадует, что одета сегодня en garçon; а офицер забыл, что является тройкой, проковылял и дерзает каждой секундой. Уже два раза докладывал ящик, что лошади готовы, давшим-давшим надо бы сделать станицию; но как же прервать начатый разговор о столычном-быте и не послушать такой милой рассказницы! «Только минутку, даже минуточку!» слышится от седока, и минута тянется полчася. Наконец и солдце село, начали укладываться... Пора! «Прощайте, Иван Васильевич! Вашу ручку, Софья Ивановна!» — «С богом!.. Счастливый путь!» — «Увидимся ли когда?» — «Вы не забудете нас...» И скрылась из глаз дикая тройка так же быстро, как появилась Иван Васильевич начал одеваться, а Сочечка что-то пискорю зашлепала а своем пансионском альбоме

Как знать, может быть, в это короткое время успеет записать один из тех летучих романов, которые умеет рассказывать только автор «Мстели»! Чем кончится он? Промыслит ли падучей звездой в сердцах обоих, или долго будет теплиться в них живительным воспоминанием, или, согревая одно сердце, порастет травой забвения в другом?.. Не нам с тобою, самовар, решать и разгадывать эти вопросы: некогда. Видишь — новые гости.

Кто пожаловал? Добрый молодец, собою, как говорится, кровь с молоком, песеляк такой, что разлюли. Приехал он на одесской подвое, вбежал в горницу, распевая:

Нету денег ни гроша,
Зато слава хороша!

назвал хозяина плутом (ня что этот снисходительно оклабил зубы), потом сорвал поцелуй с губ непристойной работницы и терпеливо перенес от нее здоровую стукманку; спросил себе самовар и усидел его добрую половину. Веселись, молодой человек, пока железным гнетом не палег на тебя опыт жизни, пока не постигло тебя превращение, подобное Мишкиному; наслаждайся, пока играет на щеках румянец здоровья и распынным смехом заливаются широкая грудь. Смотри: следом за тобою приехал на постоялый двор почти ровесник тебе; но кто скажет, что ему двадцать лет! Наследник знатного рода и огромного состояния, он не промотал своего здоровья и своей юности; но злая болезнь, одно имя которой говорит о безнадежности выздоровления, грызет его сердце, и с каждым днем раскнут слабеющие силы. Люди заставили бедного юнцура лаяться, что лучше, чем другой дурачок, издеваться над ним, где действительно лагает и ясное небо, и жаркое солнце, и пахучие померанцы вместо урюжых сосен; но где-нибудь кто-то даст ему ни рошпой слезы, нишпоричего, закулиничного участия; где не услышит он ни слова русского, ни молитвы, какою от колыбелей привык встречать каждое утро... Не сиди, милый, останься здесь, и сладкая будет тебе кончина, среди своих, и будто к тихому сну отойдешь ты в вечность. Бедный, бедный! видишь ли, как слаб ты: едва прошел несколько шагов, и уже задыхаешься от усталости, потребуешь чаю, и не мог выпить даже одной чашки.

Искать здоровья едет он за моря дальние; а оттуда спешит к нам какой-то господин за деньгами. Что ж? просим милости. Какой у вас талант? Пускать шель в глаза, задирать фразу, из деревенского учителя уметь прикинуться профессором всех возможных и даже невозможных знаний? Прекрас-

¹ Гр. Соллогуб.

но, мы очень нуждаемся в таких людях. Выбирайте себе Москву, Петербург, пишите широкопешетельную программу с диссертацией о разных системах воспитания, занимайте приличный дом, надевайте для пущей важности ученые очки, — и будьте благонадежны: наши рубли не замедлят явиться к вам. Лет через десять вы обрусаете не хуже своего земляка, который ментором сопровождает нас в финансовых экскурсиях по России, из Готлиба обратитесь в Ивана Ивановича, будете кушать чай с таким же аплетитом, с каким пьет он, жонитесь, обзаведетесь Карлушами, Христиночками и будете жить себе припеваючи, услаждая душу неизменным гавом, благословляя слутий, вдохнувший вам мысль переселиться в Московию, и посмеиваясь втихомолку мал людьми, которые, хоть и крепко чомужали, а все еще, по привычке, ходят на помочах...

Кто счет потом? Миллионер-сибиряк, волчья шуба, гороховая шинель, бухарские халаты, мыло казанское, честные жидовские лески, грузинская палаха, простодушный сын Малороссии на гаре «цобе, цобе!» — и все это более или менее беседует с тобою, неугомонный самовар, и внутренне благодарит неизвестного изобретателя благодетельного скарда.

Но кто бы ни был временным твоим распорядителем, хозяйство его оканчивается всегда с вопросом: «Хозяин! сколько тебе следует за все?» — «Да что, с вашей милости лишнего не возьмем, — отыскаст Сидор Федотович, подходи к постояльцу со счетами в руках, — лошадам сена да овса да брани; кучеру щи хлебал; сами изволили кушать; горшочек сыбкок спрашивали: за самовар, за воду, за уголья следует; бричку подмазали; в холодной горнице изволили стоять; паренка прислуживал вамему здоровою, на почту бегал; свечки горела, по вамему приказанию, как изволили почтатить письма. Всего-с...» Тут застывают счета и выведется самый иптекарский счет. «А за постой, за тепло и уж ничего не полагаю с вашей милости: просим напередки не оставить нас своим посещением, всепокорнейше просим не проминать нашей избу. Таким господам, как выне здоровою, мы всегда очень рады, с нашим удовольствием, истинно как перед богом, то есть заслужим вашей чести». Разумеется, что редкий постоялец терпеливо выслушает счет Сидора Федотовича и не разразится громом самых выразительных слов. «Что же, извольте обижать его, коли есть на то ваша воля; он человек маленький, подначальный, на послушания не зыбнет, и с вашей милости подушки лишней не смеет взять: ведь он не магазинчик какой, таковы у него нет, да ведь душа-то и ему надобна, а совесть, известно, всякое дело, дороже всего; его дело мужицкое, сиротское, а вашей милости бог помлет на

его долю». И в заключение подобной рации, произносимой голосом овецки в лапках у толка, Сидор Федотович скинет, в убыток, как перед богом, в убыток себе, единственно для хорошего барина, постыну-другую, умастит постояльца, и в результате все-таки получит сумму, не безобидную для своего кармана. Мало того: он с поклонами проводит их милость до самого экипажа, поможет сесть, напомнит кучеру, чтобы осторожнее спускался с косогора и берег барина, словно, обделает дело так, что постоялец действительно никогда не мигнет его дворят: «плут, дескать, да умел». Любил эту пошловину Сидор Федотович, держал на уме и другую «рыба ищет, где глубже, человек, где душе».

«Оно, конечно, зашибить конейку можно и на постоялом дворе, и делом торгуешь не без прибыли, да стоит ли алтын-ничать? И будешь ты весь век свой мелюзга, а не настоящий торговец, и в рыло съездить тебя может всякий, и за бесчестье не заплатишь; почта дожدهшься разве только в своей деревне, — а то везде ты мужик, да мужик, да еще сивой-пый. Ну, а если, примерно сказать, большой корабль ему и плавание бывшее, и все уж такое. На лодке нешто пускаться в широкое море: или дальше берегов не уедешь, или пропадеешь яи за денешку. Корабль дело другое.» Так постоянно подумывал Сидор Федотович, завистливым глазом смотря на обозы с товарами, ежедневно длинной вереницей тянувшиеся по большой дороге, на многочисленные гурты скота, прогоняемые для продовольствия той или другой столицы. «Эх, кабы нам послал бог такой клад!» Десять лет усиленного скопидомства, барышничества и невозможной изворотливости снаридали наконец железный корабль, и из поныли — в Москву.

Если сказать, что Сидор Федотович поселился в Замоскворечье, то этого и будет достаточно, чтобы дать понятие о покое его быте в этой части города, которая живет себе особняком от всех прочих и не сходит ни на одну из них. Шибко повезло ему, быстро пошел он в гору. В доме уже не простые деревянные лавки да столы, а мебель вся красного дерева; ходит он не в нагольном тулупе, а в лиловой кирейке; у супружницы кунный салон, в лавке два прикащика; погреб с амбарами ломается под глыбами запасами, та копящиеся стоит пара лошадей. Оставалось только обзавестись двухтысячным рысаком, кучером с окладистой бородой, да не мешало бы держать какую-нибудь барбоску на цепи, — и обстановка нового звания была бы совершенно готова. К несчастью, самовар не дождался до такого превращения.

Разумеется, как пошла линия Сидору Федотовичу, сожаленьице его неприменно стало зачматься всякою черною ра-



Рабочие в городе. Рис. Н. С. Щедровского.

ботой из кухни; поэтому, оставшая на собою грязь печения именинных пирогов и кулебяк, она памяла для прочейстряпни кухарку — не из московских щеголих, а литомиду деревян, бабу работающую, славную; простовата лишь немного, да, вкось, приобывает. Нани тулик прежде всех испытал на себе расторопность ловкой прислуги своего хозяина. «Акулина, по-стать-ка самовар!» — приказывают кухарке в первый день ее службы. Акулина бежит в кухню, поспешно берет самовар и ставит на огонь; она перед тем измеренно похаживала по комнате, за что обвиняли ее «дурницею самаретой». Как-как объясняли ей процесс согревания самовара; но оказался он ей слишком мудреным, или просто надо быть такому греху, а не раз случалось, что Акулина цапывала самовар угольями, разводила огонь и кипятила тулика без воды. Но все это были еще только шутки для самовара, а ягодка ждала его впереди.

Однажды Сидор Федотович по какому-то случаю решился сделать эскеричку. Собрались гости, завели беседу — время лгать усерднее, как водится, чаем. Акулина в страшных хлопотах: и официант она, и лакей, и камердинер, и горничная — все вместе! Вдруг, как угорелая, вбежала она в комнаты и во весь голос завопила: «Ватюшки мои, отцы родные, пропала моя победная головушка. Самовар-то ушел...» — «Ах ты, дурница неповитая!», гласно закричала на нее хозяйка, — перепугала всех нас. Что самовар, — ушел что ли?» — «Ушел, свестики мои, как ось ушел...» — «Так закрой это крышкой да долей, деревенщина глупая!» — «Да что закрывать-то: ушел он со всем, и с крышкой, и с трубой...» — Как так? Бросились в сени, нет самовара; туда, сюда — и следов не видно. Ушел. А случилось это самым обыкновенным образом. Проходил один добрый человек мимо дома Сидора Федотовича и, увидев открытые ворота, любопытствовал узнать причину такого редкого в Замоскворечье явления. Вошел на двор, пробрался в сени, видит — стоит самовар, только что собирающийся закипеть. Добрый человек очень основательно подумал, что такой ценной вещи не следует быть без присмотра, бережно взял тулика под мышку, скорым маршем добежал до соседнего глухого переулка, отложил свою находку (благо время было зимнее), да и был таков. Следовательно, виноват один случай, а у доброго человека и в мыслях не было никаких видов на самовар, пока не латкнулся он на него. В тот же вечер другой добрый человек, мастер на все руки, занялся починкой самовара и дал ему такой вид, что и сам Сидор Федотович не узнал бы своей пропавшей. Тем и кончились похождения тулика в Замоскворечье.

Опять ты без дела, ждешь хозяина, стоишь в лавке, между разною медного хлама. Новое поколение соименников окружает тебя, и с удивлением смотришь ты на скороспелую молодежь: какой важный, надменный вид, какие толки об ольгистости, о разочаровании, хотя весь-то век их штихий без году шесть педаль. Ах, время, премия!.. Наконец судьба скажлась над тобою и послала покупателей, в виде молодой генобратной чета.

Весело играет солнышко; канарейка заливается песнью, рассыпается трельми; ервань и резета благоухают на окнах, оттопленных белыми занавесками; куклики глядят по стенам; фортепиано звучит печными аккордами; молодой человек переворачивает ноты своей возлюбленной: такую картину увидел ты на другой день топой своей жизни. Голова да руки составляют все богатство твоих хозяев; но и на миллионы не променяют они своей жизни, цветущей молодостью, здоровьем, украшенной любовью. Спротив безродные, они соединились навеки, чтоб неразрывно и дружно идти по тернистому пути нужд и забот. В приданое она принесла ему многолюбящее сердце; он, вместо свадебной корзинки, подарил ей переписанного своей рукой «Чернеца» Козмола. Она переписывает ноты, он дает уроки, — и средств, доставляемых этими занятиями, довольно для исприхотливой жизни. Все удовольствия, которых жаждет богатство и ищет скука, — театры, концерты, балы — все это они умеют находить в самих себе, не переступая за порог скромной своей комнатки. Петя насмешит Сонечку, передразнивая светских франтов; а Сонечка, как шлеп, проплет «Черную шаль»; потом они попрыгают, помолодевший самовар явится на веселую вечеринку, а сладкий поцелуй заключит роскошное угощение супругов.

Желалось бы тебе весь век прожить у таких голубков, и они ни за что не расстались бы с исправным стариком; но судьба вдруг покосилась на него, и с небольшим через полгода счастливая чета променяла Москву на какой-то уездный городок, а ты из Третьей Мещанской переселился на Тверскую.

Дурные приметы сопровождали твое переселение. Веч, изуруженный разною домашнею утварью, в числе которой находился и ты, чуть не опрокинулся дорогою; какой-то клычвый шалуни швырнул в тебя камнем; извозчик, не покупав прибавки за провоз и тасканье вещей на третий этаж, четко шокедом подняться пожаром всему дому. А дом, куда попал ты, стоит много города. Это один из тех пятиэтажных отчин, которые, без пятидесятилетнего хозяйства и скотоводства,

приносит своим владельцам внушающее уважение суммы: один из тех домов, где найдутся люди всякого звания, рода и промысла, где можно обзавестись чем угодно, купить, продать, заложить все, что вздумается. Но гора познается с твоем владельцем.

Он ни стар, ни молод, а самых солидных лет; лицо у него довольно благообразное; глаза всегда улыбаются; речь медовая, а когда заговорят о душе, о добродетели, о суетах мира сего, она доходит даже до умиления; одевается он прилично, но без шегольства и вертопрашества; фамилию носит также приличную, не оскорбительную ни для чьих благовоптанных ушей: господин Умудряев. Кто он, что делает, чем живет, нельзя угадать по виду. Служить, кажется, не служит никак; а пишет много; со двора выходят редко, а к нему каждый день, являя собой самые разнообразные посетители, приходят они с ними не много; но всякое слово его принимается с уважением, уже по тем признакам можно полагать, что он не пустой человек. А с течением, и следовательно, самовару, можно жаловаться на неблагоприятность судьбы и всякий порядок, которому подчиняется его аккуратный хозяин.

Несен, например, студию не смей заводить у себя, а стой на столе, как на фронте, чужно, молча, как будто и нет тебя; придет какой-нибудь посетитель, не думай, что тебе предстоит удовольствие отвести ему душу, благодетельного влагу; господин Умудряев рассыплется в вежливости, но не предложит гостю и чашки чаю, или учтиво изъяснит сожаление, что только сию минуту отшел. Да и сам-то он употребляет китайский напиток, вероятно, только для формы, по заведенному однажды навсегда порядку, и вовсе не чувствовал от него удовольствия, каким проникается сердце всякого человека после нескольких приемов душистого отвара.

Скучно тебе, туляк, да делать-то нечего: знаешь пословицу, что в чужой монастырь с своим уставом не ходят. В нашем доме ты жил, как в степи: не было ни одной живой души, которая чувствовала бы к тебе хотя частичку той приязненности, что знал ты в прежние годы. Кухарки у господина Умудряева менялись беспрестанно, потому что он не любил платить денег даром и за самую малую в месяц требовал, чтобы одна служила за десятерых. «Праздность мать пороков», — повторял он, посылая единственную свою прислугу то туда, то сюда, заставляя то выгнать слюги, то выгладить мажорку. И чаю никогда не даст выпить, как следует. Только что присидет усталая кухарка и начнет задумчивую беседу с чайником, как на беду раздастся призывный голос барина, и желанное удовольствие сменится бранью сквозь зубы на «жидомора» и «выжигу».

В один осенний вечер господин Умудряев воротился домой довольно поздно и, против обыкновения, велел поставить самовар. Живое веселье тузюк, по и просьбам успел, пока господин Умудряев расхаживал по комнате, видимо погруженный в бесполойную думу, которая не замедлила выразиться рассуждением вслух, чего с ним также никогда не случалось. «Дрянь этакая, — толковал он, — фунта три кроли испортит, аппетит совсем отобьет! Туда же вздумает молиться, расчувствуется! Да и я точно ошалел... слеза показалась! Кто просил? Да нет, не стану я портить своей карьеры из-за бабьего воров! Эй, Акулина, — крикнул он, отворяя дверь в кухню, — чем свет завтра приведи нового язычка. Дам ей обзаведение, — продолжал он сам с собою, — пройдет эта криминальная история, и basta!»

IV

Опять неожиданно-нежданно постигло тебя переселение, опять поскакал ты вместе с разным хламом, кучелюгими стульями, кривобоким столом и перижелым от старости диваном, поскакал под прикрытием самого господина Умудряева в одну из скромных предместий Москвы. Угрюмо глядя на недавнее твоё жилище, еще печальнее смотрит ветхий домик, куда попал ты так печально. Молодая, но бледная, изуродованная женщина встретила твой приезд, робко приветствовала господина Умудряева и смиренно замолчала на следующий ответ его: «Прошу не беспокоиться, не вчерашние глупости! Вот вам полное хозяйство, живите себе по душе, только и меня не тяните за душу». С этими словами он и отправился.

Ну как же нам разгадывать чужую душу, темную, что лес дремучий? Как понять и внезапный твой отъезд, и связь, соединяющую два существа, столь противоположные между собою? Неужели, встретясь на жизненном пути, сблизившись они потому только, что крайности сходятся? Как могла она, женщина слабая, бесхарактерная, но все-таки с любящим сердцем, проникнуться сочувствием к этому человеку «с характером», как выражался он сам? Не знаю я, не ведаешь и ты.

Как грустна твоя хозяйка, как уныла и черна ее убогая комнатка, так безрадостно и новое житье твое. Редко, редко прибегает она к твоим услугам, да и то без пользы: выпьет чашку, много две, да и покурит голову, и так задумается, что не услышит даже, как соседка взойдет. А что нужно соседке? Утешить горемыку, порадовать ее добрым словом? Нет, просто поболтать, растрезвить своими замечаниями глу-

бокую рану да после посмеиваться с другой соседкой. Визе счастье твоей хозяйки, что не красавица она была; завиден этот дар, да нередко ведет он к пагубе.

С полгода господин Умудренный довольно часто навещал свою знакомку я, как червь, что точит свежее дерево, мучил ее каждым своим словом; но когда в комнатке приблизился новый жилец — крошка с голубыми глазками, страшный крикун, — посещения мучителя прекратились совершенно. Бог с ним! Не надо и тех личужных средств, что давал он иногда горемычной. Пока есть мочь, пока не ушло вконец здоровье, сама воспитую Костеньку; а подрастет, не оставит его бог, и добрые люди не покинут сиротку безвзную. И до последних сил трудится мать. Чтб нужды, что тает она, как свеча, худеет с каждым днем, не знает себе ни минуты отдыха: зато у Костеньки всегда есть слявочки, и нарядная рубашечка готова к празднику. По воскресеньям хозяйка твоя иногда хаживала в Марыну рощу торговать самоваром и, благодаря твоей испразности, никогда не возвращалась без порядочной выручки.

Но не долго промаялась бедная женщина. Как ни ссилалась совладеть с губительною болезнью, как ни перемогалась, вдруг слегла. Великий сон скоро усложил страдальцу Костеньку отдали в один из тех благотворительных приютов, которыми богата добрая Москва.

Помыкался наш самовар еще года с два по белу свету, побывал в Одессе, собрался было в Кяхту, но вдруг, волею случая, после всех этих похождения, напал убежище от мирской суеты у меня, любителя тишины и усердного почитателя чюю.

Хорошо ли тебе у меня, добрый туляк? Не обижаю ли я тебя излишнею выскательностью, не часто ли требую на службу?.. Но ты замолк, приуныл? Уж не навело ли на тебя раздумье повествование о собственных твоих похождениях? Не хитрить ли начинаешь ты, размышляя, где же правда на земле, если худому человеку бывает хорошо, а доброму худо? Что такое жизнь? Успокойся, старый мой друг; не верь, если кто скажет тебе, что жизнь сон, комедия или слепая шутка, и вчуже жаждай человека, дошедшего до подобного убеждения. Русская шизовут нас оптимистами, а будем мы с тобою верить, что нет ничего лучше и чище жизни и что нет на земле такого зла, которое не меркло бы перед сиянием добра..

Еще одно слово: не богаты мы с тобой, часто стучится к нам в дверь нужда, так и об этом нечего тужить. Воя, через улицу от нас яркими огнями горит огромный дом; толпы кружатся в великоленных сто залах; но искренне ли весе-

лее нас эти улыбающиеся лица и с большим ли аппетитом кушают они чай из серебряного самовара? Едва ли. А завтра, когда, утомленные добровольными муками, они только что сомкнут глаза, мы будем с тобою уже на ногах, и солнышко, не смея пробраться за шелковые занавесы, первых нас поздравит с добрым утром...

Но заговорились и замечтались мы. Давно за полночь. А ведь надобно еще не шутя подумать о средствах разжиться завтра чаем с сахаром. Утолья у нас, кажется, пока есть.

ЧАЙ В МОСКВЕ



Начнем издалека, ab owo, как начинаются все важные предметы. Более тысячи лет тому, в Китае жил мудрец Будда-Дарма, человек, каких немного бывает на белом свете. Умерщвляя плоть свою возможными средствами, он отрезал от глаз своих веки; Верховное существо наградило его за это пожертвование бессмертием, а из отрезанных век произвело чудодейственную траву ча-а (китайское название чая), которой дало силу излечивать многие болезни, душевные и телесные. Ученики святого мудреца усердно стали пить отвар листьев нового растения, и вскоре употребление его сделалось всеобщим в Поднебесной империи. Но род человеческий, вместо стремления к совершенству, с течением времени развратился до того, что чай вовсе потерял силу врачевать душевные подуги и остался лекарством лишь для тела: так еще до сих пор он укрепляет глаза, желудок, возбуждает бодрость, предохраняет от подагры и от каменистой болезни. И передай, что говорит китайские летописи; а верить или не верить их словам и диковинным свойствам чая — предоставляется на волю каждого. Неоспоримо только то, что чаю природа назначила играть первостепенную роль. Вместе с завоевавшими Чингис-Ханом он перешел за пределы родины, потом из Азии перебрался в Европу, где для почину, не зная, что делать с невиданным дотоле зельем, голландцы запрятали его в музей редкостей, а англичане сжирали из него соус; отсюда шагнул он в Америку, где из-за него возникла война, имевшая последствием отторжение

американских колоний от Великобритании; из Америки не трудно было ему пройти в остальные части света, — и теперь чай всюду в таком же употреблении, как... как романы французской фабрикации.

Соседи с китайцами, мы прежде других европейцев познакомились с благородным напитком, и тогда как другой чужеземец, табак, подвергался у нас страшным гонениям, чай с каждым годом приобретал большее и большее число почитателей, употребляясь сперва как «пользительная трава», а потом просто в удовольствие желудка. Во второй половине XVIII столетия чай продавался уже по тридцати копеек за фунт, и хотя при Петре Великом мы переняли от голландцев употребление кофе, но этому новому гостю не под силу было выжить старого, который сделался нашим заветным собеседником.

Как средство возбуждательное (наркотическое), чай действует более на сердце, чем на голову; вот почему особенно полюбили его жители Белокаменной. Другие города, строго преданные дедовским обычаям, не скоро знакомились с роскошью, довольствовались сбитнем, отваром мяты, липового листа, или другой какой скромной, доморощенной травы с медом; Петербург пробавлялся кофеем, а Москва действительно пристращалась к чаю. Аустерии (то есть ресторации), заезжаные Петром Великим, для развития, чуждо общественной, не замедлили сделаться смирным чаем; когда прошло то золотое время, как посетители угощались чаем даже даром, лишь бы прихотить их, и чтение газет гости охотно стали заменять гостеприимные ланитки безвредною горячею водою. Для домашнего обихода изобретен был самовар¹; это предзнаменование могущества царей, и быстро вытеснил медяные чайники, в которых деда наши, подражая китайцам, грели воду для чая. К сожалению, я не имею достаточных показаний о количестве чая, какое выпивалось у нас в прошлом столетии. А сколько и как пьем его мы, люди девятнадцатого века, конечно, не безызвестно всем и каждому, и благожеланный читатель, надеюсь, не потребует от меня статистических данных. Теперь, слава Бюде-Дарме² из Русь, «от Финских хладных скал до пламенной Котхиды», все от мала до велика, мышкингер и полешник, великорусс и сын юга, белорус и калмык, пьют чай, кто ординарный, кто кирпичный с солью, маслом и молоком, кто душистый маю-кон; кто букетный или синий, иные даже диковинный жемчужный или заатовилный хапский. И если Англия с своими огромными

¹ Няти войска в 1813 г. выучили Парону употреблению этого умя придуманного скаряда

колониями выпивает чаю гораздо больше нашего, а Северная Америка мало чем уступит нам в отношении к количеству употребления его, зато мы получаем самые лучшие сорта драгоценной травы, и несравненно разборчивее иностранцев на счет ее достоинств, даром, что нет у нас записных, специальных чашеводов, какие водятся у англичан в Кантоне.

Кто знает Москву не понаслышке, не по беглой наглядке, тот согласится, что чай — пятая стихия ее жителей и что, не будь этой земной ливрозни, и быте москвичей произошёл бы коренной переворот: хлебосольное гостеприимство, эта прадедовская добродетель, неизменно хранимая нами, рушилась бы вконец. Бывали ли вы в доме чисто русском, где хозяин не прячется от посетителей, где пред вашими глазами не сядут за стол, не пригласив нас разделить хлеба-соли, «чем бог послал»? Тут никакое потчевание не обойдется без чаю, им оно начнется, как следует по порядку, и им же нередко кончится, на дорогу. Хозяева только что стили, вы пришли, когда самовар уже сняли со стола, но это не помешает ему закипеть снова и явиться для услаждения беседы, и вы будете пить не одни: любезность хозяев соответствует вам. Никакие отговорки не избавят вас от обязанности присесть к самовару. Погода холодная, сырая — вы, конечно, прозябли следовательно, вот законная причина согреться; будь тепло в 20 градусов — все-таки есть повод пить чай для прохладения. Словом, во всякий час, во всякое время года у истого москвича чай предлагается каждому гостю, так что во многих домах, кроме обычных двух раз, утром и вечером, его пьют столько, что и счет потеряешь. Если бы китайцы знали это, я уверен, они почтили бы нас именем пржедрождепых, старших братьев (китайские коммуляменты).

Из москвичей редко найдете бедняка, у которого не было бы самовара. Иной бьется как рыба об лед, в тесной каморке его нет ни одного неиздуманного стула (хотя их все-таки пара): а ярко начищенный самовар красуется на самом видном месте, составляя, может быть, единственную ценную вещь, какою владеет хозяин. Москвич скорее согласится отказать себе в другом каком удобстве жизни, даже по испечению пирога в праздник, чем не налить чаю хоть раз в день. Удовольствие это стоит не дорого (разумеется, речь идет о людях, у которых, по их собственному выражению, в одном кармане Иван Тошой, а в другом Марья Легошница); положим, семья состоит из трех или четырех человек: значат, полотник чаю десять копеек, пол-осьмушки сахара семь копеек, воды на конейку, уголья ередко свои: и так за восемнадцать копеек покупается все наслаждение. Человек не совсемный редко держит самовар; но для него постоянное и не

дорогое прибежище и заведений, которых у нас не меньше, чем в Японии чайных домов, — и об них да позволено будет сказать тоже несколько слов.

Трактирных заведений в 1847 году считалось в Москве более трехсот. Употреблено в них, в продолжение года, чаю сто девяносто одна тысяча фунтов (на сумму более 500 тысяч рублей серебром), а сахару с лишком тридцать четыре тысячи пудов (на сумму более 334 тысяч рублей серебром): цифры, не поражающие своею значительностью, когда знаешь, что главный товар заведений — чай. Немец, испрыскивая покуску, кашкает с товарищем за бутылкою пива: француз в таком случае требует вина, а москвич — чаю. Поэтому в тех частях города, где более движения, торговой жизни, там более и пьют чаю, и наоборот: в 1847 году Городская часть (я говорю про одни заведения) выпила более 20 тысяч фунтов чаю, а Рождеская до 30; тогда как Покотистепская потребила около 7 тысяч фунтов, а Мещанская ограничилась с небольшим 3 тысячами¹. Торговому человеку не приходится за делом думать о русском наиптке, веселящем душу; зато он усердно накачивает себя китайским, роняя за тремя парами своего дела не на одну сотню тысяч и вовсе не заботясь о вредных последствиях, какие сулят доктора неумеренным любителям чаю: напротив, он надеется так, что сердце радуется, как взглянешь на него, и готов бы отвечать врагам чаепития словами Вольтера...

Заведения, с своей стороны, стараются не ударить себя в грязь лицом пред неизменными гостями. Начиная от трактиров, где прилуга шеголяет в шелковых рубашках, где двадцатипятичные машины улаживают слух меломанов, где можно найти книгу журналов, до тех заведений, по краям Москвы, в которых деревянные лавки заменяют красные диваны, а половые ходят в опорках, — везде, если найдете какой недостаток, то уж наверно не в чае, и если возмутит что вашу душу или аппетит, то, конечно, не он.

Не имею права заключать решительно, что вы были когда-нибудь в заведении; но если вы любопытны, смею попросить вас туда на четверть часа. Войдемте в знаменитый

¹ Цифры эти взяты из верных источников. Заметим еще, что в 1847 г. повзрну-то не посчастливилось московской трактирной торговле и в иные годы цифры ее оборотов бывали значительнее.

² Вероятно, читателям известен анекдот о фернейском философе, но не мешает повторить его здесь. Однажды доктор красноречиво убеждает Вольтера перестать пить кофе, говоря, что это медлечный яд. «Но я уже шестидесять лет пью этот яд, и, право, никогда не чувствовал себя хуже!» — отвечал философ. Замечу, кстати, что, тому челядину, наука избавила чай от несправедливых нарежений, доказав, что он полезен как нельзя лучше.

Троицкий или в не менее славный Московский. Ловкая прислуга, все чистые ярославцы, мигом снимет с нас шубы, учтиво укажет, где удобнее сесть, если мы, среди множества гостей, затруднимся выбором места, расстелет салфетку на красной ярославской скатерти, покрывающей стол, и произнесет обычное: «что прикажете?» — Разумеется, чаю. Полюбимся ловкостью, с какой половой несет в одной руке поднос, установленный посудой, а в другой два чайника, и займемся делом. Что это? Вы кладете сахар в стакан, щедрою рукою льете сливок, не думая, что портите этим аромат чая, ждете, пока он остынет, требуете огня, чтобы закурить сигару: с горем вожу, что вы не настоящий чае пеец. Осмотритесь кругом, кто делает так? Вот хоть бы, примерно, наши соседи — истинные любители чаю, и пьют его с толком, даже с чувством, то есть совершенно горячий, когда он проникает во все поры тела и покоем погрузжает нервы в сладостное онемение, которое кто-то удачно назвал китаизмом. Они знают, что всякая примесь портит чай, что он, как шампанское, должен быть пезыкий, — и пьют его чистый, убежденные, что лишь одним иностранцам простительно делать из него завтрак, и пьют вирисуку, понимая, что сахар употребляется для подслащивания, а не для рассиропливания чаю. Смотрите дальше: у всех такой же вкус, такая же разборчивость, точно мы в Китае, где мудрецы-императоры сочинили законы и о том, как пить чай. Везде слышите почти исключительное требование чаю, знои чашек; видите, как взад и вперед снуют народ, как одни посетители сменяются другими, жаждущими, подобно им, чаешития, и как полозые едва успевают удовлетворять их требованиям: словом, здесь без чаю «нет спасения». Правда, на ином столе явится порой графин с подозрительной жидкостью, иногда раздастся возмутительное хлопанье пробки, но это не уничтожает общности приятного впечатления, производяемого чаешитием. Заидем куда-нибудь в другое, не столь блигообразное заведение: представится то же самое чрелице — все кушают благоуханный нектар. Пьет его подмосковный крестьянин, с радости, что выгодно сбыл два воза дров, и пьет «до седьмого яруса пота»; пьет в складчину артель мастеровых, которых узнаете по немилосердному истреблению табаку; чаем заливает магарычи компании кыпиков; чаем полкоепляет свои силы усталый пешеход.

Мало этого: в Москве есть водогрельни, в которых продают одну горячую воду для чая. Глазана из них, находящаяся под Спасскими воротами, продает воды в год не менее как на две тысячи рублей серебром: прикиньте, что обок с всю Гостиный двор, что сидельцам не сподручно богать в трактир, и не дивитесь. Чайных магазинов и лавок в Москве

считается более сотни, и обороты их простираются до 7 миллионов рублей серебром ежегодно. Не говорю уже о том, что чай продается в каждой мелочной лавочке, составляя один из главнейших товаров их.

Есть у нас несколько домов, где по утрам пьют кофе: это предпочтение обидно чаю, но зато чайные вечера в этих домах — истинное очарование, и всякий, кто хотя раз бывал на них, поймет, почему чайные вечера за границею вошли в такую моду...

Следовало бы кончить статью одною и чести чаю или, по крайней мере, рассуждениями о поэзии самовара: но нет у меня таланта стихотворства. Не могу, однако, не заключить чем-нибудь свою речь о чае, тем более, что, пожалуй, иной читатель спросит: «а что же доказано этим?» — спросит, как спрашивал один французский математик после представления какой-то драмы, в которой он не нашел ни уразисний, ни дифференциалов. Итак, заключаю я вот чем:

Нас, русских, частенько колот в глаза словами Пестора: «Руси веселие пить». Особенно солено достается москвичам, как будто в укор их гордости, что они сохранили многие обычаи древней Руси. Надеюсь, что каждый благомыслящий человек, прочитав эту статью, скажет: «Руси веселие пить чай»¹, — и слова его повторит не один усердный любитель китайского напитка, каким имеет удовольствие быть сам автор.

¹ Я вспомнил при этом о любопытном обитателе. Вы знаете, что в Англии, в Ирландии, в С. Американских Штатах существуют общества воздержания, члены которых называются *teetotalers*, т. е. чаепийцами, чаевниками; следовательно, незаметно для нас самих, общества эти есть и у нас, так что патеру Мэтью, право, нечего бы делать в Беломоногной

СБОРНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ



Что вам угодно? Охотничье ружье, которое бьет наверняка и пятидесяти шагах, черкесский кинжал, отличную лягавую собаку, свирелую мор-

дашку, сметливого водолаза, умную овчарку? — Пожалуйте в Охотный ряд в сборное воскресенье и получите желаемое. Или, может быть, недостает у вас ягдташа, пороховницы, болотных сапогов, пет-кожа для прикалывания зайцев, крючка для удя, капкана на разбойника-волка? — Идите в Охотный ряд и там найдете все это. Но не мудрено, что ошибаюсь я, предполагая в вас охотника. *эроисманда*. Так нет ли у вас какой-нибудь почтенной тетюшки, для которой шниц с потогон, шерсть с локоток, куриный мозг, илисуны-levrette¹, говорливый топурай, крыльцо-обезьяна — самые приятные на свете подарки? Или не найдется ли в кругу близких вам маленького Вани, крохотки Саши, которым давно обещаны ушлый чиж с парюю козырьных голубей или сладкопевшая канарейка в награду за прилежание?

За всем этим извольте отправляться в Охотный ряд. Впрочем, очень естественно, что и здесь я мог дать промах и что ничего подобного не требуется вам. Нет? Так поможем ли вы, не желаете ли обзавестись дворской пищей или теми визгливыми животными, к которым чувствовал сердечное расположение господки Скотника? Или, может быть, вы гастроном и давно собираетесь сами откормить, по всем

¹ Леопарда.

правилам пауки кушать пулярку да индейку; давно чувствуете аппетит на опельок и поробьсь для панитета, на жирных свиристелей для соуся, на величавого павлина для жаркого в аровнем вкусе? Наконец, не производите ли вы анатомических, химических, физиологических и всяких исследований над животными, собрались перенести их потом на человека? Не надобно ли вам для этого смиренных кроликов, зайцев, дворянских собак, этих отличных субъектов для опытов над переливанием крови? Не заводите ли вы у себя, для домашнего обихода, музей естественной истории, не требуется ли вам для наполнения его что-нибудь из отечественной фауны, например: степенный ож-ожович, вертунья-белка, сибирский кот, сонливый хомяк с сурком, философ-крот, лиса-ивановна, злой барсук, волчонок с медвежником, глухой лесовик, мошенник-коршун, трудолюбивый дятел, премудрая сова, болтушка-сорока? Угодно, что ли? — Так пожалуйста в Охотный ряд. Вы отрицательно киваете головой, сместесь над моим испрошенным усердием, над моими предложениями, из которых ни одно не приходится вам по праву... да что же вы за человек? Так-таки и пот у вас ни к чему ни охоты, ни любопытства, нет никакой страсти, и отшельником живете вы на белом свете, и сердце у вас ледяное, и кровь рыбья?.. Не может быть! Что-нибудь да в состоянии же разшевелить вас: и кроме ремиза в преферанс, когда туз, дама сам-пят на руках, или тому подобных важных случаев! — Сказать, однако, правду, мне все равно: я человек уживчивый, привык примиряться ко всяким обстоятельствам; по мне, в божьем мире все хорошо; на все можно смотреть с сочувствием, не будучи ни Демокритом, ни Гераклитом, без слез и без смеха; но будь вы другого, пожалуй, прогрессивного мнения, — и я потяну на вашу сторону, лишь только сошутесь мне в прогулке в Охотный ряд. Пойдемте хоть для того, чтобы, глядя на шум, алохотню с суету людскую, и все из-за мелочей, из-за пуляков, — иметь право глубокомысленно произносить: «и это жизнь, и это люди». Да, прав Лермонтов: «жизнь — глупая штука!» Право, так. Давайте разочароваться. И англо-ский спяня, и наше русское «Мне моркотню молодежьке» имеют свою выгодную сторону...

Но вот что значит сбиться с дороги: из Охотного ряда, куда собрались идти, мы заблели в чащу переливания из пустого в порожнее. Марш назад! Вот вам сапоги-самоходы — раз-два-три, и мы опять у цели нашего путешествия.

Сажая за это уже слышится шум, гам, визг, чиликанье, голосистое кукареку, пажное кряканье утки — словом, самая разноголосная музыка, в которой есть все звуки и недостает одного: согласия. Ежеминутно раздаются повелитель-

ное: «поди, поди, — берегись!» Народ слует и взад и вперед. Толпы приливают то в ту, то в другую сторону; один покупает, а десятеро глазят. Блины горячие, сбитень-кипятки, сайки крупчатые, барапки белые, грешники поджаристые, с маслом гороховый кисель, мак жареный медовой — шныряют во все стороны и насыщают алчущих. За углом, втихомонку, мальчишки затевают орлянку, этот уличный банк, или изапуска ломают копеечные пряники. Раяк тешит толпу слушателей самодельными островами. Но мимо все это...

Мы в птичьем царстве. Начинаясь оно голубями. И каких тут пет! Чистые, турманы красные и черные, козырьки, двухохлые, махровые, тульские, гордые, трубастые, delicate, огнистые, египетские дутыши, сизяки чинно посиживают в клетушках, ожидая покупателей. Далее тянется длинный ряд сарей с птицами певчими. На каждах сарях торчат по дереву, на каждом отростке дерева висит по несколько клеток, и в каждой клетке сидит по несколько птичек. Известно, и неволе что за песни, и чирикают себе бедняжки, попрыгивая с жердочки на жердочку да вспоминая — кто вольнуку волю, кто милую подругу. А если бы запели они все — что ваша итальянская опера! Кмокольчиком заплещется опянка, сорок колес начнет выводить остроглазая синичка, бойко зашбечет шалуи-чижик, десять ладов перепробует сметливый скворушка, словно дверь, заскрилит малиновый щур, молодецким повновтом свистнет подорожник, искусно передразнит блрана болотный баранек, лучше турецкого барабана задолбит дятел, бубенчиками и медкой дробью рассыплется красавица-капарейка, зашелкает, засвистит, залыцет, и всех заглушит своей сладкой песенкой душа-соловушка. Даже и молчаливый снегирь, которому бог не дал добропорядочного голоса, и он не ударил бы себя в грязь лицом перед почтеннейшими зрителями: фокусы бы разные стал показывать, потому что, несмотря на свою степенную наружность и красный мундир, он большой шукарь. А то пет чирк, чирк, чирк, тью, тью, тью — только и есть.

Как же велика цена талантам, скрытым под слудом? Да как раз по карману тому возрасту, который еще сам, словно птичка, живет на свете без печалей и забот и располагает лишь теми деньгами, что покажет рара с татам, тятюха с мамеышкой или добрая бабуся. На один гривенник можно купить чижа с синичкой, а на другой — клетку и корму для них. Канарейки и соловьи ценятся гораздо дороже: только хороших птиц продавцы редко выносят сюда: среди шумного, разнообразного чиликанья не мудрено сбиться с голоса и самому лучшему певуну: где один другому слова



Первый. Рис. П. М. Шмелькова, 1861 г.

выговорить не даст, там краспоречие не у места. А если вам угодно крылатую прамадонну или перца с бархатым галюском, извольте, представим первый сорт. Только уж не жалейте изытой каины, не думайте удовлетворить свое желание каким-нибудь десятком рублей. Пойдемте к охотнику; не один он здесь, но я поведу вас к первостатейному; а чтоб знали вы, с кем будете иметь дело, расскажу главные черты его жизни.

Ему с лишком шестьдесят лет. Половину их он провел в доме вельможного барина екатерининских времен, страстного охотника, и был у него сперва простым лсарем, а потом досажачим. Жизно помнит старик молодые свои годы и увлечательно рассказывает о великодушных охотничьих поездках того времени; когда бывало:

Попа, пора! Расскажут,
Перца в охотничьих уборах.
Чем свет уж на конях сидят,
Борзые прыгают за сворах

Но смерти барина он получил отпускную, но зато остался почти без куска хлеба и долго не знал, куда приклонить одинокую голову. Пойдет то к тому, то к другому господину, у которых были повамы охоты, никому не надобно его услуги, свои люди есть. Делать нечего, подобрал бывший досажачий в Москву, в Белокаменную, известное дело, разве только безрукому не найдется работа. Стал Степан Михайлов примысливать стрельбю дичи и хит с грехом исполнял, и кормился кое-как. Да, на беду, поехал он раз «позабавиться» с дилегантами охоты, и один из них, у которого рука вернее управляла бильярдным кием, чем ружьем, как-то удосужился всадить ему ползаряда дроби в правое плечо. Долго прохворал бедный есерь, а как выздоровел, пришлось отказаться от своего промысла. Чем же жить? Ремесла он никакого не знал; давай опять кормиться охотой, только другого рода. Прежде он стрелял птиц, теперь начал ловить их, разводить, покупать, продавать. И мало-помалу ловкое занятие обрастает у него в страсть, которая, усиливаясь с каждым годом, становится, наконец, необходимою ему как воздух, не потому только, что доставляет средства для пропитания, но и потому, что в ней единственная отрада его жизни, она одна наполняет собою его существование, она согревает зачерствелое среди бед житейских сердце и разнообразит быт старого холостяка. Голуби, чижи, синица, канарейки, соловьи — вот его семейство, его неизменные друзья и приятели. Сколько радости, когда канарейка выведет маленьких пленчиков или стае его голубей удастся заманить редкостного чужака! А ж-

гда после долгого молчания дорого купленный соловей вдруг подаст голос, да еще с такой трелью, что сейчас узнаешь в нем мастера своего дела, — чуть не пляшет от восторга Степан Михайлович. Зато немалю хлопот и горя бывает ему с своими любимцами. То типун сидит у подающего большие надежды певца, то затоскует соловей и начнет обмирать, то неизвестно каким путем прокрадется в голубятню злодейка-копца и похитит пару голубей, да каких! В подобной беде Степан Михайлович утешает себя, курпыкая любимую свою псёнку: «Чижик, чижик, где ты был, — за горами воду пил...», или заманит к себе Петю со двора и примется рассказывать ему докучную сказку о том, как воробей, мужик в сером кафтане, хотел жениться на синичке, барыне в синем платье.

И слава своего рода выпала на долю страстного охотника. Его знает вся Москва. Сколько раз в газетах было опубликовано про него. Живет он на Бутырках, а к нему слет от Серпуховской заставы, чтоб узнать его мнение о какой-нибудь дорогой птице; или зачастую охотники-любители, особенно кунцы, приглашают его в трактир, где выведен соловей, чтоб решить, какие тоны выкрикивает предмет их слора. Степан Михайлович выпьет две-три чашки (хмельного он не употребляет, с тех пор как стал водить голубей, которые не жалуют пьяных), внимательно и не один раз прислушивается к раскатам саровья, подумает и решит дело. И весело глядеть, как он, дряхлый, едва передвигающий ноги, воодушевится в подобную минуту, помолодеет десятком лет, с каким жаром излагает свое мнение, каким юношеским блеском загораются его полупотухшие глаза, какой силой убеждения проникает и крепнет его дребезжащий голос!..

И птиц ни у кого не найдете лучше. Примерно взять махровых голубей. Смотрите-ка сюда: вот пара и вот пара; эта стоит много-много полтора целковых, а за эту, что у Степана Михайловича, мало дать и двадцати. А отчего? У одной хохлы торчат, как мочалки, а у другой перышко подобрано к перышку, волосок к волоску, словно листья розана, а мохрыто на ногах — на редкость: почти в два вершка длиной. Вот как! Канарейки у Степана Михайловича поют «россыпями, олесянками, разными бубенчиками, колокольчиком, бриллиантовыми и флейтовыми дудками»; соловьи «натурального учения, криковые, кричат дробью, простой и рассыпной, на разные маперы: кулком, вороном, кликотом, светцами к водными дудками, раскатом, тревогою, стукотней, свкстом, кукушечьим перелетом...»¹

¹ Охотнические термины.

Разумеется, что не дешево стоит такой мудреный соловей, и за сто целковых разве только по знакомству уступит его нам Степан Михайлович; за канарейку придется заплатить тоже не много меньше...

По этим значительным ценам не следует, однако, заключать, чтобы зашиб себе копейку владелец дорогого товара. Не из корысти торгует он, а по страсти, по охоте, которая, как говорит пословица, пуще неволи. Дорого он продает, но не дешево и сам покупает. Скажите ему, что вот, дескать, «Степан Михайлович, продается соловей, какую доселе и видом было не видеть и слыхом не слыхать! просто редкость. Да по деньгам ли тебе? Двести целковых — не штука!» — Что же? Хоть разорится Степан Михайлович, распродаст все до литки, под жидовские проценты займет, себя заложит — а купит. Знай наших! С другой стороны, торгует он по убеждению, что промысел его укореняет «добрые нравы». «Это как?» — спросите вы, решительно не понимая, что за связь таится между птицеводством и человеческими добродетелями. «Да так, — простодушно возразит Степан Михайлович — мало ли к чему пристрастается человек? Сказано, что мясок, как воск. Иной чересчур познакомится с чаркой, другой поведется картежничать, у кого амурсы разные на уме, кто из кожи лезет, чтоб на фуфу удивить крепосный мир. А что толку-то! Грех да суета одна. И насчет охоты тоже. Охота охоте рознь. Не что как псовак али вот рылаки — янатияк штука, да не всякому подручно оно. А птичка, то есть средственная, по карману и бедному человеку. И на содержание себе требует она сущие пустяки: горсточка корму да капелька водички — вот и весь ее паек. И уход за нею небольшой: вымет клетку, песочком посыпал, воткнул зеленую веточку, — больше ничего и не надо ей. А зато будет она распевать тебе день и ночь, разгласит хоть какую скуку и кручину, прослужит беспорочно пять или более лет, и худого ты никогда от нее не увидишь: она не зверь какой, не бесчестный попугай, а божье создание, и нет у ней в сердечке даже замыслов на зло»...

Не могу знать, согласны ли вы с речью охотника, а уж по лицу нашему вижу, что раздумали покупать у него дорогую птицу. Тут о развязывается ваш кошелек; делать нечего, извините, что задержал я вас, — и пойдемте дальше. Наше почтение, Степан Михайлович!

Дальше, рядом с царством птиц, идет область собак и разных зверей, каких именно — я уже имел честь докладывать вам. И здесь расставлены сани, и у саней привязаны собаки; и здесь раздается всеохватывающий гам на разные тоны — начинаая от зыканья болошки до басистого рева меделянской собаки; и здесь рассказывает множество охотников,

любителей псов, только все они люди *специальные*: один взял на свою часть борзых с гончими, другой собак для травли, а вот у этого и из-за пазухи, и из карманов, и из рукав торчат миниатюрные шпильки да москиты.

Я думаю, нам нечего смотреть, как происходит купля и продажа разношерстных, как оцениются и рассматриваются их достоинства: сцена Новадрева со щенком повторяется при этом беспрестанно. Но вот исключение.

Выведена на продажу дворняжка: четвертак — красная цена ей. Ничем не провинилась она перед своим господином, стерегла двор и денью, и ночью, издали различала своего от чужого и, вероятно, спокойно бы дожидая до глубокой старости в одной конуре, если б не судьба. Хозяйка ее овдовела; убитый домиком, единственное наследство после мужа, продала. Приходится занимать чужой угол: где же поместиться в нем с разным скарбом и хламом, которым был простор лишь в своем доме? И обивает она с рук и кадошки, и бочонки, и ухваты, продает и семью кур с петухом, и верного сторожа. Малецкий сын ее держит на веревочке чернотшерстную Орелку, которая, как будто предчувствуя разлуку, печально глядит на него и изредка помахивает хвостом. Покупщик скоро напелся.

— Смотри же, дядюшка, — говорит мальчик, сдывая ему свою любимцу и чуть не плача, — корми Орелку; она у меня такая знатная... Орелка ты моя, золотая, съешь хоть на дорожку-то кусочек, — промолвливает он, бросая ей калача.

И бредет, покурив трубку, бескорыстный друг человека за ковым своим хозяином, готовясь служить ему с таким же усердием, с каким служил преждему. А все-таки нет-да-нет и оглянется на мальчика, который далеко провожает глазами своего сотоварища в играх...

Но довольно. Нам остается осмотреть еще другую половину Охотного ряда. Идемте же скорей: уже обед на дворе. На перепутье нам встретится мелкая промышленность с своими изделиями и промыслами: домиками для чижигов, незавидными игрушками, удочками, неразрывными силками, черными тараканами, муравьиными яйцами¹ и тому подобным.

Но что это? Что я слышу? Старая моя знакомая учились баришничать. О времена, о нравы!

— Это, сударь, я вам доложу, не простая какая-нибудь уда, — шепчет плутоватый действительный мелкой промыш-

¹ Предлагаю знаменитые псы двум последним тонярам: тараканы, преследуемые особенно сапожниками-малышниками, продаются от 20 до 30 копеек серебром за сотню, а фунт муравьиных яиц стоит не менее 40 копеек серебром.

ленности своему покупателю, — это с редкость-с. Вы что смотрите? палка не чиста? да ведь рыбе-с не целоваться с нею. Вы вот где посмотрите — вот-с; каков волос-то, не эдепний-с!

— Откуда же, из Америки, что ли?

— Не из Америки, а арабский-с.

— Как так?

— Да от арабской лошади-с, вот что-с. Уж его какая хотите шука не перекусит-с; пять фунтов смело вытягивайте им-с. А крючок-то видите-с?

— Вижу. Что, и крючок не эдепный?

— А как бы вы думали? Я не облыжно говорю; у меня брат в Туле оружейником; нас всех пятеро-с; так он мне присылает с. Я не барышник какой, чтоб мне обманывать ваму милость. Такие крючки только и есть в одном Петербурге-с.

«Ну, любезный — сказал бы я ему, — заговариваешь ты зубы не хуже дыгала».

На другой половине Охотного ряда, собственно на Охотной площади, тоже два парства — птичье и звериное, с тою лишь разницею, что представители их служат человеку на пользу, а не на одно удовольствие, — куры, гуси, индейки, утки, свиньи, бараны, телята, — можете представить, и не слышав, что за приятная музыка. Громче всех вопиют поросята, предвидя насильственную смерть, потому что им пришлось лежать рядом с замороженными своими собратьями. Охотники здесь немногочисленнее, чем в части, одной дикомой. Движение сосредоточивается преимущественно вокруг копытенок с курами. Тут есть и татарские с белыми и черными хохлами, и крупные гилдыские, и красавицы индийские, и носки украинские, и цыцарки, золотые и серебряные. Из самых отдаленных частей Москвы идут сюда заботливые хозяйки купить курочек, которые принесут им яиц к светлому дню. Правда, что в Москве можно купить хоть миллион яиц, простых и крашенных; да свии все как-то приятнее, знаешь, что свежие, безобманные, не болтуны; а главное, куда ж девать крошки со стола, если не видать кур? И выпраст хозяйка доморощенную курочку, которая уж растает и не сегодня, так завтра занесется. Охотники-мужчины зарятся на петухов, бьеных и заводских, и жарко спорят, кому, отплате преимуществу — крепкой ли груди русского, огромным ли шпорам английскому или увертливости гилдынского. Но с ними знакомимся мы в другой раз. А теперь, смею я, устали вы, мой снисходительный спутник: ходьба возбудила ваш аппетит, и помышляете вы о домашнем крыле. С богом! Оста-

нусь я один и до конца выполню взятую на себя обязанность — познакомить вас с сборным воскресеньем.

Особенности московской жизни проявляются в этот день и не в одном Охотном ряду. Близка весна, а вместе с нею не одним только деревьям открывается надежда зажить новою жизнью. Комнатные живописцы, пробедствовавшие всю зиму¹, гурьбою собираются на так называемый *монетный двор* и записывают магарычи со взятых на весну работ. У Варварских ворот тысячи плотников, владимирских и рязанских, ударяют по рукам с подрядчиками, делятся на артели и скоро принимаются за топор. Немало сходится тут же и пильщиков, которых нанимают на весну хазева окрестных рощей. Далее, на Бабьем городке, в Тверской-Ямской, в Сибире, в предместьях и в глухих переулках, затеваются кулачные бои — разумеется, не то, что в старину, когда охота показать свою удачу оканчивалась нередко свороченными салазками или переломленной рукой; а так, просто для одной потехи, соберутся десятки два уличных мальчишек да подростков фабричных. Далее, на Переведеньевке, на Черлогрязке, под Вязками, на Смоленском рынке, начинаются другого рода бои, в английском вкусе, бои петушиные. За Рогожскою заставою, в амфитеатре, только не римском, происходит в первый раз «удивительная медвежья травля; для удовольствия публики травится свирелейший медведь английскими мордашками и медвежьиими собаками, напуском по охоте»...

Наконец, и это вы знаете без меня, в сборное же воскресенье открывается музыкальный сезон — длинный ряд концертов, которыми угощают нас разные знаменитости, приезжие и доморожденные, поющие и играющие на всевозможных инструментах, даже на рожке и барабане.

Кижется, все.

Нет, позвольте еще минуту. Только расстались мы с вами, случилось замечательное происшествие. Купил пекто, неизвестно для какой потребности, пару павлинов. Едва стали пересаживать их из одной кошелки в другую, павлин, которому не пришлось это по сердцу, вдруг порх из рук своего хозяина и сел на крышу. Неразделявшиеся владельцы его — туда, сюда, и так и сяк — нет, нельзя никак достать павлина, и с места даже не сдвинешь его. Уселся и сидит себе, словно поджидает мила друга, что осталась в злой неволе. И не чувствует он, что собирается над ним гроза неминуемая, что попал он из огня в полымя, и не видит он, что обвели его кругом галки да вороны; припались они каркать по-своему, как буд-

¹ В противоположность портным, для которых это время года самое хлебное, а лето самое горемичное.

то собрались суд судить над красавцем. Кра-кра-кра, и бросился черноперый народ долбить и щипать нарядного гостя, с особенным ожесточением нападая на его радужно-изумрудный цвет. Притча о ворохе в павлиньих перьях разыгралась в лицах; но здесь страдало не самозванство, а истинное достоинство. Нападения на павлина становились с каждой минутой ожесточеннее, ворон и всякой свалочи прибавлялось более и более; даже воробьи прилетели насмешливо пощипывать над бедным страдальцем; а он сидел как вкопанный, повесив голову, не защищался и не думал даже лететь. Лишь изредка, когда сильный удар какой-нибудь ожесточенной вороны вырывал у него перо с корнем, подымал он голову и печально поглядывал на зевак, тупую собравшихся глядеть на птичью драму, как будто желая сказать им: «Люди добрые, виноват ли я, что у меня такая светлая одежда!» К вечеру павлин забит был до полусмерти, и дальнейшая судьба его осталась покрытою мраком неизвестности.

Теперь, я думаю, все, и ставлю заключительную точку.



ПОВЕСТИ

СИБИРКА

Мещанские очерки



I

В Москве раздольной есть много улиц, где в известные часы дня кипит деятельность и на которых зато вечером едва встретишь живую душу. Жиль-

цам их, встающим в то время, когда образованный люд столицы снесит успокоиться от волнений затянувшейся пультки или другого какого душеполезного занятия, — некогда, да и несподручно думать о средствах убивать вечера, и лишь на несколько минут выйдут они за ворота подышать свежим воздухом и вполголоса спеть какую-нибудь заунывную...

Таков Крест, улица, которая тянется на добрую версту, от Середишки (за Сухаревский) вплоть до самой Троицкой заставы. И летом и зимою, с раннего утра до самых вечеров, по ней беспрестанно сует народ, и взад и вперед плетутся нехитрые деревянные колчуги, снабжающие Москву разными припасами, от сена до молока; кучками толнятся коренные обитатели этого места — ямщики, собираясь занять мигрирующую с предстоящей поездкой; зачастию промчатся ухарская тройка — и все это вместе придает оживленный вид ее однообразным и не очень казистым домам, особенно когда присоединить сюда шум и говор базарного дня, торговое движение в местных лавках, а летом бесчисленные пестрые толпы богомольцев, преимущественно в нерабочую пору, когда все замосковские губернии — не один десяток тысяч людей — пройдут Крестом на поклонение святыням Троицкой лавры. Вечер, как сказано, с немногими исключениями, безмолвен и скучен, а вечер осенний — просто невыносим. И то сказать

правду, что осенью не один Крест, почти вся Москва прозябает, а не живет (говорится про жизнь уличную); но здесь, по какому-то предопределению природы, сосредоточивается все, что может сморщить самое поселое лицо и заставить призадуматься о мирских невзгодах самого беззаботного человека, — и скорее хочется отсюда в глубину города, где даже в такую погоду, когда, по пословице, и собаку не стонешь палкой со двора, люди суетятся, хлопчут, бегают.

В один из подобных вечеров, на исходе сентября, небо, задернутое серой дымкой облаков, слезливее обыкновенного смотрело на обнаженную землю; как из сита, изморосили мелкие водяные капли, которые совместно и называть дождем; а ветер то кружился с кучею листьев, то протяжным завываньем сзывал слушателей на свой даровой концерт. Темно, сыро, холодно. Улица была пуста. Правда, изредка промелькивал по ней замасленный фонарщик, бегом оглядывая свою команду ошолоков, останавливаясь лишь на несколько секунд, чтобы переброситься парюю слов с дремлющим зсмяком-будочником; или этот последний, из соревнования к деятельности сослуживца, после протяжного «слушай!» вызывал своего товарища, прикурнувшего было за печкой, и посылал его посмотреть, «не шатается ли какой бездомный»; местах в двух слышались глухие удары сторожа, бившего часы, или грохот отдаленных дрожек, затихавший среди тивканья разношерстных; но эта деятельность, это движение погасали в продолжение каких-нибудь пяти минут, и с возвращением будочника к прерванному сну становилось прежнее безлюдье.

И странно было в такую пору, в этой смирной стороне, услышать голос, который пол какой-то церковный стих, перемежая его разными рассуждениями, не всегда приличными словам пения, — и голос этот раздавался с одного места, не приближаясь и не отдаляясь, и раздавался не свободными, полными тонами, а отрывисто, как будто по приуждению. Мерцающий свет фонарей позволял исследовать это любопытное явление, и при внимательном наблюдении можно было усмотреть, что некий-то певец, разныкавший скуку позднего одиночества, было существо, полужележавшее на мостовой около часовни, при повороте в Сокольниковый переулок. Пение постепенно ослабевало, уступая место мыслям вслух, которые непрерывным потоком лились из уст словоохотливого певца.

— На всяком месте владычество его! — говорил он. — Упад и не ушибся! Слава тебе, господи! Жена, известно, бабье дело, станет бранить: «Пализался, скажет, разбойник, для своих импий, проиел все до копейки, не па что будет хлеба купить, а не то чтобы для праздника испечь пирогов!»

Ну, и пойдет причитывать. Аи прещь! А это что? И покажем ей рыбу, положим чай и сахар. Да, купил, не пропил, а выпить, выпил, грешный человек. Да что ж? Работай до угаду, как каторжный, да и не поотважь себя! Да то и вино. Оно, конечно, завтра праздник, я немчинник, не приходилось бы мараить себя для такого дня, да с горя, ей-богу, с горя! Бегал, бегал, прости, господи, мое согрешение, как собака, высунув язык, и хоть бы на смех получил с кого медный грош! Тьфу, мошенники! Петр Иванович, седая борода, говорит, что торговля идет плохо: «Обожди маленько, благоприятель!» Обожди! Плохо идет! Эх ты, анафема эдакая, а сам толстеешь, как бочка, даром что под носом панихида! А барин-то, барин, чтоб ему на том свете ни дна, ни покрывки, прости господи! Велел лаксичке выгнать меня по шеем: «Ты, — говорит, — не смей беспокоить меня; а то, — говорит, — я упрячу тебя за грубость в доброе место!» За грубость! Какая же, говорю, обида тебе, ваше благородие, что пропугу кровных, трудовых денег? Так куда как расходился: «Как ты, — говорит, — смеешь меня тыкать?» Ну и того, велел какостычать. Эх! Как поладобились кучеру новые сапоги, так кимряк¹ в почете, и Ваня он, и братец. Ну, и совместно отказаться, без задатку взялся и сделал на славу. А принес сапоги, стал и вор и пьяница, и меня же норовят в зубы. Стрекули-стишка поганый! Не приведи господи зпаться с таким! Паши брат сделай что-нибудь нехорошее, какую ни на есть гадость — поставь гниаую подошву али замажь швы воском, — так мало того, что барин натешится над ним вдоволь, и на съезжей-то проберут его до костей. Да вперед наука! Ведь он на меду поднесет мне, если повеличает братцем. Ты зови как хочешь, уж лучше Ванькой, даром что я Иван Петров, сын Горюнов, да только пнати. Вот оно что!

И немало еще, жалуюсь на обстоительства, рассуждал Иван Петрович. Наконец, вспомнил яи ок, что вора идти домой, или голыши уже поприскучили его бокам, — только он быстро поднялся и зашагал к углу, уговаривая левую ногу, которая было заупрямилась, помогать усилиям правой. Теперь певец был весь на виду: среднего роста, но коренастый, жилистый, черноволосый, лет двадцати восьми, суди по лицу, а которое не годы, а усиленная работа и бессонные

¹ Это слово надобно пояснить для некоторых читателей. Кимряками назывались сапожники, которые умеют шить одну русскую обувь, то есть сапоги всланишко с болфорты, фунтов в десять весом, крепко подкованные полувертковыми гвоздями. Они были всею частью крестьяне из селения Кимры (Тверской губернии, Калезинского уезда), и от него получили свое название, сделавшееся отличительным термином их работы. Главные мастерские кимряков в Москве — так называемый Ямской приказ, в Зарядье.

нечи паложили свою изиурительную печать, он смотрел молодцом, — и непопятно было, как его крепкая на вид натура не устояла против силы русского веселья.

— И на коне не догонишь тебя! — закричал он, пройдя несколько шагов. — Паше вам паиглубочайшес, голубчик Николанца!

Психод, к которому отосились эти слова, остановился. Но истертой временем синей чуйка и испитому лицу можно было догадаться, что он из одного соглашения с Иваном Петровичем.

— Пора и ко дворам, полуночник! Где был в такую пору? — сказал он сапожнику.

Иван Петрович пустился в длинные рассказы о том, как его вдруг онемело, как он, очнувшись, делится вставать, и о прочем; но собеседник его, по-видимому, не слишком любопытствовал знать все эти объяснения: он шел молча, понурив голову.

— Что же ты хмуришься, словно филин перед днем! — сказал удивленный рассказчик. — Я рассказуюсь в словах от радости, а ты ни гу-гу! Прозяб, что ли, Тимофейч, пойдем, всприснем именины, чайком попоттуем, последнюю полтину на стол!

— Спасибо, брат. Дома давно заждались. да и мне, право, не до бражничанья.

— Вот диковина-то! От чего же тебе, кажись, скучать?

— Мало ли от чего! Но половины моего горя ты не поймешь... не потому, что ты хмелен. Это долгая песня. Довольно сказать тебе про последнюю неприятность. Ты знаешь, целую неделю сидел я насквозь почти все почт, измучился и — ни за нюх табаку. Вынес Челнакову заказные образа; он продержал меня в городе до вечера, потом зазвал в погребок: «Полотчуй, — говорит, — Тимофейч, сантуринским». Да денег, говорю, нет, Петр Иванович. «Ты заказывай, — говорит, — а денег дам сколько хочешь». Извольте. Выпил, да и улизнул домой. Будь я один, мне ничего бы не стоило попоститься день, два, — как-нибудь перевернулся бы; но ма-тушка, сестра. Тяжело, брат, что мои заботы не в силах по-ковть их; знать, такая судьба. Я готов разделить с ними свое тело, но оно не замснит хлеба, вишь, какое жирное! — прибавил горемычный ремесленник с печальной улыбкой, сжимая свои исхудалые руки.

— Замснит, брат, заменит! Ты сделал мне однажды дружбу, поделился последней копейкой, когда мой отец, царство ему небесное! присажал из деревни, а у меня гроша за душой не было. По гроб не забуду этого, да умирать-то стану, так накажу завязать на память узелок. Есть о чем

— Пригрезилось тебе, что это она, — отвечая живописец с досадой.

— Да ты разве ослеп? Она вышла вот из этого дома. Хочешь на галенок чаю, что это Наталья Ивановна? Зайдем к Савельичу, будто за табаком, и увидишь.

— Какие слухи лезут в твою банку! Спорь лучше с дождем; видишь, расхочется не на шутку.

Они пошли почти бегом, не совсем удачно перебираясь чрез многочисленные лужи, которыми усеяна была дорога, и топкую грязь. Иван Петрович настаивал на своем, что не ошибся; но товарищ его и не спорил, а думал, по-видимому, совершенно о другом.

— Да, Николаша, — философическим тоном рассуждал сапожник: — женщина, что твои копейка, насчет чего ты хочешь... Вишь, как прощмыгнула... такая копейка... и со мной ни пол-слова, обморочить хотела! Копейка насчет ли любви или чего другого... уж вырвется из всякой беды, коли захочет! Известно, Наталья Ивановна девушка хорошая, деликатная, постоит супротив всякой барышни, чести от нее нельзя отнять, да все копейка!

На этом слове они были у ворот своего дома.

II

Читатель! Ты, кого с незапамятных времен весь литературный люд чувствует благосклонным, иazole и мне сделать воззвание к твоей снисходительности — попросить тебя свернуть на время в сторону с большой дороги начатого рассказа, для твоего же удовольствия. На свете все в имени, и, назвав мою историю «очерками», я вправе действовать как заблагорассудится, идти на все четыре стороны, не стесняясь оградями новеллы или другого какого произведения, получившего право гражданства в области слова. Очерки мои отчасти сродни тем литературным блескам, что зовутся за морем физиологией, — и поэтому-то осмеливаюсь представить на твое благоусмотрение несколько отдельных цитиров, тем более что они могут показать истинную точку, с которой надобно смотреть на целое.

Узнав, что одно из действующих лиц рассказа, если угодно, герой, — живописец, ты, может быть, подумал, что он из семьи тех диковинных живописцев, что расползлись было на Руси не так давно тому, когда кой-кто из наших писателей задумали искать поэзии не в повседневной жизни, находя ее слишком мелочною, а в созданной их фантазиею и в следствии этого выкинутого взгляда запрудили словесность художниками разного рода, выставив их всех кандидатами в гении.

Николай Тимофеевич далеко не то. Он ремесленник, мастерской, и если иногда решается похвалить себя художником, так лишь для отличия от иконошников-бородатых, с которыми он потому только стоит на одной доске, что пишет образа. Он член сословия, составляющего значительную часть населения Белокаменной и помогающего ей одевать и убирать почти всю Россию. Сословие это разделяется на несколько разрядов не по одному роду занятий: в нем есть своя аристократия и своя чернь, смотря по личному весу ремесленника или по важности его мастерства; и хотя можно сказать, что на всех мастеровых

С головы до пят
Особый отпечаток. —

след русской отваги и смелости, которая, не лагая в карман за метким словом, не много думает и в случае, когда придется перешить, пустить в ход какое-нибудь чужеземное изобретение, угаданное на лету, с одного глаза; но, по разным уважительным причинам, я не стану рассматривать высшие слои их, а спущусь вниз.

Тузов-мастеровых можно видеть на любой из главных московских улиц: огромная вывеска, нередко с французскою надписью, грязный вход, ведущий в подражание. Конторе — хозяйству; идет торговля полуобшитами мальчишка, замаскированный приказчик, — а там уже мастерская, на немецкий манер. Вот большинство признаков их заведений.

Другое дело — низшая ступень ремесленников, хозяева кустарники, которые шажком пробиваются за тузами: их отыскать трудновато, потому что они населяют края. Москвы, глухие, небогатые места ее, где квартиры подешевле, — а если и попадают в середине города, то в какой-нибудь Невской или на площади, где в одной каморке шагов в шесть длиной, освещаемой парой конюшенных окон, помещается иногда человек десять. Как они живут тут, как работают, как ухитряются находить еще кой-какие удобства — это их уже тайна, которую, однако ж, не мудрено разрешить, когда увидишь, что это за лихой народ, и хозяева и работники. Плохо одет, пастет пищи — порой с квасом, порой с водою, работает день и ночь, без усталости, без отдыха, — и всегда весел, всегда с песнями, живет нараспашку, на живую нитку, ставит ребром последнюю копейку... У него ни в чем нет сдержанности: он гуляет, так уж гуляет до отвала, и воскресенье и понедельник, пьет, покуда «принимает душа» и пока не свалится с ног; зато слушай спешная работа, дело законит у него в руках, и он прокидывает над нею, не разгибая спины, двое суток сряду. Беззаботный, но не беспечный (ничего не

делать-то ему «не под стать»), он не беспокоит себя много думами о будущем, может быть, и потому, что в этом будущем не светится ни одной отрадной, сбыточной надежды, а стоит одно горемычное труженичество из насущного хлеба... «Были бы только руки да здоровье, а то все илевое дело», — говорит какой-нибудь Иван Петрович, закладывая на похмелье новый, только что купленный халат или плаги хозяину за каждый прогульный день втрое больше своего жалования. Крепко, однако ж, становится он недоколен своей бесталанной судьбой, когда за неплатеж каких-либо недоимок его отправляют в рабочий дом или одсвают в серый армяк и заставляют в деревне стеречь баранов. К подобным же неприятностям жизни относит он и те нередкие случаи, когда, по каким-нибудь законным причинам не попав на почас домой, он отводится попечительными будочниками в сибирку¹ и на другой день, с намеленным знаком отличия на спине, очищает улицу части, давшей ему приют...

Прощу не думать, однако, что одни темные пятна — исключительные признаки мастеровых, а добрые качества так бесцветны, что их не заметишь. Пожар, пламя пышет волнами, корывается на соседние дома; толпы стоят кругом, сложа руки и смотря на огненную картину, как на театральное представление; пожарные солдаты выбились из сил. Кто добровольно, не подгоняемый нагайками казаков, бросается к ним на подмогу, качает воду, растаскивает обгорелые бревна? Мастеровые.

Бедная церковь, прихожан мало, певчих нанять не из что, и в праздничный день своды ее должны бы оглашаться дребезжащими голосами двух престарелых причетников; но раздается громкое пение хора, правда, незнакомого с нотами, но поющего стройно, руководствуясь тем народным чувством, которое еще в детстве побуждает нас жадно вслушиваться в умирительные церковные напевы. Кто же заменяет клир? Сборные певчие из мастеровых, для которых эти минуты счастия по слову являются на их правдивность. Часто, после такого доброго начала дня, участники хора чинно усаживаются вокруг кого-нибудь из грамотных товарищей, и время, обреченное веселью, проходит в мирном отдыхе и чтении какой-нибудь книжки, купленной на толкучем за гривенник...

Вот еще черта: где-нибудь на гулянье, перед балагаком теснится народ, потешаясь остротами паяца и особенно разговорами его с рыжей бороною, которая непременно является

¹ Так называют полицейскую тюрьму, очень невинную, вроде школьного карьера. Есть и другого рода сибирки, о чем будет сказано ниже.

тут; хотите знать, кто занимает роль нашего самородного буффа? Наверно, портной, который из нескольких порученных таким образом рублей доставит праздник своему семейству и, что греха таить, потопит горе жизни в зеленом. В редкой школе найдется такой дух товарищества, какой распространен между мастерами. Артель — это дружка французским компаниям, исключая лишь худой стороны их — неприязни к другим товариществам. Одноартельцы все братья: и чай они по праздникам пьют вскладчину, и одни сапоги частенько носят двое; а если кому из них случится быть обиженным другой мастерской, все горой станут за него, и горе оскорбителю! Это братство доходит у них порой до нелепицы. Бывает, например, так, что артель хочет погоселиться, и только один выскочка не желает участвовать в общей пирушке; на другой день кто-нибудь из удалых, коновод, в отместку за отступничество утаскивает у него спортук или что другое из платья и закладывает на похмелье. В мастерскую вступает новичок; по принятому кустари обычаю с него надобно выпрыски для всей артели, и если он вадумает пожалеяться, угостить будущих товарищей одним чаем, лучше не гляди на свет: ему не будет житья, и с прозвищем «выжиги, прощелыги, трысучки» он принужден перейти к другому хозяину. Особенно неумолимы в этих двух случаях портные и сапожники, пользующиеся между мастерами репутацией записных пьяниц, в противоположность бриллианщикам, золотых дел мастерам, часовщикам и живописцам — высшим ступеням ремесла, которых за тупость прозвали «паровыми огурцами».

Впрочем, проследите жизнь мастера. Мальчик, назначенный в ученье, редко учится чему-нибудь дома; ему дают даже поблажку в палостях, говоря: «Еще потерпится в чужих людях». Поступив в мастерскую, он уже носит в себе знакомство с улицами пороками, на искоренение которых должны бы обратиться заботы хозяина; но когда тому подумать об этом? По условию он обязался выучить мальчика «всему, чему сам разумеет», в течение не более пяти лет (законом ограниченный срок), и об этом он старается, сколько сумеет и сколько сможет дарование ученика; а из нравственных качеств вытискает более всего, словом, и делом, исключение: подмастерья, с своей стороны, заботятся преимущественно о чинопочитании и за малейшую провинность усердно щелкают мальчишку, основываясь на том, что и их «так учили! На одаре этих двух добродетелей подрастает маленький ремесленник. Первые год-два он только привыкает к мастерству, занимаясь более домашними работами, а потом хозяин уже требует от него посильной подмоги, что-

бы не даром съел хлеб, — и лишь по милости быстро переимчивой натуры успевает он и приобретать новые сведения и применять к делу приобретенные. Нравственность его между тем развивается на свободе и частенько колеблется от необходимости заслуживать благосклонность мастеров и вместе с тем угождать хозяину. Наконец, с поступлением ученика в разряд старших, сдерживавшие его цепи страха близки к разрыву, — и, на одной ноге с работниками, он начинает понемногу кошалить с ними. Счастлив он, если его, только что выбежавшего на дорогу жизни, есть кому наставить на путь: он не свихнется, а иначе души пропало! Посудите, где же научиться ему — по мудрейшей науке жизни, а хотя некоторым основным правилам ее, которые даются другим чрез самое первоначальное образование? Школ для ремесленников не существует; публичных курсов, вроде тех, какие читаются во Франции, не имеется; явится иногда из ремесленной управы для осмотра в мастерскую какой-нибудь просто-плетный «товарищ старшины» с пройдохой писарем, да ему более дела до того, есть ли у хозяина и работников законные дозволения на производство мастерства, не терпит ли казенный интерес какого ущерба, — а заглянуть тут же, как содержатся мальчички, как и чему их учат, — это до него не касается. Доброе учреждение воскресные школы, да их мало, на всю Москву три, и не скоро еще призываются они к застарелой беспечности хозяев. Все надобно путем растолковать, вбить в голову, что и бумага и книги — все даровое, лишь пусть учатся ребята, придя от обедни, а не шмыгают по забора́м или не играют тихомолкой в орлянку.

Неуместно продолжать эту речь здесь, потому что она требует многих объяснений; и так заговорился. А для чего? Затем, что не нашел другого средства ввести моих читателей в круг, где живет Николай Тимофеевич. История жилища самая обыкновенная даже и для ремесленного быта; ничего не переходило из нее за порог дома; не на чем остановиться и самому внимательному взору. Отдали же его в это мастерство потому, что отец его, небогатый мещанин, перебивавшийся кое-как с гроша на копейку, не мог без восторга проходить мимо иконного ряда, где за стеклянными дверями как жар горят в дорогих ризах множество образов — эта благочестивая роскошь русского человека, — или мимо серебряного, которому нужно лишь газовое освещение, чтобы походить на волшебный замок. Думая старик сперва сделать его серебряником, да мальчишка был такой хитрый, что, казалось, не мог и молотка поднять, — и отдал его «для научения живописи из масла», как говорились в услонии. И стал Николай Тимофеевич мастеровым, которого прошу не

обессудить, если и обмолвится где словом: человек-то он больно неважный. Очень обидишь ты меня, мой добрый читатель, счита его за героя и рассчитывая найти в нем все принадлежности этого чина; только те на свете становятся героями (романическими), кому псчего более делать в жизни, как мечтать о несуществующем, куражиться над всем, что хотя на пядь выдвигается из обычной их бесцветности, создавать воображаемые мучения, разочарования, сомнения, — словом, заниматься такими вещами, которые, на языке порядочных людей, зовутся пустяками. А живописец с утра до вечера, часто и ночь, работает, и в поте лица достает кусок хлеба. Конечно, и в его незатейливой жизни, как у многих простых, смиренных людей, встречаются черные дни, в которые героизму других было бы довольно разгуля; но он осиливает их, насколько может, где нагнется, где подымет плечи, и бредет себе далее, не трезвоня о своей бездельности.

III

Со времени появления «Парижских тайн» у многих проявилась смертная охота бродить по самым глухим закоулкам, в надежде наткнуться на какую-нибудь «тайну» и испытать сильное ощущение, которое они находят только за картонным столом да в опекуном совете. Отдавая должную честь неустрашимости этих ловителей приключений, смею, однако, уверить их, что если бы когда, осенью или весной, случай занес их обок Крестовской улицы и чутье любопытства шепнуло бы, что тут водятся «тайны», — смею уверить, они труслили бы и не пошли в это одно из самых смиренных и тихолобивых предместий Москвы. Здесь еще свежо сохранились следы тех блаженных, не очень давних времен, когда горожане считали мостовые и тротуары незаконным сопротивлением природе, любили строиться раскидисто, но безостановочно выкидывая всякие нечистоты в ближайший дворик¹, где есть водили коров, свиней и кур, куда считали общественным пастбищем для этих животных и местом, куда можно сваливать всякую нечисть со двора; Здесь в ненастную погоду столько грязи, такие лужи, что их нельзя топтать, а не то чтобы пройти или проехать; можно, впрочем, судить об их объеме по тому, что в пасоводье в одном местном ущелье образуются настоящие озера, через которое крестовцы, за неимением лодок, переправляются в корытах¹.

¹ Надобно оговориться, чтобы не обидели и преувеличили: так было несколько лет тому, а теперь сделала кое-какую намыль; и воды нет настолько, чтобы можно было плыть.

В один из здешних первобытных домов дряхлой наружности, торчащий на самом юру, отправимся мы. Осторожно надобно пробираться по узеньким дощечкам, составляющим подпирной мост через топкий дворик; еще осторожнее входить в темные сени, где того и гляди что зацепишься за какой-нибудь хлам и раскромшишь лоб. Входим. Несколько дверей, ведущих каждая в особую каморочку и соединяющихся одним общим выходом, кухнею, где теперь, утром, собрался весь прекрасный пол дома и хлопотет около печки. Точно базар. Ни на минуту не прерывается сумятица и говор, такой громкий, что, кажется, не шести бы женским голосам производить его.

— Как это тебя, Григорьевна, угораздило отодвинуть мой горшок? — кричит одна. — Нанямаши угол, да хочешь барствовать?

— Па-тка, мать моя! Не спавши выпала себе беду, — отвечает обвиняемая. — Ведь и ты не фря какая, что живешь в четырехрублевой каморке!

Слово за слово, побранились, да так горячо, что обвиняемая закричала мужу гонимельнице:

— Иван Петрович! Уйми свою озорницу! Сил нет, совсем отбила от печи!

Иван Петрович, полустворив дверь своей комнаты, где занимался сборами к обеду, принялся усовещивать жену, чтобы «не заваривала кашу для его именин»; но его миротворство только подлило масла в огонь, обратившийся на него самого, и бог знает, до чего бы дошла сила супружеского убеждения, если бы появление нового лица не разогнало близкой грозы. Это был старый, но еще бодрый солдат, той молодцеватой наружности, которая редчает с каждым годом, немало послуживший на своем веку, как красноречиво свидетельствовал это ряд медалей и крестов, украшавших его грудь. Его неожиданное «Железю здравствовать!» громом грянуло среди интимной разностолосицы и покрыло ее. Крикуны приутихли, а Иван Петрович, довольный счастливым концом дела, грозившего прилить неблагоприятное для него направление, дружески обратился к кавалеру:

— Просим покорно, Иван Савельевич! С праздником вас! Что, верно свежестького табачку приносили? А уж как кстати для нынешнего дня! Истинно одолжили... Весь выпел, и в госу, вот как вы говорите, словно республика. Пожалуйста-ка ко мне, и разотведем наш зеленчак. — Эти слова сапожник проговорил с двусмысленной улыбкой, которую трудно было истолковать тем, что, ради своего ангела, от запаса штифом пеннику и для компании решился почитать его.

— Благодарим покорно, тезка, — отвечал служивый: — забирательного-то со мной нет; а кажись, ты сегодня именинник, так с ангелом, будь здоров да богатеи!

И, не смущаясь болес, он вошел к живописцу. Хотя весь дом из баранного леса, давно просившийся на сломку, осунулся до половины в землю, оделся мохом и плесенью и, униженный щелями, терпел от дождя и от ветра, но комната, которую занимал Николай Тимофеевич, была хоть куда, настоящая щеголиха перед своими однодохжахи замарашками, видела светло, весело, красилась порядком и чистотой, говорившими о присутствии женских рук, которые были умеют давать ничему казистый вид. Убранства вовсе никакого; нет даже и шкяфлика для парадной посуды, которым так любит щеголять мещанство; лишь ржавые стены увенчаны живописными модельками, да изувеченные окна прикрыты мяткалыми занавесками; все бедно, даже очень, но не поражает своей наготой, нередко отталкивающей от самой горькой бедности. Семья все вместе. Старушка мать, обесилелная годами, лишенная почти всех чувств, едва передвигает ноги; безыхолно, исключая церкзи, куда доведет ее иногда добрая соседка, целый день сидит она на сундуке у печки, жалуясь беспрестанно на холод... Но если наводит грусть смотреть на изможденную жизнь, тем с большего радостью останавливается взор на молодой распухнутой, цвстущей весенней свежестью: Аншука, сестра живописца, была премиленькое существо. Ей, всегда с улыбкой, всегда с веселым словом и песенкой, ей казалось, только и жить здесь, между печальною старостью и задумчивою возмужалостью, как гибкому плыти, который с одинаковой любовью обвивается вокруг безобразных развалин и угрюмого дуба. На ней лежат все хозяйственные заботы (в их немелом, как ни беден мещанский быт), и она же успевает порой и разглядеть морщины матери и натереть красок брату, дать новый фасон своему единственному челнику и сшить чужое белье. Николай Тимофеевич знаком нам.

Он встретил последнего с заметным почтением, а Аншука вылилась была за самовар, следуя московскому обычаю — потчевать гостя чаем, когда бы ни пришел он, но сохдат с такою решительностью сказал: «Просим не беспокоиться, я уж принял порцию!», что удивленная депушка оставила свое намерение и вышла в кухню. Живописец сел звать за молитборт, где стоял подмалеванный образ Иоанна Богослова, считаемого покровителем иконописцев, и который он, по обещанию, писал лишь по праздникам, назначая его для своей приходской церкви; Иван Самодяевич стал у него за столом; но прошло с добрую четверть часа, прежде чем кто из них

ручонками вокруг шеи, и уж как ни хмурься, отлепнет на сердце, развеселит своим лепетом папашу; да и я был папашей. Добрая дочь была тогда она, не брезгала отцом-солдатом, когда вошла и в разум, стала настоящей барышней и по-французскому со мной разговаривала! (А я натерся этому языку, как плали неприятель.) «Илу с богом, расти, Наташа, будь госпожой, а я у тебя швейцаром». Сместся, бывало. Вдруг генеральша скончалась скоропостижно. Наташу почти выгнали из дому, обообрали всю — пришла ко мне, бедненькая, с заплаканными глазками, с одним узелком. «Не плачь, дочка; ведь я не без рук, а здоровья мне не занимать стать; проживем и без твоей благодетельницы, а чего миленько и поделается, даки-посланцы-жизня-дружнина-другая, «любви-зволки». Заплакала опять, да только от радости. На ту пору, дня через два, гляжу — повестка идет всем отставным к-го судавро: царский зять; на радостях, одесает, старых служака деньгами. Пошел во дворец и воротился с красивой ассигнацией. Вот и первая неожиданная помощь. Сбились еще косяк-кие деньжонки, и у Наташи появилось платьице, сшила сама — воды у нас ничто не вывалится из рук, на все мастерица. Стала брати переписывать, какие-то мудреные бумаги, все крочки да палочки, — нотации, что ли; а принялся мастерить что попало, и сапоги и башмаки, как было в подку; стал и табак тереть, хороший табак, от докупильков отбою нет, уфевай дядя; пробовали заводчики, мужичье глуме, жаюветер, квартацфуму, что хлеб у них отбивает, башкоро-льного вовсе не разбирает, да шиш взяли. Во всем шла удача такая, что просто морс, протсние. Стае хлопотать и о пенсиях, которые давно бы надо получить, да, верно, слыш их какой-нибудь подьячий, а тут и велели выдавать, сам комендант приказал; даже-и, что твою госпожа! Наташа стала шествовать в шляпках. Тут и ты познакомился со мной.

— Я нарочно для этого стал нюхать табак, а когда доловил ваш старыс образа, сдсчался, как родной; и мне отравно бывало каждый вечер, после пизбашу, прийти к вам и слушать, как Наташа Ивановна рассказывает что-нибудь, чудно рассказывает. Сидишь, боялись переверсти дышание, чтобы не проронить ни одного словечка, и спросит, что таким голоском, всего обаяет жаром, сердце разохотится хохуном — а всесро, даго на душе. Я... жинюлисея не договори, по хожио было угадать, что хотел сказать он, забывши злую вещь под обаянием прежних воспоминаний, вызванных рассказом Ивана Савельевича, который, против воли, и сам увлекся протсдшим.

— Да, я о ту пору же подметил, что ты ластись к Наташе, заразноа она тебя. Что ж, зсмух, так зсмух, :

богом! Был бы хороший человек, не до благородства нам, хоть и воспитания деликатного, выучена на разные манеры. Что и в благородстве, если у иного душа-то голая. Хоть до сего часу не скажал об этом почести ни слова.

— Робость брала. И куда какой неловкий расчет женского полу. Вам-то сказать, разумеется, не беда: не удалось, не по душе пришелся я — делать нечего, насильно мил не будешь... А с Натальей-то Ивановной как? Думасишь много, не дерзко сказать, кажись, и в год, а зачнешь говорить, словно немой. Каждый вечер собираясь открыть свое сердце и всегда откладывал до завтра. Ждешь, бывало, как входа в рай, пока уйдут все, а останешься с нею вдвоем, боишься взглянуть прямо в лицо, страх позывает такой, молчишь как дурак, отвечаешь невпопад. Уж не один раз это было. Просто конфузия.

— Да сказал бы напрямки, хоть зажмурил глаза: жить не могу без тебя или без вас, как пришлось; или взялся бы за свад, ты те и заведешь они; а то какая польза тянуть капритом, да мучиться, как если больно забрало.

— Я и то с месяц тому, памятен этот день, решился сделать так. Была не была, заводю; жизнь не в жизнь, работа валится из рук, все постыло. Сестри была именинница, и Наталья Ивановна приняла к ней в гости; позабрались и еще кой-кто из девушек, и, чтобы скоротать вечер, затеяли играть в фанты; и я стал. Играем известно как; перекликаются со мной: «По ком болит сердце?» — «По фланке» (а фланка была Наталья Ивановна). Спрашивают фланку: у нее сердце болит по топому, а топому-то я! Шутка, а заняла душа. Как дошло до розыгрышей, присудили мне быть разносчиком, продавать яблоки. Обхожу круг, все берут, кто пять, кто десять, известно, не яблоков, а, как водится, целуются; дошел черед и до Натальи Ивановны. «Яблоков, сударыня, не угодно ли?» — прошептал я, а у самого сердце не на месте. Верно, скажет: «Я не люблю»; а я нет: «Кушню пару». Не умел рассказать, что сделалось со мной тогда. Не помню, как и поклонился и поделовал ее не два, а много раз. Голова у меня пошла кругом, лицо горело как в огне, я бросился вон и уж ошатаивался на свежем воздухе. И стыдно и досадно стало на самого себя, и хотелось еще целовать... Девушки с хохотом приглашали меня опять в горницу, называли лакомкой. Наталья Ивановна смотрела с улыбкой, но не сердилась, и я как будто переродился. Вск не случилось со мной такой оказии. Смеюсь, шучу со всеми, шалю как ребенок. Смелость подошла такая, что говорю с Натальей Ивановной и не сморгну, смотря ей в глаза, которых боялся прежде пуще молнии; начал показывать ей свои рисун-

ки — она знает в них толк. «Поздравляю вас с большим дарованием и с любезностью, какой не замечала», — сказала она. Я покраснел; слыши эти были для меня дороже миллиона. Правду сказать, не хвастая, если бы не городская работа, где пиши одно и то же, но известной мерке, да клади побольше ярких красок, чтобы не даром платить деньги, как толкуют покупщики; если бы не это вечное малознание да не нужда, которая часто заставляет работать на скорую руку, с грехом пополам, можно бы написать не хуже людей, хоть в академию, как говорит Наталья Ивановна. Играли, играли, глядим — скоро двенадцать часов. Basta! Вы жили тогда еще на старой квартире; Наталья Ивановна одноп., разумеется, неловко было идти домой, а остаться почевать не согласилась, и я пошел провожать ее. Идем, задумались оба; я молчал, молчал и, наконец, начал; не знаю, откуда брались слова, высказал все, что было на сердце. Ответа Натальи Ивановны всего я не понял, хоть не пророчил ни слова; узнал лишь, что моя любовь слишком удивила ее. Я, говорит, отец, отец уважаю вас, пол... и воспитанн-то мы разны, и понятия наши нескладны. Ничего верного не сказала; ошеломить не ошеломила, но и не обрадовала. Опять прежняя мука: смотри на нее да сохни. Лучше бы отказана няотрез, чем это ни то ни се. Печально распростился мы, и с той поры полною не слышал и от нее желанного слова.

— Маленькая разница есть, да дело-то не в том, — отвечает солдат. — Все это остаток старой дури, первой глупости: не успела ее страсти с рук, готова и другая: хорошо детище! Не судьба, Николай Тимофеевич! И рад бы в рай, да грехи не пускают. Белый, по вторичной, уж никогда не сделается хорошим солдатом, и притает он, как червь. Бог с ней! Она забыла меня, и я не хочу помнить о ней. Сосбываю тебе сам такую невзвесту, что белышка супротив нее и в подметки не будет годиться! — Голос расстроенного старика задрожал, когда он произносил эти слова.

— Нет, если она не моя суженая, так лучше маяться век одному. Не будет у меня солнца радостного, но и не поморбит в жизни сердце два раза. И что вы паладили все одно: бежала да бежала; может статься, отлучилась куда, не сказавшись, а вы и подумали бог знает что!

— Я говорю не без резону. На-ка, прочти вот эту закорочку.

Николай Тимофеевич жадно схватил поданную ему записку на атласистой бумаге, украшенной вычурною вильистой, — и вот что заключалось в ней:

«Если ваше сердце еще не совсем умерло для прошлого и вы желаете получить некоторые сведения об нем, и даже,

может быть, видеть его, всерьез знакомому вам экипажу и слову того, кто очень виноват перед вами, но, храня в душе отрядное воспоминание о существе, которое озарило его одинокую жизнь радужными лучами счастья, всегда свято уважал вашу волю. В случае свидания с ним, вам нужно будет пробыть несколько дней вне Москвы, и потому устройте так, чтобы это отсутствие не беспокоило ваших родных. Посланному не отвечайте лично — это будет знаком согласия, и завтра вечером, в 8 часов, карета будет ждать вас около дома. Именем его заклинаю вас положиться на честь Г. Д.»

В конце находилась приписка по-французски, темная для живописца; но довольно было и прочитанного, чтобы понять, что здесь неспроста. Напрасно, однако, старался он разгадать, кто этот он, по-видимому, столь дорогой для Наташи Ивановны, и напрасно проникал в смысл кудристых фраз о прошлом и о прочем; зато остальное было слишком ясно.

— От кого же бы это? — спросил он в тоскливом раздумье.

— Это я знаю не больше твоего, а верно, от прежнего удалыца, который, даром что офицер, сам присягу припечал, не посовестился отнять единственное дитя у старого слугивого...

— От прежнего?!!

— Видно так... Поводылась птичка летать в одно гнездышко, не скоро отучишь. Крепился я лавата, не говорил, а, зная, лила в мешке не утаишь. Человек ты свой и авось сору из избы не вынесешь, не проговоришься кому ради зубоскальства и не растравишь старых ран, которые теперь больно трогать и самому... Дай бог царство небесное покойной генералнице, что воспитала сиротку, а нельзя помиловать ее добрым словом, что посадила солдатку не в свои саня! Наташа выплыла из ее дому с хмельной головой; в глазах все мерещилась усь да шворы, и, вестимо, трудно было привыкать к таким молодцам, как мы с тобой: хоть не уроды, а все далеко до какого-нибудь гусарчика!.. Частенько задумывалась она и, не раз подмечал я, украдкой читала какие-то письма да целовала их. Вляжу, плохо, не к добру это, «Что с тобой, Ташечка?» — «Скучно, батюшка!» — «Отчего же?» — «Так!» Так, да и только. Развеселял как сумел, был с ней, отролся в первый раз, и в киятре, — знатно представляли, — ходил смотреть разных зверей, шарманку зывал на дом: улыбается моя Наташа, только лучше плакать, чем так улыбаться. Вдруг, ни с того ни с сего, приходит однажды с урока (а учили она одну купчиху, как сделаться направской

барышкой). приходит словно зстрепанная, обнимает меня, целует; и зыгаращил глаза. «Милый папаша! Бог помогает нам; наместе еще урок, буду учить в доме, где не станут чваниться передо мной, как у этих кунцов, а будут принимать за родственницу...» А сама вся так и вспыхнула; мне тогда это невдомек, да после припомнил. Ну, хорошо. Месяц, и два, и три. Наташа почти каждый божий день все на уроке; и точно, она учила двух девочек, сам своими глазами видел. Похорошела, расшела моя Таиша; сердце радовалось, глядя на нее... Вдруг, как будто что сделали над ней, слезили или нанустили, скучать да скучать, тосковать да тосковать, совсем извелась. Что за притча такая? Никак не приберу себе в голову. Делать нечего, согрешил старый дурак, дернула меня моя умная сестрица, опростоломосился, пошел к Ивану Яковлевичу, знаемое дело, безумный, занос такую окоселу, что сам лукавый не разберет; а еще отнес ему с фунт табаку, да в кружку часовой велел положить двугривенный! Ходил я потом к ворожейке, тоже напорола дичь. Прах побери все гадания! От воли божией никуда не уйдешь!.. Вот пришло и лето. Наташа поехала с своими ученицами в деревню, воротилась исхудалая, словно после болезни какой... Эта никому не зажмешь, соседи лустились в пересуды, но я не говорил об этом дочери: празду — не унять стати, и спдегн — так Москва этим славится. Погодя немного самое совесть замучила, все рассказала мне, несчастная... Сердце облилось кровью, как услышал я. Еще у генеральши ухаживал он за ней, а потом, а потом, чтобы сподручнее видется, доставил место у своей родственницы. «Обещал, — говорит, — жениться, ждал только позволения от матери, а та и слышать не хочет!» Дурочка, говорю ей: зачем не спросила в те поры отца, зачем поверила словам, которые иной скажет раз сто в жизнь? Любила ты, пусть так, с сердцем женщиной, известно, не совладала, а честь свою должна бы беречь лучше жизни... Глушенькая ты, глушенькая! Напалались мы с нсю. Думал я идти к нему, да бросил: зачем? Даст, пожалуй, денег, скажет: «Жаль, любезный! Я пошутил, а выпала эдакая история!» — и прогонит меня. Я проклял уроки; лучше есть хлеб с водой, чем жить неправдой; а долго ли до греха молоденькой девушке! Жизнь не поле перейти, забывается все... отлегло и мне горе. Наташа опять сделалась «госпожой», а я «папашей» (у старика капнула слеза при этом воспоминании). А теперь... теперь у меня нет дочери!

Живописец сидел молча, но слезы падали на палитру. То, что передумал он вчера и перечувствовал сегодня, во время рассказа Ивана Савельевича, истомило эконец его душу, и надобно было совершенно зачерстветь ей для всех радо-

стей в жизни (которых не много изведal он), чтобы не уронить слезы на убитое счастье.

Если душу истинно мужскую обуяет грусть, не любит она казать свое временное бессилие и горюет тайком, чтобы не подметил чужой, незванный глаз. Каково же было удивление Николая Тимофеевича, когда, обернувшись, чтобы сказать слово надежды несчастному отцу, он увидел на пороге комнаты Анисью Савельевну, сестру солдата! Вопила она только сию минуту, иначе дала бы знать о своем присутствии, потому что молчать куда не любила; но зоркое чутье ее поняло все. Она принадлежала к тому не переводящемуся на Руси, вследствие татарщины, роду промышленниц, что зовутся свахами и берут на себя человеколюбивую обязанность заботиться о соединении всех чающих супружества, — к тем женщинам, которые вечно в полуизношенном драдедамовом сарафане, в ситцевом платке на голове (в важных случаях надевается челчик в виде мельницы), с лицом подвижным, как карты в райке, с подленькою улыбкою, которая кричит всякому: «не угодно ли, посватаю вас?», с вечными жалобами на бедность и сиротство, что не мешает, однако же, им время от времени относить сотню-другую рублей в опекунский совет. Анисья Савельевна могла служить достойной представительницей этого дела и к нечисленным качествам присоединяла еще одно, особенно драгоценное, обладала таким пронзительным голосом, что в состоянии была заглушить любой хор песенников, а говорила бойко, сыпала словами, как сорока. В околотке она пользовалась заслуженной славой веселой кумушки-солдатки, и хотя никто не любил ее, но всякий, боясь попасть под ее язычок, усердно отвешивал «нижайшее почтение матушке Анисье Савельевне» и звал на семейную пирушку. Николай Тимофеевич она не очень жаловала за то, что он не пошел за ее уду, отказался жениться на дочери отставного дьячка, такой скромнице, что стоит в церкви не ворохнется, поделесповита дитя невозможно. К Наталье Ивановне, своей племяннице, она тоже чувствовала нерасположение: подвернулся было богатый купец, вылезший в почетные граждане из целовальников; приглянулся ему «солдатычка», разлакомились его глаза на этот «субтильный кусочек», и донос он о своих «чувствиях» Анисье Савельевне, с присоединением беленькой ради знакомства; та выиграла смекнула, что это клад (дело происходило вскоре после возвращения Натальи из деревни), и, как тонкий политик, издавzа начала своей племяннице речь, что нынешнее офицерство все голь, годится лишь на выжигу, а бесни какие продувные — не приведи господи, «только и выскочат на фуфу, чтобы обмануть нашу сестру», и уак

едет, говорит, пара лошадей, одна в карню, другая на пристяжке; женится, говорит, барин на одной жене, а другую заводит пристижную. На каре-то, вестимо, поскладней». Федуловне бы и невдомек, куда метит он, да сам разболтал все. «Видишь, тетка, — говорит, — вон этот дом (и показал на паш): там сидит пташка взаперти, добрый молодец вырутит ее из пероли, и станет она у него жить в золотой клетке, а есть что твоей душе угодно: лишь полюби!» И много балясничая он, как весело у его барина. Вот, мои голубчики, оказия-то! Не свои речи персдаю, не тинула Федуловну за язык!

Рассказ этот Анисья Савельевна произнесла с приличным повышением и понижением голоса, как опытная актриса, выражал сильнее те слова, которые, она знала, ножом должны были врезаться в слух двух участников этой сцены. Стоит человеку вызвать только одну злую мысль, а за ней вереницей, будто стадо журавлей, потянутся сотни, одна другой хитрее и острее. Так было и со слушателями прикрищенного известия о кареге. Что прежде и не входило им в голову, представилось теперь их расстроенному воображению, поразив его как молотом. Живисисцу стало невыносимо грустно при мысли, что на любовь, которую он считал святыней, заключен низкий торг; что сердце той, кого он, бедняк, чтит в простой чистоте своих чувств, куплено деньгами. Когда же он вспомнил о мимолетных поцелуях, подумал, что теперь эти поцелуи и ласки принадлежат другому; что в то время, как здесь горюющий отец вместе с ним оплакивает легкомысленную, но любимую дочь, она весело смеется улыбке своего... У него потемнело в глазах. Чувства солдата были в страшной тревоге и борьбе промежду себя; любовь к дочке, спорившая с необходимостью выказать строгость, быть «настоящим отцом, а не бабой», чего крепко боялся старый храбрец, стыд, что другие узнают об этом сраме, смешались, наконец, сильною досадою на главную виновницу расставления его неожиданной язвы, на сестру. «Чего доброго, — рассуждал он, — эти ведьмы сжили бы со свету и меня, а замучить, заесть Натану ей ничем. Кто знает, может быть, дурочку подстрекнуло к побегу не столько это республиканское письмо, как известия да проклятые слезы этой змеи подколенной!» Опираясь на правдоподобие такой дилатки, он обратился к Анисье Савельевне, которая успела уже атаковать живописца, напевая ему что-то о «знатнейшей невесте, какая есть у нас на примете», — и закричал, как будто командуя взводом:

— Типун тебе на язык, злоеющая ворона! Слушай! Если кархнешь еще хоть слово, право вышибу из тебя дух! Черт

придумал тебя напечатать мне в уши такие вещи, каких и
век бы не придумал, так и убирайся к нему по знакомой
дорожке! Бежала... продала себя... развратилась... слепла и
закрыла глаза, — не думай, дедушка, дочка моя! Живы и мамы и дедушка,
прокляну одним словом и каждую минуту стану молиться за
ее спасение — я, все я, за все один ответчик!.. а ты что? —
Свобку приехал!

Искра, брошенная в пороховой бочонок, не произвела
бы грома и треску сильнее того, какой послышался из уст
взбешенной свахи. Поискала, и на троих не догонишь, при-
нцесса! Прийти вать, хоть сватать, все равно! Дядно, жен-
щины этого рода мало изменились со времен Нестора наших
юмористов, да и дяди Затышника, который вскоужало, пытал
нос стрелами своего остроумия зато и мужчины в крайних
случаях, вспоминая старину, частенько прибегают к само-
уластной, короткой расправе с ними. Солдат готовился уже
приблизительно исполнить свою угрозу над сестрою, но Ни-
колай Тимофеевич, брызнувшись пудрою его, чтобы история не
пошла в огласку, успел утишить его гнев. Дело кончилось
лишь тем, что он потащил сплетницу домой, обещая за-
речь ее на замок, если она станет хорохориться. А женщины
если опять принялся было за палитру, но руки и глаза отка-
зывались служить...

IV.....

В октябре Сокольники пусты, и тамошний немец-хлеб-
ник закрывает свою булочную. Все цветущее няролонаселе-
ние дач давно покинуло гострые летние домики, в которых
сквозит осенний ветер, и труднее совладеть с нашей зимой;
остались лишь для сторожки старые дворники со стаею собак,
или какой-нибудь человеческойобивый владенец дачи позволил
на зиму даром жить в кухне бедной вдове с детьми. Дорога
из Москвы, на которой летом в так называемые чайные дни
десятками мчатся экипажи, отдыхает в это время, и было
бы чудом увидеть на ней что-нибудь лучшее огородничьей
телеги. Но такое диво именно видели сокольникикие отшель-
ники в один сентябрьский день, когда докторская болельница
подкатила к извозной даче, сдававшейся внаймы, как
объявляла это официальная записка на воротах. Доктор ни-
когда не может быть неожиданным гостем: все встретил моло-
дой человек, изящно одетый, с светскими приемами.

— Чрезвычайно благодарен, москве Захарьев, — сказал
хозяин после первых приветствий, — что не отказались про-
ехать такую огромную дистанцию для старого своего паци-
ента. Но, по вашей милости, я теперь здоров, и помощь ваша
нужна не для меня. Видите ли, я буду откровенен с вами...

Это дама, моя родственница; по семейным обстоятельствам ей надобно прожить несколько времени вне Москвы. Не думайте, впрочем, чтобы тут скрывалась какая-нибудь *mystère de Moscou*¹; самое обыкновенное происшествие... Серьезной болезни, кажется, нет, но сильное расстройство нервов. Особенно беспокоит ее болезнь дитяти... у ней есть сын; но это, я думаю, пустяки, ребенок слаб и только; а главное она... Она думает, что ей можно ехать теперь к родным, а там неприятности, и бог знает что может случиться. Пожалуйте, убедите ее в необходимости совершенного спокойствия хотя на несколько дней. Вы понимаете? (Доктор значительно кивнул головой.) Пойдемте же.

В самом деле, больная на вид пользовалась удовлетворительным здоровьем, исключая следов небольшого утомления на лице, и лишь внимательный глаз мог заметить, как ненадежна эта наружность, прикрывающая невидимую внутреннюю тревогу. Но что делать с этими болезнями, которых вся сила и состоит в том, что они не болезни, что их не приведет в систему никакая патология?.. Лишь для формы пощупал доктор пульс больной и прописал ей как можно более развлечений.

— Мне нужно спокойствие, а не веселье, прервала его пациентка. Посмотрите это дитя. Бодяжка нездоров... Помогите ему, это будет лучшим лекарством для меня...

— Вы договариваете мою мысль. Я советую именно те развлечения, которые ведут к спокойствию. Поболее разнообразия в препровождении времени, поменьше воли силе впечатлений на восприимчивое воображение — вот рецепт. Успокойтесь, повеселеете вы — малютка тоже: это, кроме симпатии, основано и на другой причине. Потому что (и, осматривая ребенка, доктор уже прописывал что-то) его болезнь не важна... бесопытная, следствие небольшого испуга.

— Так мне можно выходить? Когда же: завтра? послезавтра? — спросила больная с необыкновенной живостью.

— Да, конечно, — отскакал доктор в смущении, ибо он встретил выразительный взгляд молодого человека: только не так скоро. Главное, до его и до собственного выздоровления вы не должны подвергать себя ни малейшему волнению. Помните, что это повредит обоим.

Доктор откланялся, хозяин пошел провожать его.

— Еще день, может быть и не один! — грустно проговорила больная по уходе их.

Моллой человек застал ее в слезах.

— Ради бога, что с вами? — спросил он торжественно.

¹ Московская тайна.

— Притворяться так долго я не в силах... И зачем было приглашать доктора! Успокоить Колю я сумею и без его советов...

— Но я говорил правду, — возразил молодой человек. — Вы должны пробыть здесь еще несколько дней, и, когда совершенно укрепитесь, когда доктор позволит, я не буду иметь смелости удерживать вас более. Признаюсь, я не ожидал такой быстрой перемены. Разве я многого прошу от вас? Мы долго, — кто знает? — может быть, никогда не увидимся с вами; и теперь я желаю бы чтобы эти последние дни оставили в душе моей неизгладимое воспоминание. Смотрите на меня как на брата — кажется, я не подал вам повода сомневаться в моем слове, — посвятите все время Коле, — мне уделите лишь несколько минут, чтобы я мог взглянуться на вас... Несужели и это оскорбляет ваши чувства? До сих пор вы так мало говорили со мною, и то о ничтожных предметах, что я боюсь, чтобы слух мой не забыл вашего голоса. Ну, послушайте (и он взяв больную за руку; та вздрогнула, но не отняла руки): если вы сердитесь на меня за... то, поверьте, я менее виноват, чем вы думаете. Воля маманьки, приличия, партия, которой хотят все мои родные. Я не принадлежу себе, скован со всех сторон. О, когда бы я был независим! Я завидую вам в этом отношении: вы можете располагать собою свободно, для вас не существует этого страшного, неумолимого судьбы — общества, которое уловливает все мои поступки. Никакое влечение вашего сердца не встретит ни пересудов, ни пренебрежения. Natalie!

„Маленькой лиззеточке“ „паша“ „улыбнулся“ „на своем личике“ „сладким“ „взглядом“ „этот“ „говорил“ „неконченными“ „мысли“ Большая :
быстро отняла руку и, в волнении, сказала:

— Оставим этот разговор. Несужели вы хотите, чтобы я сомневалась? Это было бы слишком! Правду мне страшно здесь, и счастье видеть его отражается боязнью... чего мне стоит оно. Когда подумаю, сколько слез унесла я у батюшки, сколько беспокойства ему прибавляет каждый новый день моего отсутствия, — я готова бежать отсюда. Верно, самое чистое удовольствие, чуждое даже тени зла, не дается даром, и судьба требует за него какого-нибудь пожертвования. Что же, если к тому, что уже сделано, прибавится еще новое горе! Бедный батюшка! Ты был для меня и матерью и другом, а я... я не посмела уйти тайком от тебя! Зачем было не сказать об этом: тут нет ничего дурного, ты сам пошел бы проводить меня, сам доплатил бы со мною. Ах, да к чему говорю я это! Знаете ли, Григорий Александрович, у батюшки кушанья перестали принимать меня... О, как строг ваш свет к слабым.

Искушитель смутился.

— Да успокойтесь же, — проговорил он, покраснев слегка, — вы еще более расстраиваете себя!

К счастью, вошел лакей и о чем-то шепотом доложил ему.

— Хорошо, — отвечал тот вполголоса, — пропеди сто туда и пусть начинает поскорее.

Лакей удалился, но прерванный разговор не возобновлялся. Больная в печальном раздумье молчала, а утешитель, после двух-трех пустых фраз, подошел к фортепьяно и начал наигрывать новорожденную пальку.

Чудно создан свет, а еще чуднее устроились на нем люди: ну пусть это орел, а это глухарь, здесь слон, там заяц; а отчего вдруг является ни рыба ни мясо — живет в воде, а с крыльями, водится на земле, и прогуливается по морю? Отчего то двуполое растение, то амфибия?.. В человеческое это соединение самых противоположных качеств еще разительнее и несравненно чаще: сплошь и рядом увидишь людей, в которых нет ничего своего, все заимствованное, сшитое из разных лоскутков, перенятое бессознательно из пустого обаяния или с целью прикрыть собственную беспытность. Самые низкие пороки не мешают иногда проявлению в одной и той же личности высоких добродетелей, и наоборот: себялюбие уживается с самоотвержением; ханжество идет об руку с порывами истинного благочестия; плут, который без обмана часу не проживет, делает тайные благодеяния; и мало ли подобных явлений! В наш век к этим нравственным уродливостям, начавшимся с незапамятных времен, прибавилась еще одна, скоростелка, — разочарование, сознание в безжизненности жизни, душевная чахотка, как справедливо выразился кто-то. Нанесена ли она ветром из стран, недоступных ведению рассудка, — фантазии с компанисю, зародилась ли сама в больном организме — решить за разнообразием и множеством показаний, трудно. Но что она есть, растет не по дням, а по часам, редко где встречает упорное сопротивление, как вампир, нечувствительно впускает свое жало, вынуждает во всякого нестойкого, нестойкого, — этому, кажется, никто прекословить не будет. Из тысячи любых человек девять десятых богаты знаниями, но лишь внешними; многому учились, но в десятке наук забыли, зачерли самые простые, осязательные истины, мучающие теперь их пылкость; очень пылки в действиях вещественных, но вовсе лишены той сердечной теплоты, которой один градус греет жарче сотни огня искусственного; толкуют

беспреданно о неразрывной связи науки с жизнью, удачно применяют их друг к другу в практическом отношении, что же касается до духовного, горько сознаются в разладе, в разбеге этих двух родных источников.

Многое бы нужно пояснить здесь, кое в чем оговориться, но не время и не место, и это все написано лишь для того, чтобы как можно менее говорить о новом нашем знакомце. Григорий Александровиче Дарышине, уланском корнете, падшем на щегольскими усами, порядочным, благодаря заботам матери, состоявшем, вельможною роднею и главное — умом победоносным в делах сердечных. Он был один из современных многочисленных страдальцев, что не мешало ему, однако ж, аспетивно пользоваться всеми благами жизни, как же судьба щедро посылала на его долю. Получив тщедушное воспитание, он рано сделался полковладельцем господином своих подопечных, под надзором старого дядьки, который, понятно, обязан был заботиться о сохранности барской казны и удобствах жизни «отца-кормильца», которого нянчил на своих руках, а сказать прямиковое слово о его жизни не смел. Годы через два по вступлении в службу Дарышин, незаметно для себя и даже для других, сделался подобием нравственного Хлестакова. Хлестаковы-болтуны, у которых язык без костей и которым, может быть, удастся иногда пустить пыль в глаза тому, кто «трех губернаторов обманул», — не опасны, потому что легко узнаются и их пореки на словах. Хлестаковы в душе требуют большей осторожности, потому что искусно маскируются, верши принятой на себя роли, и никогда не попадут в такой просак, чтобы решиться написать в альбом: «О ты, пространством бесконечный!» Сходство тех и других то, что они двуличны без сознания; если когда случайно и заглянут внутрь себя, то поспешно бегут от сердечной исповеди к, погружаясь в прежнюю жизнь, снова достигают до самозабвения, в котором земная несогласица между делом и мыслью кажется им совершенно в порядке вещей.

Дарышин не был, впрочем, оттаянным ловесой: как раб требований века, он вырос до понимания, что кутилы привлекаются в своих романах, что только дикарь может увлекаться буйным разумом, и шалил тонко, артистически, корчил Дон Жуана, перекроенного на русский лад, срывал цветы, где приходилось; но преимущественно любил поливать «скромными фиалками, которые растут в захолустьях», как говаривал он за товарищеским букалом, то есть атаковывал податливые сердца гувернанток, воспитанниц... Как Хлестаков, он при каждой новой интриге уверял себя, что затевает ее, «томимый жаждою любви, ищет души, которая могла

бы его, откликнулась родным сочувствием на его вопль», и, разумеется, жестоко обманывался и обманывал. Когда-то, еще в пансионе, он пылал детской страстью, но все-таки любовью, к одной девочке, и с тех пор светоч этого чувства давно погас, уступив место охоте к развлечениям, палостям или чему-нибудь хуже...

Наташа была одною из самых легких его побед. Небольшого труда стоило отаровать доверчивое сердце этого дитяти из понятием о жизни, взволновать ее ум двусмысленными намеками о женитьбе, завести пламенную переписку и до того отуманить ее голову, что бедная девушка отдалась совершенно на произвол своего искуителя... Это такая обыкновенная история, что нет нужды рассказывать подробностей ее. В обществе чуть ли не ежедневно слышались подобные повествования; но кто обращает на них внимание? Рос цыгенок на дороге (но не в теплице, не под защитой садовника: это важное условие), поправился мне, вам, — сорван; им полюбовались и бросили: что же за беда? Из горя одних создается радость других, для жизни пуща и смерти: это закон природы. Когда связь принесла печальные последствия, когда Наташа с отчаянием объявила, что более некая скрывать ее положения, Дарыгин, в душу которого западал порою зародыш гуманности, очень серьезно начал рассуждать с собою, что, может быть, он и женился бы на своей жертве, будь у нее порядочная родословная и умеи ее отец насчитать своих предков далее прадедушки Мартемьяна. «Ну, делать нечего, — копил он свои добрые мысли: — придется быть ей Эсмеральдой, а мне Фебом...» Новые завоевания совершенно изгнали из его головы Наташу; вдруг предложение матери — сделать приличную партию, прибавить несколько сот душ к родовому имению и пару полновесных дядей к имеющимся таянцо, словом, жениться, — предложение это, заставшее его врасплох, вызвало воспоминание о покинутой; смотря на брак с самой разумной стороны, как на «мощную любовь», и чувствуя, что невеста его, рано утратившая девственность души, разделяет это убеждение, он, как предусмотрительный хозяин, заблаговременно хотел обзавестись «постоянным развлечением», которое разнообразило бы его досужее время и заставляло подчас забывать ядлость супружеской жизни. «С Наташей, — рассчитывал он, — меньше хлопот, потому что, наверно, ей приятнее будет пользоваться комфортом, к которому она так привыкла, чем жить в этой смрадной камерке, где она теперь, и смотреть за горшками да за ложками. Ну и любовь... все мое сердце станет принадлежать ей. Я не умею любить вполсилы... А уж она будет послушна какой-нибудь актрисы: весь этот народ таков...» Сказано — сделано. Мингом

придумалась благовидная, романтическая причина к свиданию (на что не решится мать, для того чтобы видеть сына!), Дарыгин запасся подогретыми чувствами, восторженными фразами — и очень ошибся...

Николай Тимофесвич спешил уставить складной мольберт и разложить рабочие припасы, чтобы заняться списыванием портрета ребеночка, который, шагах в двух от него, безмятежно почивал на маленьком диване. Взявшись за эту работу с условием исполнить ее в один присест, он кончил все приготовления, прежде чем взглянул на лицо, которое должно было служить ему оригиналом. Глядит, всматривается пристальнее, подходит ближе, чтобы убедиться, не обманывают ли его глаза, не изображение ли, настроенное одним предметом, вызывает признак иного: нет, это в самом деле, наяву. «Что за чудо! — думает он. — Вылитая она, живое подобие; вернее этого портрета нельзя написать... Ах, если бы он открыл глазки: наверное, такие же, как у ней! Разве разбудить его? А портрет? Господи, пожалуй, рассердится... Ну, да так и быть: скажу, что не знаю, отчего проснулся младенец, а там как хотят! Может быть, и не приведет бог увидеть ее больше... Поцелую тихонько один разок этого ангела!» И он на цыпочках подошел к малышке, на устах которой играла такая милая улыбка, что ему жаль стало тревожить «земного херувимчика». Он воротился. Но внешнее искупление было слишком сильно, желание хоть на секунду согреть быструю душу живительным лучом воспоминания об ней еще сильнее: живописец снова подошел и осторожно приложил трепещущие свои губы к розовой щечке малышки. «Глязок все-таки не увидел, — прошептал он, — да, наверно, ее... Почивай со Христом, милочка!» Расстроганное сердце вывало слезу, но новое явление заставило ее быстро скрыться в своем источнике: из противоположной двери показалась Наташа...

Как ошеломленный, живописец стоял, не смея пошевелинуться, едва переводя дыхание и вперив глаза на поразительное явление. Наташа была изумлена не меньше его; лихорадочная дрожь пробежала по ней, и она должна была пристолчиться к дивану, чтобы не упасть. Взоры обоих встретились, но как различны были выражения этих взоров! Николай Тимофесвич не знал, что подумать, чувствуя на себе силу се открытого взгляда, ясного, как всегда, хотя отуманенного печалью. Как нарочно, на Наташе было то же самое платье, какое в памятный вечер фантов... Живописец еще более растерялся. С минуту продолжался этот разговор без слов.

Наташа, оправившись от первого смущения, прервала молчание вопросом:

— Здоровы ли вы? Что батюшка и как ваши домашние?

Все слава богу! Иван Савельевич крепко грустит... (Он хотел спросить об ее здоровье, но не смел, слова не срывались с языка.)

Опять молчание, и опять лица обоих горят точно в огне.

У Наташи навернулись слезы; стыдясь показать их, она наклонилась к младенцу и горячо поцеловала его. Но... что это значит!.. Губы дитяти холодны, как и все лицо; она прикладывает ухо к груди его: он не дышит, сердце не бьется... Неужели? О боже, этого не может быть: давно ли он так мило прыгал на коленях кормилицы, да и доктор сказал... «Коля, гулять! Вставай, дуренька!» И она осыпает его поцелуями... Ребенок недвижим... Наташа упала без чувств... На крик живописца вбежали Дарыгин, собиравшийся к своей невесте, и слуги. Минут через десять, когда после неудачной попытки привести Наташу в чувство ее вынесли в другую комнату, Дарыгин обратился к живописцу:

— Не можешь ли ты, братец, хоть как-нибудь написать портрет?

— Нет-с, никак нельзя, с мертвого грех! — отвечал тот решительно.

— Это очень досадно, черт возьми! — заметил Дарыгин, подумав: «Значит, сузенира не будет, и придется придумать другой! Хлопотливо!» — Вот тебе за труды, любезный!

И красная ассигнация очутилась в руке живописца.

— Не за что-с, — проговорил он, быстро кладя ее на столик и спеша убрать мольберт, — не за что-с, я не работал...

Выйдя за ворота, живописец радовался за себя, что не взял «проклятых денег». Но что делается теперь с Наташей? Помилуй бог, если и она... Страшно договорить это слово! С трепетным ожиданием остановился он у калитки, в надежде, не выйдет ли кто: нет, промчался лишь верховой за доктором, да ему некогда было останавливаться и растабарывать с живописцем.

Тщательно заметил Николай Тимофеевич дачу, и уже вечерело, как он, печальный, поплелся домой, рассуждая о детской переменивости женщины: «Я все тот же, а она уж выучилась притворяться!»

V

Большая палата, вдоль законченных стен которой тянутся деревянные нары, составляющие единственную ее мебель, если не удостоивать этого названия тройку старых ушатов у дверей и рядом с ними деревянную скамейку; железные

решетки у окон значительно ослабляют светлоту ее, и сквозь дым, стоящий стенопийный здесь, едва-едва можно рассмотреть мерцание неугасимой лампадки перед образом. Певесела на-ружность палаты, но нельзя пожаловаться, чтоб было скучно в ней, когда она обитаема, а бывает это лишь в предоможение двух или трех месяцев, всегда через год, зимой. Про жителей ее тогда вполне можно сказать: какая смесь одежд, лиц и умов, но не состояний, потому что все они из одного сословия и не собрались, а большею частью собраны сюда поназволно. Войдите в палату в какой хотите час дня — ни на мгновение не бывает здесь совершенной тишины. В одном углу раздаются звонкая песня и разливной смех, в другом — полускрываемые рыдания; здесь играют в карты, там, окруженный слушателями, грамотей с чувственным читает вслух «Историю» Карамзина; вот группа русаков, обсевшая монастыр-ского службу, который по памяти рассказывает житие свя-того, призываемого в тот день, а вот рассказывают под руку два молодчика в коротеньких сюртуках, с бойкими ухватка-ми, и, подпрыгивая полку, распевают водевильные куплеты или «Близко герцога Славяцка»; один целый день спит, а другой беспрестанно наполняет себя чаем и солонками; кто показывал опыты геркулесовской силы и ведет себя как ко-ренной забулдыга, а кто, залезши на окно, печально смотрит на улицу или молчит да вздыхает; почти все курят, но раз-ные сорта табаку, от злых вытерек до Жукова, и дым стоит столбом... Народ все большею частью молодой, немногим лет за тридцать; но кой-где видны старики и даже женщины, насмурдые, как в поимени, и грусть их резко замесна в все-естье большинства черных.

Разнообразия, как видите, бедна, и оно удваивается от частых перемес обитателей палаты, от беспрерывного прихо-ди разносчиков и трактирных служителей и появления так называемых гостей, мужчин и женщин. Не привык я испы-тывать любопытства читателей и докладываю им, что это сибирка, младшая сестра тюрьмы, куда сажают всех мешчан, подлежащих рекрутской очереди, когда объявляется набор, сажают, потому что, известное дело, редко кто захочет добро-волью явиться сам, как гребуют этого; и мешчанское об це-ство, то есть представители всего сословия, заблаговременно распоряжается выбором ловчих и поручает им обязанность приходить всех, кому следует выполнить рекрутскую повин-ность. Иногда очередные скрываются, редко, однако ж, с целью избежать вовсе очереди, а чтобы в последний раз погу-лять на престоле, проститься с матушкой Москвой; и в таком случае главы семейств, отец или мать, берутся заложниками, порукою за их возвращение: от этого к сибирка называется

семейною, в отличие от своих подруг: податной и арестантской, или золотой роты. Попасть в последнюю — лютно, в котором никто не сознается: без зазора, а сидеть в первой только несчастье, паписаппос на роду, а босчестья нет никакого. Если и пришлось кому сидеть, так неизвестно еще, уйдет ли под красную шапку или останется дома лежать на нечи. Да и гостить-то в семейной совсем разнича: тут ты не арестант, не с бритой головой; даются тебе картёвые деньги, и на два-пять лить конёск в день катайся, как сыр в масле; контрабандой можно и водку пронести, а чаем хоть залейся. Свободы одной нет, но и се забываемь, глядя на людей, особливо как позаберется в сибирке вдруг человек сто, что твой театр. Правда, что на людях и смерть красна: оляночка и камня не сможет поднять, от ружья задаст тягу, а с десятком товарищей стену сломит, пушку на плечи ввалит. Чего же хныкать, чего бабиться: не нами началось, не нами и кончится! Уж как свет стоит, без ссоры не проживут люди и часу; так поэтому и должно оборонять себя и бить, готовим про всякий случай. Так или почти так рассуждает всякий повиток, когда приведут его в сибирку; оглядится он кругом, вздохнет на железные перекладины у окон, забывшись, захочет выйти подышать свежим воздухом и остановится при спросе сторожа: «Куда ты?» Крепко взгрустнется по волюшке, протоскует, может статься, день, и там, глядишь, сделался как встрепанный, и народное убеждение: никто же, как не бог, успокаивает его за неизвестное будущее, и рекрут уже утешает товарищей. А большое спасибо тем, у кого и при собственной невзгоде найдется привставное слово для других, более слёбых! Глядя на этих людей, беззаботных накануне решения их будущности, понимаешь правдивую силу русского солдата и то, как из разнородных составов сплачивается единодушное войско!

Посмотрите, вот привели нового жильца в сибирку: усердно помолился он святой иконе, низко поклонился на все четыре стороны (добрыс обычан!), сказал: «Бог и помощь, братцы! Здравстауйте!» и отправился в указанное ему место, во вторую палату, где «компания почище», как говорил сторож. Узнав, что он явился в общество сам, добровольно, и заинтересованные этим необыкновенно редким случаем, сибирочники окружили его, желая посмотреть, что это за «чудак, который сам лезет в петлю и не захотел положить, пока придет карета и серые лаки»¹ поведут его под руки, словно барина». Услышав несколько подобных замечаний, пришелся равнодушно произнес:

¹ Ловчие.

— Дивитесь, право, почему! Назначили и пришел...

— Виль какой прыткий, а не гуляка! — заметал кто-то из толпы.

— Горе, знать, подъяло: видно, бился как рыба об лед; уж, конечно, лучше плавать хоть в солдатской каше, — сказал один остряк, портной.

— Хорошо тебе лясы-то распускать, когда знаешь, что отсюда опять катнешь на свой каток: ты и до меры не дорос и косолап, — возразил молодой малый в дубленом полушубке. — Как зовут тебя, почтенный? — продолжал он, обращаясь к повичку. — Неравно кто спросит, а я здесь старостой¹.

— Николай Тимофеев Кузнецов, — отвечал тот.

Это был наш живописец, и объяснение его здесь нетрудно объяснить. У него был еще брат, следовательно, как двойник, он подлежал рекрутской очереди, и общество, по давнему обычаю, назначило его, как младшего, предполагая, что старший должен остаться кормильцем семьи; но на деле выходило совершенно другое. Брат живописца, тоже мастеровой, жил отдельно и несколько не заботился ни о матери, ни о сестре, хотя имел достаток. Все заботы о содержании семейства лежали на Николае Тимофеевиче, и, как ни тесно было его положение, ни за что не решался он просить пособия у бездушного брата. Нашла гроза, и терпеть пришлось тому, кто и без того зсегля беду баловал, оборвалось там, где было тонко... Призадумался живописец, когда прочел свою фамилию в «Московских ведомостях», в списке очерелных. Надежд у него не было, жизнь шла безрадостно, звездочка, освещавшая ее, закатилась; но были обязанности, посылить исполнять которые он считал более чем долгом, любил их. «Кто спокоит теперь, когда не будет меня, — думал он, — печальную старость матушки, кто призрит Аниуску и позаботится о ее будущности? Брат — он и усом не поведет, если они станут просить милостыню, если сестра под гнетом горя и стыда решится забыть всякий стыд... «Что делать? Избежать своей судьбы, сделаться негодным л солдаты, испортить себя, разразить рану (средство, к которому нередко прибегают простолуины) — это казалось живописцу постыдной трусостью; панять охотника не на что: набор должно окончить в месяц, и товар этот ужасно вздорожал; просить пособия у брата — значит, понапрасну тратить мольбы и слезы, которые ни в ком не трогают этого выродка. Видно, лучше положиться на божью волю, и, если на роду написано служить госу-

¹ Во всех сибирках, как и в тюрьмах, для соблюдения порядка и тишины между разноплемennыми обитателями их избираются старосты, преимущественно из тех, которые давно сидят и усели свыкнуться с своим бытом.

дарю, так, может быть, с помощью господней удастся выхлопотать позволение остаться в Москве, попасть в казенную чертежную, и тогда нечего тужить, семья не будет терпеть горькой нужды. Не успокоенный, но хотя несколько ободяженный этими мыслями, он ободрился, отвердел душою к слезам Аллушки и к ее гаданиям о будущем солдатском житье, принялся работать, как машина, чтобы приобзавать копейку на черныи день, и трепетно ждал своего жребия. Пришло срочное время, и он в сибирку, желая поскорее развязаться с болезненным ожиданием неизвестности. «Пап или пропал, Николаша! — говорил Иван Петрович, провожая его. — Уж то ли, се ли, да будешь знать, какой ты есть человек, паш ли брат мастеровой или, поднимай выше, кавалер».

С утра начинают являться гости в сибирку. Чем свет приходит мать, грозившая прежде сыну, что отдаст его за беснуутно в солдаты, а теперь дающая обет пенком сходить к киевским чудотворцам, если бог спасет от солдатства ее ненаглядного; приходит с нескрываемыми слезами новобрачная жена, еще не остывшая от объятий мужа, который напрасно призывает рассудок, чтобы утанть свою печаль при посторонних, когда припесенный поцелуй жаром обхватит его сердце; а вот и другая, с грудным ребенком на руках, которого она принесла, чтобы в последний раз благословил сироту отец, назначенный сегодня в присм; заплакавшись с ним, она переходит к брату, на дыню которого тоже нынал жребий, и, забывшая о собственном, более близком горе, утешает его; вот слепой старик, поддерживаемый пестелетным впуком и пришедший проститься с младшим своим сыном, назначенным в рекруты; вот небогатая вдова-солдатка, которая, по обществу, каждый явбор ежедневно посещает сибирку и дарит горемычным кого слезом одобрения, кого калачом; вот входят два молодца, кровь с молоком, лицо в лицо, словно близнецы; вздумали они перед отправлением денька два погулять, покатаься по Москве с неснями, а отца между тем ловчне взяли заложником; услышали удальцы об этом, и совместно стало, что застали старика плакаться на трусовдетей; явились в сибирку с повинной и прямо ему в ноги: «Не гневись, родный, не вляни дураков, что маленько опечалили тебя, затеяли шалить не вовремя». И, спеша загладить свой проступок, они начинают спорить промеж себя, чуть не до драки, кому должна достаться честь носить ружье!

И Николай Тимофеевича приняи навестить — солдат и Иван Петрович с Аллушкой. Приход этих трех лиц, равно, но

его. Сестра принесла свои слезы и благословение матери, хотя старушке никак не могли растолковать, что, может быть, она не увидит более сына; Иван Петрович, против обыкновения, был пасмурен: жале что-то попристичилось; зато старый солдат смотрел веселее и оживил заключенного весточкой о Наташе.

— Хлораст еще, крепко слаб, но уж в памяти и велела тебе кланяться, — отвечал он на вопрос живописца. — Я, разумеется, не сказал, что за оказия случилась с тобой: лучше расстроишь. Она и то, как стала говорить: «Извините меня перед ним, что падала ему столько беспокойства, попросите забыть все», а у самой павернулись слезы.

Добрая природа! Как бы ни был несчастен человек, но если его горе не преступное, достаточно одного утешительного слова, чтобы его сердцу вскрынуться отрадою, на минуту забыть все и спокойнее смотреть на жизнь... У живописца отягкло на душе. Любовь всегда готова на самопожертвования; только у простолюдинов, не привыкших исследовать своих чувств, часто даже не умюющих понять, что делается с ними, а не то чтобы выразить это, — тогда как люди с вершок покыние самой обыкновенной, самой крошечной страсти умюют дать такую великодушную, фразистую оболочку, что передко обманывают и себя и других, принимая ее за истинную, беспримесную любовь, — у простолюдинов, говоря к, от колыбели до могилы погруженных во ясную, если угодно, прозаическую жизнь, любовь эта во всей чистоте своей встречается редко; но зато всякое проявление ее бывает сильно, как удар молнии среди жаркого, безмятежно тихого дня. Забыл Николай Тимофеевич и себя и семью, слушая солдата. После страшной минуты Наташа не помнит и сама, как очутилась дома. Сильная горячка была следствием душевного потрясения и простуды, и лишь сила молодости да неусыпные молитвы отца, не отходившего от нее ни на минуту, спасли ее. Пригласил было Иван Савельевич, по совету соседей, частного лекаря; тот прискал взглянуть на «интересный субъект», прописал какой-то воды, отказался, из амбиции и филантропии, от предложенного целковика, но зато и не бывал более у бедняков, с которых нечего и честно взять. Отец сам стал лечить дочку лекарствами, которые не продаются ни в каких аптеках: спокойствием, нежными попечениями, рассказами, когда больная полуоткрывала глаза и на мгновение приходила в себя, опрыскивал ее богоявленскою водою, служил молебны, подымал на дом Иверскую...

Во все время болезни Наташи живописец мучился неизвестностью о ней, каждый вечер бродил около ее дома, спрашивал жильцов; но у него не достало решимости видеть

ее самому и, может быть, потревожить напоминанием о том, что напрасно старалась забыть больная. Теперь он весь обратился в слух при рассказе солдата, полным мелочных подробностей о всех изменениях болезни, подробностей, сохранных отцовскою любовью. Проникнутый весь думой о Наташе, он почти ничего не говорил с своими гостями, которые, приписывая это расстройству при такой напасти, пытались развеселить его. Иван Савельевич, держась правила, что кто хочет не бояться пороха, должен наперед окуриться им, завел речь о военной службе, о привольном житье при отце командире, и напрасно тетка и Аппушка старались замить этот предмет, думая, что он еще более растравит горе заключенного.

— Ведь не было примера, — говорил солдат, — чтобы настоящий служивый, то есть, как должно, не лежебока, не кямля, хаял свою жизнь, а напротив, неж не ухвалится ею. А отчего? Оттого, что в полку да в походе узнаешь все, в чем ходит пужда и во что наряжается радость; пройдешь огонь и воду, закалешься словно аглицкая сталь, а после и живень спустя рукава да отмахиваешься от бед, точно от комаров летом. Оттого, что в полку и дурак, который с дурыю в гроб бы пошел, и тот поумнеет... Касаемо харчей, продовольствия, фатеры ты из головы выкинь всякую заботу: все дадут тебе готовое, первый сорт, состряплют артельные повара; ты лишь знай холь себя, как повестя под венцом... На постое, примерно в Малороссии, житье барское, сам только пальца в рот не клади; знай, где прикрикнуть, где смолчать, подластиться, — так горилкой, а забористая какая! хоть облейся; вареников, галушек, салышков — знатные кушанья — не в проесть; чернобронные коханочки подчас не прочь пожартовать с москалем... Истинное царство! По праздникам музыка, пессиники — разливное море!.. Жалованье, вестимо, небольшое, но тройниковой пылесной копейке на день не придется; да весь всякая солдатская копейка стоит вашего рубля. Придешь ты, примерно сказать, в баню: с тебя берут втрое меньше сулпротив других, как показано печальством; цирюльник почти всякий отбросит тебя даром, если не хочешь платить пятак втереть своему роному; лавочник самый продувной, архибестия, посоветится обмануть служивого и еще уступит грош. Везде тебя примут, везде ты кавалер, не простой ученик. Ну, конечно, порой и спину посмотрят, хоть и с музыкой, возбужают так, что и не скажешься; ухо надобно остро держать; да, по правде, беда небольшая, тело некупленное, свое, а за битого двух небитых дают. Зато как после доброй пердряги придется услышать на дивизионном смотру: «Хорошо, ребята!» — и весь полк загремит: «Рады стараться!», а полков-

нак на радостях выкатят бочку зеленухи — эх, как рукой снимет, забудешь все горе, самому станет совестно, что обабился и влякнул после горячей бани. А коли сам император подарит ласковым словом да прикажет раздать по четвертаку на брата и по чарке водки, просто, не говори, ихоть, земли под собой не слышишь! За христолюбивое воинство молится церковь, и сам царь воин!.. Чему оскалиться? — крикнул умеченный Иван Савельевич на кучку сибиротников, которые, заслышав громкий рассказ, обступили его. — Небось, лучше век бы обниматься с женой да есть горячие щи! Пустограи, молодцы-зеленухи...

— Хорошо ты поспы, да где-то сядешь, кавалер! — заметил один сибиротник. — Не в осуд сказать твоей милости, имени и отчества не знаем. Я думаю, и у тебя душа в пятаки ушла, когда стоял в ставке, и закричали: «Люби!», а мать с отцом завывли мертвым голосом, я думаю, и сам разрюмился! Теперь тебе сполгоря читать философию...

— Мало ли что было! — возразил задетый солдат. — На то и послужил свой черед, чтобы учить молодых воробьев.

— Да напрасно, Иван Савельевич! — вмешался, наконец, в разговор живописец. — Бог порукон, я не боюсь красной шапки: солдат так солдат... Бог одну ее (и он показал на сестру) да матушку жаль мне покинуть...

— Ну, коли есть крепкость, молись, чтобы она не простывала. Ты лигде не пропадешь. Что крепко погрузи я, расставаясь с тобой, об этом и говорить не хочу. Впрочем, до поры до времени, нечего и мерекать вперед. Свислась беда, а может статься, бог и пронесет ее, все кончится одной тучкой. Однако мне пора: Талиа дома одна-одинехоньха, а на соседок нельзя полагаться. Всякому свой рот ближе. Прощай, брат! Завтра опять заберу к тебе.

— Благодарю усердно за память. Передайте Наталье Ивановне мой сердечный поклон и искреннее желание поскорее выздороветь. Если не увидимся, пусть не откажется принять на память обо мне одну картинку... сестра знает, какую...

Солдат терпеливо ударил кулаком по лавке:

— Да что мы задумываемся и нарочно зовем печальные мысли!.. Смотри-ка, у сестры опять слезы. Нет, лучше марш от тебя!

Вечером этого дня у живописца неожиданно были еще светлые минуты. Увлекаясь сильно развитым в русском народе чувством необходимости быть на праздник во храме божьем и желая забыться от тревожений жизни в успокоительном голосе церкви, сибиротники, взамен всенюшной, составили свою службу. Мингом набрался большой хор, отыскались искусные чтецы и два клики, а монастырский служ-

ка взялся устроить порядок службы и вести напев священных стихов. Все заключенные столпились и большую палату, трубки брошены, лампадка и несколько восковых свеч ярко засияли перед образом, разговоры, шутки прекратились, и громкое пение огласило черные своды сибирки. Забыто все, и лишь гул молитвы, порою тяжелый вздох да чей-нибудь капсель нарушают тишину в промежутках, когда несни утителей церкви сменяются чтением ветхозаветных книг. На самых загрубелых лицах промелькивают лучи чувства, не у одного негодя покатится по исхудалой щеке слеза, которую он не отрет, и только что приведенный новичок, прогоревший целое утро, присоединяет свой голос к хору... Спокойно расходятся после этого сибирчишки по своим местам, утешенные, с думой на лице и надеждою в сердце; но долго еще, за полночь, слышится полупшепотные рассказы соседа соседу о киевских угодниках, о московских чудотворцах, перемежаемые собственными, редкими у простолюдинов, задушевными признаниями.

Прошло несколько скучных, тяжелых дней, однообразия которых нарушалось для живописца разве приходом гостей да восточкой о Наташе. Не раз упрекнул он себя за бесполезный трепет сердца, когда заключенных звали кверху (в присутствии) для записки в прием, и вызываемые крестились за завтра, — а позавтра бледнели и тряслись как в лихорадке, когда являлся отдатчик и, с приличной своему временному званию важностью, мерным голосом выкликал очередных, становившихся с этой минуты раскрутами, и устанавливал их в ряд. Многие из товарищей заключения Николая Тимофеевича ушли в «большую семью»; каждый день кругом него старые лица сменялись новыми, а он все сидел да ждал своей очереди и часто бранил себя за неуместную честность. «Жизнь бы я теперь дома, — раздумывал он с собой, — да работал; у семьи месяцем меньше было бы горя, а я мог бы увидеться с Наташей и узнать, какова-то она, бедненькая. А то вот суд да дело, а ты сижи... Просил переменить порядок номеров, поскорее бы в прием или отпустить меня домой на честном слове, уж, конечно, не убогу: так староста, несважая особа, мастеровой не чище меня, и слушать не стал; а подьячие еще позубоскальничали: «Залетел, голубчик, в клетку, прыток больно, и распевай себе на просторе по золотой воле...» Эх, судьба! Если ты есть в самом деле, так недаром писали тебя в старину «слепую, а нынче зовут индейкой».

Однажды приходит Иван Петрович сам не свой, и плачет, и смеется, обнимает живописца, — словом, видно было, что он хватил чрез меру.

— Что с тобою? — спросил удивленный Николай Тимофеевич. — Верно, подряд какой взял и наклюкался от радости?

— Да, угадал! Подряд отдать поскорее свою душу богу. На что мне теперь жизнь, на кой ляд моя забубенная головушка!.. Слушай, Николаша, обоими ушами; вот тебе кусок селедки, остался от закуски, — перекрестись и помяни душу рабы Акулины...

— Как? Разве она...

— Приказала долго жить! Вот уж неделя, как в земле лежит...

— Ай-ай! Царство ей небесное! Ведь она, кажется, никогда не хворала?

— Иногда покешывала маленько, а тут, как спохватилась; зная, была в легкой¹ какой болезни. Вот, голова, наказал меня бог за грехи... Сооседи, вестимо с дурью родились, и говорят мне, что ниш слава богу, что развязался я с нсю, с норовом была; ты, говорят, отслужи панихиду, а там, как минуток сорочины, и помышляй о другой невесте... Ведь истинно кровавая обида, точно нож в сердце... Нет, не нажить мне другой Акули: сердчала часто, не тем будь помянута покойница, да зато, то есть насчет любви, другой не сыщешь. А подчас мне и самому любо было, что есть кому погрызть меня. Придешь хмельной, знаешь как, расписывая мыслете, а неутро голову совместно поднять; лежишь, зажмурившись, да отдуваешься. А тут как накинется Акуля, как пойдет трезвонить, встанешь мигом. дашь ей стукманку (спослиза была!), покричишь, покричишь, и охмеляться не надобно. Нет, и слова дурного не могли никто сказать про Акулину Терентьевну! Знает грудь да подоплека, что отнял у меня бог... А умирать-то стала, при последних минутах, на отходе, не забыла меня: не пей, говорит, Ванюха, не пей...

Живописец с улыбкой слушал это похвальное слово, потому что коротко знал супружеское счастье сапожника.

— Так жениться и не думаешь? — спросил он.

Сапожник стер слезы, обильно катившиеся по его лицу, и с смешным негодованием посмотрел на вопрошателя.

— И ты туда же, тревожить ее кости? А она тебя в пример всегда ставила мне! Вот и оправдал себя! — Иван Петрович разгневался не на шутку и кончил очень серьезно словами своей любимой пещи, что не женится ни на ком, кроме сабли-лиходейки.

— Убить себя, что ли хочешь?

— Оборони бог всякого православного от такого греха! Пусть укокошат меня другие, так в рай попалу, а в рай

¹ Хронический.

житье не папешенскому чета! Шабаш! Иду служить царю белому, хочу быть офицером! У! Важно будет: кавалерию тебе повесят, будотники честь станут отдавать, а я руку к фуражке, вот эдак, и иду, знай себе, козырем! Знатно быть благородным: квартальный и сам частный припандорить не могли, а с купцов дери бесчестье. В благородные! На Кавказ выпрошусь, Шамиля живьем представлю! Ура!

На восторженные крики сапожника подошел сторож и не очень вежливо попросил его не драть горло, обещая в противном случае вынести под руки.

— Слышь, ты, не бранись, — с достоинством сказал обижаемый: — я такой же солдат, служу одному государю и сам сдачи дам!

— Охотник, охотник! — закричали сошедшиеся сибирочки.

— Да, охотник, а вы, известно, простые чижики, — возразил Иван Петрович, осклабясь.

— Знать, не продается, что разгуливаете на свободе? — спросил один из заключенных, по-видимому купеческий приказчик.

— Не продается, да вывеску уже сделал. Еще в ту пору, как узнал, что объявлено «божиею милостию», забрала меня эта мысль. Вью прямо на офицера, в пехоту, оно как-то посolidнее.

— Так вот-с, любезный, и нечаянно попал на покупателя, — продолжал приказчик. — Эй, малый, Филька, — крикнул он, обращаясь к трактирному служителю, кувшинами разносившему горячую воду по многочисленным любителям китайского напитка: — три пары самого лучшего, да захвати того, знаешь...

Под словом «того» подразумевалась возбудительная настойка, составляющая запрещенный люд в сибирке и проносимая тайком. Как торговец, заказывающий знал, что «настойка» развязывает язык и делает податливее самого крутого, несговорчивого человека.

— Напрасно беспокоиться, почтенный, — возразил сапожник: — коли ты купец, так и дело в шляпе. Мне все равно, кому ни продаться; сейчас и порешим, а после и не прочь и от магарычей; всю честную компанию угостим. Смотри, товар налицо, без казовых концов, продаю не с потемках (и сапожник повертывался на все стороны), уж останешься доволен; играть второго действия не стану¹.

— Оно без сомнения, видна птица по полету, — отвечал покупатель, немного озадаченный тем, что охотник отказался

¹ Вторым действием называется бритье затылка.

ца — этим мне все прожужжали уши, всякий мальчишка тычет в глаза, а от тебя можно спастись. Я давно слышала. Еще когда бегал в одной рубашонке, отец, бывало, всякий празник пакачивал меня воронком¹ или перцонкой. Выплет сам, приневоливает и меня: «Пей, говорит, поросенок! Прилькой сымазеньку, а после будешь тинуть вместо воды; а пить надобно, по глазам вижу, что будешь беспросынным». Вестимо, много ли нужно ребешку: хвятишь и свалишься под лавку. Но вот чудо: лишь только матушка увидит, что я без чувств, и заплачет, мурашки забегают у меня по коже, что-то зашевелит сердце, и встанешь, как ни в чем не бывало. Отдали в ученье, вырос, вышел из-под пачала — опять та же история, отпывал ли я украдкой из косушек, когда посылали мастера, или пыл на свой грош. Нужно было растрогать меня, и хмель улетал. Значит, и сейчас я знаю, что говорю; хоть всякое слово в строку. Так не обижай же понапрасну, Николай Тимофеевич, и покалякай со мной, то есть насчет того, зачем я пришел, как бы все это обделать...

— Если протрезвился, хорошо, а когда заговорим о чем-нибудь о другом, будет еще лучше, — отвечал живописец. — Хочешь служить, с богом иди своею дорогою, а мне оставь мою. Верно, после гореванья тебе захотелось посмеяться, что потчешь меня охотником. Не будь у меня семьи, я сам бы продался, а не то чтобы покупать других.

— Опознался, Николаша, вовсе на Горюха ахинею! Не нужно мне твоих денег, хоть бы они и были у тебя! На кой прах мне деньги? Продам за тысячу, за две, прокучу их, потугая во всю лаванскую, а там сяду на мель, приду в артель с пустыми руками. Послушайся, Николаша: полведра вина и сплюха на дорогу — более мне ничего не требуется. Ты никогда не откажешь мне в рубле серебром, коли захвораю или не станет у меня сил чинить сапожное старье... Ну, по рукам, и завтра же приведу сюда приказную лавку от Иверских ворот; он настроит нам просьбу и все, что следует, а дня через два ты обнимаешь старушку, которая теперь сама не своя, что не слышит твоего голоса. Вот тебе святая пятница, я говорю дело!

Долго было бы пересказывать все убеждения сапожника и отлекивания живописца. Из гордости ли или потому, что считал все это одной болтовней хмельного чудака, этот последний никак не хотел согласиться на его предложение, и рассерженный Иван Петрович на прощанье щедро наделал упрямца самую звонкою бранью.

¹ Самая яблокостая брота, крепость которой искусно прикрывают, поделяшкивая ее сотами.

Дня через два саженик снова пришел в сибирку. Но что с ним сделалось? Обычной его словоохотливости как не бывало; на помертвевшее лицо странно заглянуты: глаза блан, губы посинели, руки дрожат...

— Бог тебе судья, Николай Тимофеевич, — сказал он печально живописцу, — что довел меня до такой крайности. Побрезгал ты мною пьяным, с досады обливался я эти два дня вином, выпил столько, что и пятерым осалить неспособен; а сегодня маковой росинки во рту не было; с переноса голова трещит, словно обручел на нее набивают; едва передвигаю ноги, говорю как шальной, а охмеляться не стал, тоска шла к тебе. Не мучь меня больше! Под пьяную руку того и гляди подвернется злодник, всучит подписать условие, а тогда — близок локоть, да не достанешь. Ну, ради бога, скорее!..

Живописца поразило это почти самоотвержение. Горюнов не принадлежал к числу тех, столь обыкновенных между мастеровыми, людей, которые иногда, ни с того, ни с сего, вападают мертвой чашей и в животном испуге, чтобы продолжить на несколько дней свое наслаждение, погулять до отвала, пролаются в солдаты; особенного расположения к себе со стороны его живописец тоже никогда не замечал: саженик был добрый малый, любил Николайку как доброго соседа, уважал его за «смирность» и за то, «что ведет себя, как красная девушка», и только. Чему же приписать эту неслыханную преданность? Удали, которой хочется показать на людях свою силу, сорвать с бою белый крестик? Правда, Горюнов был, в старые годы, почетным членом знаменитых кулачных боев, и его присутствие решало судьбу противной стороны, но теперь он остепенился, да и это удовольствие как-то не вяжется с воинною строгостью, притом, если в таком случае и идти в солдаты, то, конечно, веселее за деньги... Живописец терялся в догадках.

— Спасибо, очень спасибо, Иван Петрович, — отвечал он на воззвание саженика, — что не забыл моего послынного хлеба-соли; но вот тебе правая рука, я не могу сделать ничего. Теперь горяча ты, может статься, желанье замечить меня, а после, как очнешься, то стапешь век плакаться на труса, который воспользовался твоею необдуманностью. «Что мне, одиночке, — говоришь ты, — выкататься по чужим людям, где меня, как собаку, станут приглубливать лишь те, кому я понадоблюсь». Пусть так; да за то ты сам себе господин. Будь у меня деньги, мы сошлись бы безобидно, а то.. нет. Право незачем соваться в петлю.

— Экий стойкий! Видно, с тобой пива не сварить; хоть кол на голове тепа, ты все ладишь одну и ту же песню:

депыи да дельны! Мне не в похлебке парить их; есть теперь на крючок, и будет с меня... Мочи нет больше говорить с тобой: надо поделаться, чем ушибся. Но уж будет по-моему, и ты ничем не отбояришься от меня!

По уходе Ивана Петровича из кружка сибиротников, которые с азбучным ожиданием конца этого дикого торга, к Николаю Тимофеевичу подошел один и начал разговор обыкновенным вопросом, что лицо живописца как будто знакомо ему, только он не припоминает, где видел его. Общими силами они порешали это недоразумение, и оказалось, что новый знакомец Николая Тимофеевича был племянный лакей Дарыгина. От замечаний о салоннике, о причинах своего заключения перешли, наконец, и к первой встрече в Сокольниках. Между разными подробностями о прежнем барице лакей рассказал живописцу все, что знал о пребывании Наташи у него на даче, и с каждым замечанием его о том, как «вела себя она», влюбленный воскресал надеждами: ясно было, что она не чувствовала ни малейшей склонности к малодушному своему обольстителю. Не менее обрадовало его изразительное известие о чуде, что ребенок только обмирал, а не совсем умер, и теперь здоровехонек.

— Вышла такая сумятица, — заключил свой рассказ лакей: — все перепугались, а на другой день, как приехал доктор изведаться о больной, смил ушел, что ребенок жив, и только в мертвом сне: оттого говорит, что, верно, ему давали пить маковое молоко. В самом деле, кормилица после призналась, что сгуповала, желая в точности исполнить барское приказание — уложить дитя спать покрепче, и накатила его маком.

— Где же теперь младенец?

— Известно где, в воспитательном доме. Наказано старой Исаевне, что смотрит за дачею, навещивать иногда об нем, и кончено. Мало ли случалось историй не в пример позорнее этой. Вот в третьем году...

Следующее потом повествование о проказах Дарыгина Николай Тимофеевич пропустил мимо ушей; его занимала мысль, как примет это известие покинутая любовница и мать. Мгновенное рассуждение сказало ему, что чувство второй пересилит желание первой забыть все, и он принялся думать, как бы поскорее и осторожнее передать выздоравливающей живительную весть. Не нужда, а любовь к себе или другим мать изобретений: живо придумал он средство и мигом устроил его. Только что кончил, глядь, перед ним опять докучливый Иван Петрович, и уже навеселе.

— Канут твоему упрямству, Николаша, — сказал он. —

Супротив меня ты огрызаешься, а как заговорят другие, вот посмотри, и слов не найдешь.

Через несколько минут в сибирку вошли Анушка и Иван Савельевич с дочерью. В другой раз так неожиданно встречал живописца Натану, но теперь он готов был отдать «жизни лучшие часы» за изглад, которым она приветствовала его. Нестройный говор сибирочников показался ему перловым в свете музыкою, когда серебряный голосок прозвучал в его ушах. Заговорили о деле общественном, как выразился Иван Савельевич, который, узнав о предложении своего тезки, бывший «переломить» живописца. Но не много бы сдвинули его деловые убеждения и «резонансы», если бы их не подкрепляли слова Натанши. С певото не смел спорить живописец, не находил, что возражать на ее проникнутые чувством доказательства, что он не должен покидать двух сирот. Сердце победило его скорее голова. Кстати подросли сестры, и решимость живописца не устояла, особенно когда солдат, тайком от восторженного Ивана Петровича, сказал, что у него найдется сотни три рублей для такого случая и отважный охотник пойдет не даром. Кончили тем, что на следующий день начать необходимые формальности при найме рекрута.

Смеркалось, наступала указная пора для ухода посетителей, и гости живописца стали собираться.

— Я думаю, соскучились вы здесь? — спросила заклятого Натана.

Да, особенно без работы. Впрочем, я кое-когда рисую. Вот и сегодня набросал одну картинку, да еще с натуры. Позвольте предложить ее вам на память, что и вы были в гостях в юрме.

Натанша была уже у двери, когда Николай Тимофеевич подал ей свернутый рисунок. Она мило поблагодарила его, но смотреть подарок было некогда, да и тем лучше... потому что рисунок изображал портрет дитяти, которого бедная мать считала умершим.

Избавляю и себя и читателя от рассказа о затруднениях, с какими соединен был замысел живописца сапожником, о юридических узлах, о хитростях самого охотника, который надоед своими безденежными просьбами всем, кто мог ускорить ход его дела. Наконец, кое-как оно уладилось. Накануне приемного дня торжественно простился Иван Петрович со всеми своими приятелями, редко отказываясь выпить с кем и последний раз, а на другое утро сменил живописца в сибирке, а к вечеру «с солнцем ясным на лбу состоял на царской службе» и забавлял рекрутов прибаутками. Печего и говорить, что Николай Тимофеевич, по возможности, обеспе-

чил будущность его, дал денег и на дорогу и положил вклад в артемовный ящик да, кроме того, обязался платить премию в общество страхования жизни, что сперва очень озадачило нового служивого, не могшего понять, как это застраховывают «от всех бед и напастей».

Партня рекрутов, в числе которых находился и бывший сапожник, выступила и поход на место назначения. Друзья провожали его за Москву. Прощаясь с ними, добрый балагур не мог не поплакать маленько. Он зачинал говорить то с тем, то с друлми: «Не поминай меня дихом, Николаша!.. Да и на пей, отсюда не могли пить, голубчик!.. Наташа Иванова! Ведь он до смерти любит вас. Не благородный, да душой-то, я вам скажу, ангел. Слашая бы была парочка!..»

Сбылось ли добродушное желание Ивана Петровича?

У живописца дела пошли бойко, заказчики задавали его работой, а с заказами пришло и давно не виданное довольство и возможность увеличить свое заведение, нанять мастеров. Из каморки он переселился в чистенькие покои, за хозяйством смотрела уже не Аннушка, а кухарка: два бажных для ремесленника шага на дороге к почету. Усердно работая, он по-прежнему по вечерам паведил солдата и смелее разговаривал с Наташей, которая часто читала ему что нибудь, а после, как гувернер, проэкзаменовывала его поятца. Не один раз в эти минуты припоминал он полуспуганные слова Ивана Петровича и спрашивал себя, что же мешает теперь исполнению их?.. О старом никогда не было и речи; Наташа очень ласкова к нему; редко увидишь на ее задумчивом лице улыбку, да ведь у пей такой характер. Несколько раз пригласила она его «в гости к маленькому Николе», когда кормилца привозила крошку из деревни, и сердце живописца видало в этом особое доказательство искреннего сочувствия с ее стороны. Он сильно надеялся. Немало значило в его глазах и паружное благосостояние.

Принципа красная горка, цветущая пара для любимых и томных живждоу брака. В один вечер Наташа, против обыкновения, читала живописцу какой-то роман, в котором, конечно, не обошлось без любви и всех соединенных с нею обстоятельств. Утром этого дня она видала свое дитя и была веселее, радуннее, чем когда-либо. Голос ее обятеливо действовал на слух увеника, у которого крепко было сердце, когда учительница с одушевлением читала места, близкие к его собственному положению.

— Что за рассеянность? Да вы совсем не слушаете! — Этим восклицанием она прервала чтение, когда увидела, что

Николай Тимофеевич смотрит в окно. — Какой же вы ребенок, — продолжала она с удивлением, заметив на его глазах следы слез. Я никогда не стану читать вам!

Нет, продолжайте, пожалуйста. Я думал... Помните ли вы прошлые слова нашего доброго Ивана Петровича?

— Ах, да мало ли о чем говорил он? Заставить его молчать было бы страшным для него наказанием.

Нет нужды передавать подробности этого объяснения. Все они похожи друг на друга. Всегда не много слов; «судьба сердца» решается более взглядами, языком, не выразимым никакими словами, который язык чувствуется, а не передается.

Живонисец пришел домой расстроенный, бледный. Но он еще не перестает надеяться и ждет. В надеждах проходит лучшая часть нашей жизни, если не вся жизнь, и не один он обманывает себя ими. Иногда, впрочем, стала замечать сестра, являясь он из города не то чтобы навеселе, а весел, и в это время не прочь слушать рассказы Анисьи Савельевны, у которой, при пылеющей общей расчётливости, имеется кагетовская целая коллекция засидевшихся повест.

Послесловие

«Радуетесь купец, прикуп створив, и корзинный, и огнище, и ржатав, и странник, в отечество свое пришед, также радуется и книжный списатель, дошел до конца книгам». Сказал я почти все, что задумал, написал предположенные очерки, а едва ли где более у места заключить свой рассказ словами того же летописца, которому принадлежат приведенные строки: «Иже ли где буду описал, или переписал, или недописал, читате... а не кляните, залеже... если простор, свобода перу, преимущества очерков, то неопределенность, несколько увеличение одной части и ущерб полноты другой — их недостаток. Жалею, что не написал просто повести, как пишут сытые все городочные люди. Впрочем, история Наташи ведь не кончилась же так, как здесь, и если ты, снисходительный читатель, берегая строгий свой суд для тех, которые предлагают тебе не все, что обещают, если ты захочешь знать, что случилось с этим слабо набросанным в очерках лицом, — ссоболаволи написать и редакцию «Москвитянина», прикажи, чтобы в повести обстоятельно рассказал конец начатого — обязующийся быть готовым к услугам твоим сказочник.

САВВУШКА



Савва Саввич — попросту Саввушка — портяной. Родился он господским человеком и до десяти лет бегал по деревне, упражня-
ясь в разных невинных

играх, свойственных его возрасту и сельской жизни. На этом году барин издумал отправить в Москву партию дворовых ребятнишек для научения их разным ремеслам, а кого именно какому — это предоставлялось благоусмотрению управляющего, под чьим присмотром будущие ремесленники отправлялись в столицу. Неизвестно, по каким признакам рентали управляющий назначил детей, которых привез в Москву, и почему Саввушка отдал был в портяные. Вероятно, бойкие склонности мальчика, проявление которых не раз чувствовали бока и зубы его сотоварищей, вероятно, они более пригодились бы на другом месте, но так велела судьба — великое, хоть и не совсем толковое слово.

Итак, судьба определила Саввушку к Карлу Крестьянычу, немцу, обруселому пастолько, что он даже спазлялся с нашими «буквами» и «шюком». У Карла Крестьяныча была большая артель — человек сорок, все русские, кроме главного подмастерья, который был родом также из немцев и держал себя в горделивом отдалении от крочих работников. Хозяин сам никогда не брался за иголку, а только смотрел за порядком да езды со счетами по заказчикам; подмастерье кроил, а в свободное время холл свои рыжие волосы да привлакивался за хорошенькой дочкой хозяина; работники, как следует, работали; одна половина учеников также от-

правляла швейную службу, а другая употреблялась для побегушек по делам всех, кто имел какое-нибудь значение в доме, начиная от полновластного хозяина до толстой кухарки. Саввушка поступил, разумеется, в последний разряд, и скоро успел обратить на себя внимание всей артели. Живей его никто не смыхнет и лавочку, скорей никто не трогает утюга, бойчей никто не заденет встречного мальчишку или разносчика с маком. Благодаря этим способностям мастера начали употреблять его для более важных поручений, например, тайком, на глазах хозяина, пронести в мастерскую косушку вица; продать на толкучем рынке шпиту из благоприобретенных остатков жилетки; поживиться у кухарки лишней ложкой масла, которое немецкая экономия не щедро выдавала на русскую кашу; Саввушка же нередко был выбираем для исполнения какой-нибудь потехи над рыжим подмастерьем, которого артель не слишком жаловала. И хотя за все подобные проделки юный «пугарь» часто подвергался исправительным наказаниям, то есть, как говорилось в артели, «хлебал березовую кашу» или «с кувыркометием, на полосное правление, клапался качательному суду, посылкой палате»; но зато много проказ и с рук ему сходило, и мастера горой стояли за ревностного исполнителя их приказаний.

Вообще таланты Саввушки были чрезвычайно разнообразны: в чехарду ли прыгать, в бабки ли играть, орла с решеткой кануть, в три листика сразиться, задирашкой стоять в «стене на стену», песню разухабистую спеть; везде являлся он первым, и звонкий голос его господствовал среди крикотни прочих мальчишек. Грамота ему не далась в деревне, в Москве и подавно; но еще не родился тот лавочник, которому бы он позволил себя обчестить или забожить лишнюю копейку; а какие диковинные выцеля разрисовывал он по заборам — десять Шамшоновых не разобрали бы их. «Одним лишь не иззял парень, — замечали иногда работники: — ростом большой уж мал; зато мала птичка, да киноток острый!»

В самом деле, Саввушка ходил на карлика и за восемь лет, пока продолжался курс учения, едва подрос на поларшина. В чем пропал эти восемь лет, — видно из очерка первоначальной его деятельности; знания, приобретенные им, не уступали знаниям его сверстников, то есть иголка не вываливалась из рук, практически же знакомство с жизнью произошло преимущественно в последний год, на выходе из ученья, когда Саввушка, запавибрат с работниками, под их руководством, стал посещать разные увеселительные заведения и принимать ревностное участие в мажарышских попойках.

Наконец вышел Саввушка из ученья. В то время у многих мастеровых было еще в обычае оставаться выученику

жить у своего учителя, чтобы заплатить за его хлеб-соль, и Саввушка остался у Карла Крестьяныча за крошечную задельную плату. Взял вперед денег: купил себе кое-что из платья, а на остальные задолгал артеля такие воспрыски, что чудо: одного чаю выпито было два галенка с половиною, да «кисейшего» полведра; а приемам по мелочам, для освежения горла, пирующие и счет потеряли. Воспрыски, по обыкновению, праздновались на гулянках, в воскресенье, но продолжались и в понедельник, потому что головы и руки многих участников пирушки оказались в таком расстройстве, что необходимо было сильное подкрепление для возвращения им обычной бодрости. Отправились гуляки опохмеляться, завели между собой дружескую беседу, затеяли хоровые песни, — глядь, на дворе уж и вечер. «Да уж зашло, братцы, задисывать прогулы, — заметил один из собеседников, — пусть хозяин поершится, а мы попируем еще». Товарищи согласились с этим благоразумным мнением, спросили четвертый бутылки пива и затянули новую песню. Почти к полночи воротилась домой веселая компания; но Саввунки и еще двоих мастеров не оказалось пачино: застряли где-то. К обеду на другой день явился и Саввушка, один, и только что перескочил через порог мастерской, вдруг столкнулся с хозяином.

— А где твой пропадал? — гневно крикнул Карл Крестьяныч, и по привычке схватил было Саввунку за волосы, но тот ловко увернулся от этой любезности, прискучившей ему еще в ученье.

— Такие вышли обстоятельства, Карл Крестьяныч, маленько обмишулился, — проговорил Саввунка, стараясь придать своему лицу постное выражение.

— Какой здесь есть мишуль? Ты водочка пил, а? Отскачай!

— Был тот грех, Карл Крестьяныч, так, малость самую, за ваше здоровье...

— А розичка хочешь, а? Отвечай!

— Воля ваша, Карл Крестьяныч. Да за что же наказывать? Вот, лучше пожалуйста-ка привешничек на похмелье: мочи нет как грежит голова. А там уж и пойду так порхатю по работе, что только держись!

— Два целковых напишу тебе прогулочка, в книжка напишу... я задам тебе привешничек!

— Пожалуй, напишите, только дайте. Сгл нет, и ногтики не сдержат в руках.

— А чусика твоя где есть? — спросил хозяин с негодованием, заметив, наконец, что Саввушка одет в поношенную фризку вместо спичей сухойной тулки, в которой целогодья на-капуне.

— Грамоте учишься, Карл Крестьяныч.

Хозяин вытаращил глаза.

— Это так говорится, Карл Крестьяныч, к примеру только; а чуйка обретается в закладе у одного благоприятеля; человек надежный, не изволите опасаться, — прибавил Саввушка и пояснение первых своих слов.

Но, несмотря на откровенное признание, строгий немел все дал Саввушке гривенника, а наделил его лишь подложною крупных слов, которые изучил на Руси, да велел сидеть за работу.

— Держи карман-то! Ты как там ни чужой: полаганы для затылка, по-русски шесть копеек, а выжить все-таки надо, — пробормотал Саввушка ему вслед. — Как быть, братцы? — заговорил он, обращаясь к товарищам. Нет ли у кого гривен шестик, душу отвести? Отдам с благодарностью, не здесь, так на том свете, не угольком, так глишкой. Выручите Савку!

Но это красноречивое обращение не произвело желанного действия, потому что у всей артели в одном кармане было пусто, в другом ровно ничего.

— Мы сами думали пользоваться от тебя, живая душа на костылях, полезить головы, — сказал один из коноводов, — ни у кого еще маковой росляки во рту не было. Попробовали подделаться к кухарке — не тут-то было.

— А что, братцы, ведь Горки нет дома? — спросил другой.

— Да, пошел, кажется, на барский двор. А что?

— Его надо проучить. Вчера у нас сошло ночесъ по полуштофу с брата, а он хоть бы шкалик поставил. Разве так делается по-товарищески?

Так-то так, да что возмешь с этого выхили?

— Что? Сундук не заперт, можно брюки его, разня рот, лежат, а с ними смело по крошечку на брата считай.

Так как подобные возмездия отступникам от правил товарищества очень не редки между портами, то пакто и не возражал на счастливую выдумку коновода, который тотчас же крикнул одного ученика, сменившего Саввушку в исполнении комиссий особенной важности.

— Смотри, Петька, чтобы одна нога была здесь, а другая там. К Исанчу, скажи, что от меня. Меньше штофа не бери. Ну, живо! Да не попались медведю.

Под именем «медведя» разумелся сам хозяин; но на этот раз он просидел в своей берлоге, и лечение больных голов произошло беспрепятственно. Ослепленные, мастера принялись за дело, а Саввушка, между работою, начал рассказывать про свои похождения.

Жизнет Сазушка не хуже, не лучше других портных. А хаков быт всех их, можно рассказать в немногих словах.

К мастеровым вообще портной относится как исключение к правилу. Его можно узнать с первого взгляда. Подражая одежде и приемам модников средней руки, имея беспрерывно в руках соблазнительные произведения своего искусства, портной любит пощеголять, но всегда каким-то страстным, если угодно, эксцентрическим образом: либо без сапог, да в шляпе, или в модном сюртуке, но без приличной нижней одежды. А если, хоть и редко, одет он в полной форме пиджолем, даже если и волосы, обыкновенно густо-лохматые, в порядке, — так кривые ноги, вследствие беспрестанного сидения по-восточному, срежут его с ног, или случайно замотанная за пуховицу игла с ниткой изменит удалому франту. О речах и говорить нечего: портной словечка не произойдет просто, все с ужимкой... Работает он также способно. У других мастеровых работа редко перемешается на продолжительное время, более недели, и круглый год тянут они ляжку, идут по заведенному колесу; портной же месяцев девять трудится, а остальное время отдыхает, наслаждаясь природой и всеми благами, доступными бедняжкам. Посмотрите на него, например, великим постом: бледен, измучен, присоска à la растрепан, одежда в беспорядке; слеза протер глаза, сбегал на минуточку в трикири, тотчас за работу и сидит за ней, не разводя ног, не выпрямляя спины, сидит день, сидит ночь, иногда к ряду две-три напролет; сидит и будит и праздник, выручает хозяйна и сам участвует в празднику; на всю Москву шьет обновы, оденется и сам, делает себе такое фасонистое пальто, что под Поневским любому франту, говорит он, бьются и нос.

Пришел светлый праздник, портной слышит окрикнуть последний срочный заказ; снаряжает потом свою эскаду, гремит в кармане деньгами, на лихаче катит под Поневское, посещает балаганы, делает несколько визитов «под колокол», грызет орехи, любезничает с красною палью (если у него нет постоянного предмета обожания); и так продолжается несколько дней — более или менее, смотря по темпераменту гуляющего. Чаще же весь заработок спускается разом; фасонистое пальто идет «учиться грамоте», за ним отправляются пестрая жилетка, узорчатый галстук, иногда добавок и шляпа марширует туда же, — и развольный тем, что не уронил себя в глазах публики, людей посмотрел и себя показал, портной, как ни в чем не бывало, принимается опять за работу, прихватив, однако, для круглого счета гульбы денюха три Фоминой недели. В эту-то бездальнюю для кар-

милка гуляк пору сибиряк подемывается над портным: «Что, брат, говоришь ему. — прогорел; как шмыгнет иголкой, так и слышно: чуть жив! чуть жив! А послушай-ка у меня, Дядя, поет наварочный ковер... как ловил... как робил... дуракам...»

...и чело- сыт и знает! сыт и знает! Эх ты... жимолостный! убс...

Фомийей... Но пока шьются обшвы из железных остатков... нехоти, работа еще бедет... и... он не...

...а... после, этак с семикат... мое почтенное: и одной ру...

...му выра- нечего. Сидит, месяц портной, по- что собственн...

...рокормит... жению, живет на даче. Конечно, ссызанный хозяин...

...роладеш... хлебом, если и работа переможется волос... да ведь п...

...братш... с тоски без дела, сиди склизаны руки. Пойдемте-ка...

...ем, тоску... товарищи, в Марьину рощу, али в Соколыньки, рас...

...наедим... скуку, печаль-кручину заду, наберем ябл да грибо...

...а мадеру... ся сами и на продажу останеся; авось, выручим и...

...неселой... доверсе, что без посуды сорок две... И идут портн...

...и уд... гурьбой под тень берез и соеи наслаждаться целы...

...и смехом;... вольствиями. Лес оглашается их песнями, измор...

...и подмо... трава мнется под даяской и кувырканьем; пололки...

...гулливу... скопные «умишцы» окольными путями обходят...

...амн, жа... толлу; а голпа, зная себе, тешился, лакомится яго...

...ти, коку... рит грибы на хитро устроенной сзвороде из берес...

...сказней и... ривает табачок и корюгает день среди неселых рос...

...худесской... уморительных забав: один показывает оныты гер...

...дипо, кто... силы, другой ходит на голове и представляет людей...

...ерев, кто... играет обезьяну, карабкаясь по гладким стволам...

...узоры по... свистит сзловьем-разбойником, кто выводит ногами...

...и на... зеленой мураве. Расселые такое, что и денег не...

...а четвер... завтра опять тает сюда же, и на третий день, и...

...ревсдуются... тый, и так далее, пока не зайсотеют листья, не по...

...я теслая... грибы. А к этому времени человечеству понадобит...

...слонянь... одежда, а, следовательно, подоспеет работа. Полно...

...ной снова... ся по рощам! Открываюая засидки вечеров, порт...

...а другою... делается усердным тружеником и имеет гулякой...

...а его ха... стат. По летняя вакация имеет сильное влияние н...

...художест... фактер, развивая в нем любовь к отваге и разным...

...ет лучше... нам: от этого никто из мастеровых не фигурничает...

...портного, и никто чаще его не метет улиц...

Саввушка

и, вязить

я душкою

его порт

исе нсоб

а первое

те не ме

Пока мы беседовали о житье-бытье портных, ушел уже три года отслужить у Карла Крестьянина себе славу первого забулдыги в околотке, сделать всей артели и приобрести почетное имя «настоящего». Заработков его едва хватало на удовлетворение ходимых нужд, между которыми вышивка занимала место, и на вычеты за проскуленные дни, составлявшие

нее четверти рабочих. Оброка барину он не платил еще ни разу, отлынивая то так, то саяк, а родным послал денег на подмогу только в первый год, при выходе его из ученья. Поэтому немного озадачилось Савлушка неожиданным письмом от отца с строгим приказом как можно скорее приехать в деревню по самонужнейшему делу. «Что бы это значило? — раздумывая, он сам с собою, — на что понадобился Сяпка? Брагу, что ли, скому пить? Эхма, не брагу, а верно, барин рассерчал, хочет поучить мотыгу, конюшню показать... Что ж, пусть показывает. Ну, а если потом в сараях оденут, баранов заставят стеречь? а? Не ладно, кападьство, совесть замучит... Да нет, тогда бы управляющий приказал явиться; а тут пишет отец: разве он хочет задать любезному сыну вытрезку, язык выколотить? Это воля, не убудет меня, и сам знаю, что следует задать — с кругу скружилась моя головушка... Да зачем же пишет-то ласково? «Один, говорит, остался ты у меня, Савлушка, попец-кормилец мой старости... приезжай, говорит, милый сынок, порадовать отца, пока не закрылись мои глаза на беки-вечные...» Ишь ты как... Не ян что показывать, мелки, не юр я, не мошенник, души христианской не загубил... Но какому же делу следует ехать, да еще по самонужнейшему? Просто задача. Лучше марш на боковую. Ехать, так ехать: двум смертям не быпать, одной не миновать».

С этими успокоительными рассуждениями Савлушка отправился спать. Во сне привиделось ему дивы дивные. Будто он приехал в деревню, женился на первой горничной, раскрасавице собой; особа его выглянула в гримасный рост и украсилась ладлежащей полнотой; далее представилось ему, что он в Москве, хозяйствует богатой рукой, занимает большую квартиру, с парадным входом, над которым красуется огромная вывеска, золотыми буквами возвещающая, что здесь имеет местопребывание «военный и партикулярный портной Савва Ситяп»; виделось ему, что завален он заказами, Карл Крестынич живет у него в рабочих, а рыжий подмастерье просто в учениках, и Савлушка кормит его подзатыльниками... «Ниско таскаю, вот штука-то!» — крикнул Савлушка во сне и проснулся. Кой прах: сон это или мн? Сон, кападьство этакое! Сам он все такой же харапузик, спал на полу, подвернув под голову кулак, одевался длиной, жепи, знать, качается еще в люльке, а попец уже похрикивает в мастерской... «А если сон в руку? — продолжал рассуждать Савлушка, припоминая все подробности заматчивого сновидения. Если старик и взаправду затеял женить меня? Гожусь ли я в мужья? Чем не молодец! Какая красная девица не пойдет за такого парня?» При этой мысли будущий же-

них скорчил преуморительную рожу, так что самому стало смешно, и вскочил как стрелянный...

Проводы отъезжающего были торжественны не менее первых «выпрысок» при выходе его из уездья. Сам хозяин принял в них участие и подарил Саввушке на дорогу енисейку, с отеческим увещанием, что «если он перестанет пить водочка, то будет шелонок». — «Другу и недругу закажу, Кара Крестяныч», — с раскаянием отвечал Саввушка и, тронутый до слез хозяйскою щедростью, в тот же день, парус с артелью, налилался до того, что и не помнил, как уложил его в сани к попутчику-порожняку.

В деревне Саввушку ждали почти одни радости. Старик отец встретил его со слезами: один он остался подпорой семьи, старший же сын года три как пошел в ратники; о глупе барина, об укладе страшного оброка, о грозных увещаниях — не было и помину. Невеста в самом деле напилась, только не такая красавица, что трезвильась во сне, а простая дворовая девушка.

На другой день молодая и Саввушка долг исполнили оба как следует — и к барину сходили на поклон, и гостей к себе пригласили, и сами ездили кататься. Пошел день за днем, месяц за месяцем. Саввушка все гостит в деревне, чтоб дать порадоваться отцу на свое житье с молодой женой; а у самого только и в мыслях, как бы уехать в Москву.

II

В продолжение двух-трех часов путешествия по Москве можно встретить все степени развития городской жизни, начиная от столичного шума и блеска до патриархального быта какого-нибудь уездного городка. Идешь, например, по широкой бойкой улице, с домами как на подбор, один другого лучше; по стеклам, из окон, из дверей манят тебя вывески всякого рода и цвета; направо и налево сплывают пешеходы; мостовая горит под бегом рязанных копей; двои лавок устанут затворяться и отворяться; узлы, кульки, пакы, ящики ежеминутно шмыгают то с возов, то на воза... Везде такая хлопотливая жизнь, что разом запертись в ней и невольно захочешь принять участие в этой неутомимой деятельности, которая, как колесо, одинаково двигает и просто рублями, и сотнями тысяч рублей. И вот продолжаешь путь, уже потупив голову, погруженный в расчеты выгод, ожидаемых от предприятия, задуманного мигом; идешь и уж воображаешь себя миллионером, пока встречный толчок или громкое «пад!» не заставят свернуть в сторону и не разрушат воздушных замков.

Только что перебежал улицу, сделал несколько шагов, глядя — совершенно другая декорация: всю улицу вдоль перерезывает широкий бульвар с ветвистыми липами; по обеим сторонам его тянутся степенные дома, разнообразные по наружности, но одинаковые по цели, которую имели в виду их хозяева, — устроить жилище для себя, а не помещение под известное число торговых заведений; приволье, простор, иногда даже слишком, видны во всем — и в богатых постройках, в которых есть где развернуться старинному хлебосольству, и в разных службах, занимающих просторный двор, с воротами настежь, и в теплых садах, обнесенных решетчатым забором. Все хорошо, очень хорошо: но что же здесь делать интеллигенту, случайно занесенному в этот приют прямо с базара житейской суеты? Что ему здесь рассчитывать, над чем спекулировать? Решительно не промышленные мысли рождаются у него в голове, а думается о лордах и бараках... Пусть идет он дальше.

Еще несколько шагов — и другая картина. Угловой трехэтажный дом битком набит различными действительными промышленностями, сверху до низу обвешан вывесками, а рядом с ним, пригорюнившись, еле-еле держатся дряхлые полуразвалины, с заколоченными окнами, поросшие мохом и травой. Сквозь растворенную кашку видно — сидят у крыльца, греясь на солнышке, старик, чуть ли не ровесник старому дому, а лохматая дворняжка прикорнула у ног его; только и есть жильцов в убогом домишке, и на сломку давно простоял он. Зато далее, почти бок о бок с ветхой старостью, красуется самая свежая молодость — не домик, а истружечка, с пятью окнами и с мезонином. На дощечке над портами читается надпись: меценатина Зарюласва; на соседнем с ним доме: меценатки Белоневжевой; далее — цехового Колбаева; вдовы 14-го класса Разгильдяевой; титулярного советника Угрюмова, и так далее, все в этом же роде. И все дома пестрые, такие, чистые, уютные, что любо-дорого смотреть, и завидно становится на жизнь обитателей этого счастливого уголка, особенно когда из окна какого-нибудь домика востер донесет до вас звуки гитары, или «Я в пустыню удаляюсь от прекрасных земных мест», или когда увидите целую семью за самоваром в саду, под тенью берез и гваций, увидите тут же хозяйку, собирающую малину и смородину...

С самыми сладкими мечтаниями отправившись далее, минуешь Переулок, другой, а откуда рукой подать до настоящей Аркадии, то есть такой, какая только возможна в наш «железный, испорченный» век. Вот она — область простого, идеального быта. Нет здесь ни мостовой, которую красиво замаскирует зеленый луг с торною дорожкой посредине; нет ни-

каких принадлежностей городской уютной жизни; нет ни одного торгового или увеселительного заведения, если не считать двух мелочных лавочек с товаром рублей на сотню в каждой. Домики, все без исключения, деревянные, одноэтажные, выстроены по правилам свободной архитектуры, один смотрит вправо, другой влево, и почти все имеют способность склоняться набок; на лавочках у ворот присаживаются старушки, занимаясь вязаньем чулок; дети, милые дети, бойко играют в бабки или в шары; мохнатые куры безбоязненно разгулавают по улице, роясь в земле; на лугу пасется адилецкая корова; в луже, которую принято называть прудом, гоняются утки... Люди здесь все добрые, живут скромно, но не скучно, мало знакомы с городскими соблазнами, зато коротко знают друг друга, обмениваются привлекательными «мое» и «наше почтение» при встрече, по праздникам водят хороводы, играют в горелки; о святой качаются на своих качелях, о масленице катятся с своих гор...

Пройдешь этим укромным предместьем Москвы, — и пошла тянуться с обеих сторон огорода, замелькали сараи, крытые соломой, начали встречаться мужики и бабы, кто на косыбе, кто на киле, поспынивал гомор с ударением на «о» и с предпочтением к звуку «и», распалась звонкая песня, — и мы в деревню, хотя еще не выступили из пределов столицы. Бгрозем, столица и оканчивается, как прилично кончиться рынку всей России, городу-миллионеру: длинным рядом огромных строений, где день и ночь не умолкает шум деятельности, где пар и вода, люди и лошади, рычаги, колеса и шестерни дружно соединяют свои силы для удовлетворения потребностей не одного миллиона человек, — короче, Москва оканчивается фабриками и заводами.

Подобное путешествие, с несколькими измещениями в картинах, не без пользы для знакомства с разнообразием города, можно совершить на Божedomку, о которой, может быть, вы читывали что-нибудь как об исторической достопримечательности Москвы, но где едва ли бывали. Найдти дорогу к ней не трудно, от перекрестка, где Кузнецкий мост пересекается с одной стороны площадью Малого театра и Голицынской галереи, а с другой — Трубою, ступайте прямо по этой последней, минуите бульвар с прозванием «Водный домик», потом другой, называемый просто Трубным, возьмите лемного влево, через Самотеку и небольшой бульвар-Безыменку, — тут и будет Божedomка, с старинною красною церковью, при которой в давние годы существовали усыпальницы или «убогие дома».

Путь этот в настоящее время легок и представляет мно-

го замечательного; не то было лет за двадцать, в пору нашего рассказа, когда Труба в полном смысле слова была трубною — канавою для стока всякой нечистоты, а бульвара не было и в зародыше. Но переменялась дорога, а дома, которыми Божедомка очень небогата, вероятно, остались те же самые; если же и заменились другими, то наследники едва ли ушли далеко от своих предков и безобидно могут занять предпоследнюю степенъ между различными переходами, что видели мы в прогулке по Москве, с тою лишь разницею, что на углу улицы находятся два увеселительные заведения, немного нарушающие степенный вид всей местности. Следовательно, описывать наружность домов того времени не для чего. Один из них обращал на себя особенное внимание, — не тем, что по летам превосходил своих соседей, а тем, что над низенькими воротами его торчала вывеска, означавшая место жительства какого-то ремесленника. Редкая гостя в этих краях, божедомская вывеска была бы редкостью и везде: по черному полю белыми буквами, среди огромных помин, изображены были на ней следующие строки: «Сава Силин муской партной и лачинивает старас глатъ». С чего же нашему чудаку вздумалось сделать себе такой траурный адрес и поселиться в захолустье? Кто его знает! Надобно зайти спросить.

— Эй, голубушка, где тут пройти к портному?

— К Савзушке? А вон, ступай прямо во флигель-то. Как войдешь в сенй, будут тебе три двери; направо ты не ходи — золотарь живет, прямо это будет к Александру Ивановичу, а налево-то, в светелке, тут и есть Савзушка.

— Здравствуй, старый знакомый! Что это? Гляжу и не верю. Ну, знать, не баловала тебя судьба-мачеха в эти годы, что не выдалась мы с тобой, посеребрила она местами твою голову, провела борозды по лицу, лет десяток лишней накинута на плечи... Не легко, я думаю, нести?

— Со всячиной. Стерпится, слябится.

— Как поживаешь, дружище?

— Живу помаленьку, хлеб жую, небо не копчу, земли не тягочу.

— Ну, а сожительница твоя как? При тебе или в деревне?

— Да гуляет по ветру.

— Как так?

— Да так. Видно, что с воя упало, то и прошло. Что и толковать о старом: не воротись... — И ответ этот сопровождается таким значительным движением руки, что нечего более и спрашивать у Савзушки о предмете, по-видимому, трогавшем его за сердце. Переменим разговор.

— Гм... А скажи, пожалуйста, где проживал ты все это время, как уехал из Москвы?

— Мыкался то по хустиным хозяевам, то по пекнам; хозяином раз было сел; все лет тону, не лажны ни гроша.

— А теперь есть ли работишка у тебя? Вишь, какую вывеску смастерил!

— Накисывается. А насчет вывески, доложу вам, вышла такая оказия: купил на толкучем почесть подароч, да и перекрасил сам. Оно бы и лишнее, да для проформы требуется.

— На кого же ты шьешь?

— Слава богу! Из здешней округи почти ни один человек не обогает меня; всем услуживаю. Вот, примерно, изять наш дом. Первый — Петр Евстигнеев...

И Саввулка начал перечислять жильцов, от кого получал заказы. Нам следует познакомиться со всеми, не исключая и женского пола.

Домовладелица — Дарья Герасимовна, женщина лет под сорок, неизвестно почему сохранившая право называться девицею и искать себе «приличной партии». В околотке она пользовалась большим уважением, и от нее плелись главные нитки для клубка сплетней о местных происшествиях.

Жильцы у ней: по цене квартиры первый — лавочник, Петр Евстигнеевич, торговавший тут же в доме оконным товаром, человек, как следует быть лавочнику, с бородкой, с улыбкой на лице и с походом на уме. Так как лавку его посещала вся улица, то он и служил для хозяйки главным источником, откуда почерпались современные новости.

По званию же первым был Александр Иванович, коллежский регистратор, лет двадцати двух. Жил он с матерью старухой, перебиваясь кое-как умеренным своим жалованьем; к должности ходил аккуратно; по вечерам, если не шел гулять в Марьину рощу, читал какие-нибудь стишки или играл на гитаре; в праздники не пропускал ни одной обеды и вообще был «прекрасный молодой человек».

Был еще другой молодой человек, не прекрасный и не чиновный, наживавший себе чахотку перепискою бумаг, день и ночь корпелный над ними. Этот туждался знакомства с соседями, и они не слишком заботились о нем.

Далее следовали: торговка щепотильными товарами у Сухаревой баини, бой-баба, прожженная сваха и вторая после хозяйки наперсница ее по части сыгетов; старушка с двумя дочерьми, доставлявшая себе изрядный хлеб читьем перчаток; золотарь по дереву с семьєю; отставной солдат с женою, промышленный чинкою сапожного старья и снабжавший ню-

хательным табаком всю окрестность, — и, наконец, Сивушка.

Кроме хозяйки и лавочника, все жильцы занимали самые скромные квартирки и по цене, от целкового до восьми рублей в месяц, и по величине — каморку, много две, на хозяйских дровах. Все они жили своим трудом, значит, более или менее знакомы были с нуждою; но ни к кому из них не подступала она так часто и близко, как к золотарю. Мужичка лет с лишком пятидесяти, но бодрый и крепкий, как в лучшей поре, мастер своего дела и работающий до того, что две его руки стоили шести, он мог бы безбедно прокормить свою семью, которую составляли жена, маленькая дочь и старик отец. Не та и беда, что руки-то у него были, как говорится, золотые, а рот... уж вовсе не золотой, что он не просто придерживался чарочки, по примеру всех добрых людей, не пилвал с толком, а запивал запоем. Нашло на него это несчастье неожиданно. Рассказывали, что смелоду он пил, но, женившись, остепенился и первые годы после свадьбы в рот не брал ничего хмельного, жил с женою, как голубь с голубкою, даром что был почти полное старшее ее, держал артель работников, хозяйство его цвело, денежки про запас на черный день водились, сторонние люди ему завидовали. И так прошло не год и не два, а без малого пять лет. Раз пиروнали у него приятели, подгуляли порядочно и потом утащили вместе с собою куда то дешировать. Вернулся золотарь домой уже на другой день ввечеру; домашние как взглянули на него, так и ахнули. А он, сам не свой, кинулся прямо к жене, но не с ласковым словом, а с критикой: «Изменница, разбойница! Живой в гроб положу!..»

Поднялась семейная невзгода, кончившаяся слезами и просьбами с одной стороны, угрозами и бранью — с другой. Опомившись утром, виновный просил прощения у всех, плакал перед женою, клял на себя страшный проклятие даже не братья за рюмау, — и месяца с два прошил благополучно; старый проступок казался сделанным во сне. Вдруг, в какой-то праздник, повторилась прежняя история, но в сильнейшей степени: муж показал власть свою над женой... За дурным делом последовало новое раскаяние, опять жизнь смиренного, только в продолжение меньшего времени, чем в первый раз, и опять повторение прежнего припадка. Отчего стали с ним случаться они, никто не знал, а толковали многие, что испортили его по зависти злые люди. Жена несколько раз ходила к знахарям и лекарям, которые еще не переехали в Москву, потратила много денег, а толку не было. Между тем, с частым повторением запоев дела стали расстраиваться; отсутствие хозяйского глаза не замечалось ни-

чем, а одним днем нельзя было воротить того, на что требовалась неделя; все пошло на разлад — и выгодные заказы, и подучка денег, и хорошие мастера, — пошло хуже да хуже. И квартира сделалась дорогая, и артель большую не для чего стало держать. Остался, наконец, золотарь один и хозяин и работник все вместе, и прикужден был переселиться на Божепомку и пятирублевую комнатку. Тут скоро подошли к нему черные дни, да уж дележки про запас на них не было, и сделали они жизнь бедняка темнее ночи, и стал он, ни сыт ни голоден, ни наг ни одет, мыкать горе-горькое, жечь так, что не приведи бог лихому лиходею.

Нужа всего было то, что чем стесненнее становились его обстоятельства, чем тяжелее было ему, тем чаще повторялись зипои, и пропадал он уже не на день, а суток на трое, иногда на неделю; зачастую спускал с себя последнюю одежку, чтобы только удовлетворить свою злую жажду к печальному забытию чего-то, камнем лежавшего у него на сердце. Но тяжело-дорогой ценой покупалось это временное забытие: лица, бывало, нет на несчастном гуляке, когда явится он домой после двух- или трехдневного отсутствия, изнурившая прийти самым ранним утром, пока улица еще спит, и по бессмысленным шагам, по отблядкам его некому приять за вора, украдкою пробирающегося к подмеченной поживе; потихоньку юркнет в свою каморку, перекрестится, — слава богу, из домашних еще никто не встал. Но вот слышишь тяжелый вздох жены, которая, по-видимому, не спыкала всю ночь; вот старик отец, почти выживший из ума, дребезжащим голосом кричит с печи: «Чю, Гриша, принеся хлеба-то? Голоден я. Сноха не дает есть досыта: хлебушка, говорит, мало. Голоден и холоден. Ох, господи!» Гриша молчит и торопливо принимается за работу; видно, что его грызет раскаяние, что он хочет всеми силами загладить свой проступок; но мудрено это дело. Угар еще не вышел из гуляки, нет сил ни душевных, ни телесных, в голове шум и треск, на сердце словно гора лежит, и тяжело запывает оно, в глазах туман, руки дрожат, капли холодного пота выступают через все поры обесчеловеченного тела. Возьмется за то, за другое, — все валится из рук, ничего не спорится, да и точно в чужой дом он пришел, не знает, где лежит какая вещь.

Вдобавок к этому не замедлят подсызть домашние мучения. «Нет ли у тебя, Гриша, чего-нибудь на харч? Я бы пошла на рынок», — робко спрашивает вставшая жена. Молчание — и позднее сожаление о безумной трате денег, которых в два дня спустил он столько, что стало бы их дома на две недели. «Да посмотри в карманах-то, — продолжает жена, — не завалилось ли где хоть триесеника!» Что смот-

реть? Хорошо знает он, что не осталось ни копейки, и, скрепив себя, продолжает молчать.

Приходит хозяйка. «Что же, Григорий Кузьмич, надо и честь знать! Бражничать бражничали, а за квартиру не платишь. Я сама сирота и кормлюсь только что этим уголком, а еще надо отапливать, обчищать вас, поземельные платить. Ты хоть бы понемногу расплачивался — когда целковый, когда полтинник, все бы с костью долой; а то лутка ли: запустил за четыре месяца! Как хочешь, голубчик, говорю тебе в последний раз, исчезни моя душа: если не разделась-ся добром, хуже будет, как начну выживать неволю, провалиться мне на все места: рамы выставлю, вышки выну, дров ни полена не дам, колодец затру. Петра Петровича попрошу... он умеет учить, выну братью. Срам этакой! На что это похоже? До чего допустил себя человек в такие лета: ти стыда, ни совести, и слова повинного не хочет сказать!»

На подобную проповедь, продолжавшуюся с доброй час, нельзя не отвечать; и разными просьбами, обещаниями исправиться, разделаться в самоскорейшем времени горемыка успевал утишить гнев хозяйки, которая была вовсе не злая женщина, да притом и не любила менять своих жильцов: ее самолюбие приятно было слышать, как кто-нибудь из ее наемщиков гонорил: «Спросите у Дарьи Герасимовны: она души своей не убьет; я двенадцать лет живу у ней и ничем не замаран».

Пролеслась одна буря, ушла хозяйка, — снова гроза, является лавочник: «Насчет должку-с. Побойтесь бога, батюшка Григорий Кузьмич! Истинно как родным потрафляю вам: и чайку (всегда маяхону), и сахарцу, и касательно провизии всякий провиант отпускаю; а вы, вы мою добродетель, такую пасквиль со мной делаете. У самого, батюшка, охапки детей на руках, сам по уши в долгах. Возьмите себе это в голову, сударь вы мой, найдите какос-нибудь средство, не тяните меня за душу...» Однако, после убедительных переговоров, и лавочник склоняется, наконец, на мир, на временную отсрочку.

А в доме, хоть все мышиные норки перерой, все-таки не найдешь ни где ни корейки, ни даже черствой корки хлеба. А старик пристаёт больше и больше, жалуясь, что его совсем уморили с голода. И маленькая дочь, едва протерев глазёнки, просит чаю с бараночками и разливается слезами, видя, что самовара нет на столе, как не было его уже два дня. Но некому утешить малютку: отец сидит у всестака, печально покурив поседелую голову; а мать, не придумав ни одного средства, как бы просуществовать хотя один день без чужой помощи, бежит, наконец, к лавочнику выпрашивать несколько

фунтов хлеба да четверку картофеля, — или, когда тот не поддается на самые униженные просьбы, требуя уплаты старого долга, она идет закладывать какую-нибудь необходимую вещь из своего бедного паряда.

В горькой нужде, в крайних лишениях даже того, что и бедняк не считает прихотливою роскошью, проходило несколько дней, пока Григорий Кузьмич успевал отделать какую-нибудь работу и разживался деньжонками. С первого получкою их горемычная семья отдыхала: уплачивалась частичка долгов, выкупался заклад, девочка любовалась по-весеннему баумачками, чайница доверху наполнялась четверкою семирублевого чая. Полный раскаяния и воспоминаний о недавнем горе, которое терпел сам и заставлял терпеть других, золотарь искренне сознавался в своих грехах.

— И сам не понимаю, что делается со мной, — говорил он жене, сидя за чаем, — бог наказал за что-нибудь. Выплюю рюмку — тянет к другой, к третьей; выпью еще, сделаюсь под куражем, попадутся приятели (прияч их поберут!), заманят — и пошло... Встанешь на другой день, опохмелившись, пойдешь домой — дорогою точно злой дух наиспывает тебе в уши: зайди, выпой еще; что тебе дома-то, жены разве не выдывал, слез со не слыхивал? Зайдешь и опять забудешь все. А как начнет выходить дурь из головы, — делается так тошно, что хоть руки паложить на себя в ту же пору; совесть убивает точно разбойника какого, не дает даже минуты спокойной; так и думается, что все пальцем указывают на тебя: вон, дескать, пьяница-пропойца идет!.. Эх, некому бить меня, старого дурака!

Но это раскаяние, к несчастью, не приносило желанных плодов мира, и спустя несколько времени Григорий Кузьмич снова проклинал свою невоздержность.

Но случалось иногда, что он приходил домой еще с сильным запахом паров в голову. В это время жена лучше не попадалась ему на глаза; первый шаг его прямо к ней, первое слово — брани, да угроза, и за угрозою иногда и толчок. Слезы девочки, крики ее, что тятенька убьет маменьку, кропотливость старика, который на минуту пробуждался из своей безсуетственности, еще сильнее раздражали безумного. Один Саввушка, живший дверь в дверь с ним, умел укрощать опасные порывы золотаря.

«Да уймись, Григорий Кузьмич, брось ты это, пойдем лучше выпьем», — скажет он ему, вбежав на первый шум в каморку. «Постой, вот я ее!» — кричит золотарь, порываясь ударить полумертвую от страха жену. «Да полно, экой какой! Пойдем, покалякаем за бутылочкой. Ну за что ее бить? И так она мается, сердечная; бог с ней!» — «За что

бить? — гневно крикнет раздраженный золотарь. — Ее надо бить, ее надо живую сжечь... Ты знаешь, кто она? а? Знаешь, откуда я ее взял? а? — «Все знаю; да только пойдем же, а то ведь запрут». — «То-то и есть, что знаешь, да не разумеешь. Она загубила меня навеки. Тысячи бы лежали у меня теперь в сундуке; а то фить-фить... Ну, идем. Счастлив твой бог, что я не сердит», — прибавлял он, обращаясь к жене, и отиралился под руку с Саввушкой, который не отпускал его от себя уже ни на шаг.

Странно было, что, кроме портного, никто из соседей не вмешивался в ссоры золотаря с своей женой, странно потому, что посредничество в подобных случаях считается почти обязанностью каждого доброго жильца, и малейшая неувгода в одной семье занимает всех. Но о золотарихе не заботилась ни одна душа. Пьяный муж мог бить ее сколько угодно, и никто не двигался с места; она могла выплакать все слезы, и не приходило никому в голову подойти утешить ее. Пьянство, соседки казались довольны тем, что муж, как гнирляк, они, держит ее в руках, не дает потяжки. «Не учи он ее, так она наварит такой каши, что и не расхлебашь», — толковали кумушки. Какого проку ждать, когда, не спросив добрых людей, не посоветовавшись с умом, выбрал себе жену... прости, господи, срам сказать, из какого места. Диви бы не найти ему путной девушки». — «Гордячка она, — судила торговка, — и разуму на грош нет, даром что книжки умеет читать. У меня у самой покойник — царство ему небесное — куда был сперва дерзок на руку. Для не проходила без потасовки. Да поставила же на своем, персудорила его, сделается под конец как шелковый; прежде, бывало, ни слова, а я два; а потом я скажу десять, а он и вот разнугать боится. Хороший был человек, царство ему небесное. А эта дурица только хнычет либо молчит как пень; нет никакой догадки!» Словом, ясно было, что соседки недолгбливали золотариху, хотя она вела себя в отношении к ним очень скромно, только не мешалась в их сллетни; но чувствовали почтенные кумушки, что она не их голя ягода и лишь по одной необходимости не чуждается их, и зато не давали ей пощадь своим языком.

Один Саввушка питал почему-то особенную привязанность к семейству золотаря, и более всех к старику да к девочке. За первым он ухаживал как за маленьким ребенком, видел его в церковь, усаживал в саду подышать свежим воздухом, мыл в бане, кормил кашками, когда был при деньгах, — и старик в это время здоровел, не жаловался ни на голод, ни на холод.

Саша, дочь золотаря, уродилась в мать, а это, гнирляк в пареде, недобрая примета. Впрочем, что до примет! Прехо-

рошенький ребенок, с голубыми глазками и темно-русыми кудрями, она обещала быть красавицей; но, несмотря на ее милосердность, на лета, столь любезные всякому живому существу, она жила сироткой в доме; из соседей никто не ласкал ее, вернее, по матери; подружки или обижали крошечку в играх, или вовсе не хотели «водиться» с ней. Сапу, однако, это несколько не печально. Поцелуи матери редко остывали на ее щеках; одна-одинехонька, она играла так же весело, как будто забавлялась с целым роем резвущек; да в запасе оставался еще Саввушка, который служил ей пиянкою и часто товарищем в играх: обязан был катать ее у себя на плечах, снабжать лоскутиками, гостинчиками и по вечерам рассказывать сказки. В награду за все эти услуги она позволяла ему изредка поцеловать себя и называла женихом, но требовала, чтобы он непременно вырос и сделался офицером. Саввушка обещался достигнуть того и другого и должеп был уверять в этом свою любимицу, которую малейшее противоречие вводило в слезы.

Таковы были обитатели божedomского дома. За исключением бурь в семье золотаря да небольших перебранок между кумушками из-за кур и ребятишек, в нем постоянно царствовало спокойствие; всякому жалъ было расстаться с таким уютом и затишьем, представлявшим много удобства в хозяйственном отношении, — и все обижались здесь как бы в своем собственном доме. Саввушка квартировал у Дарьи Герасимовны уже лет пять. По округе его знали и во всех четырех Мещанских, и у Сухаревой башни, и по Середицке до самого Полевого двора, и в Сущене, и везде его звали Саввушкою, все от мала до велика, от титулярного советника Крукина, постоянного его заказчика, до соседнего будочника, которого он снабжал даровыми питками. Видно, так следовало называть его, в противность обычаю зeligать людей, достигших зрелых лет, по одному отчеству.

Было воскресенье. День хотя осенний, но выдался такой ясный и теплый, как среди лета, и вызывал даже не любителя природы ни прогулку. Население дома Дарьи Герасимовны также почувствовало в себе желание насладиться редкой погодой, погулять в саду. Первый вышел Александр Иванович, «прескромный молодой человек», с книжкою в руках; следом за ним выпорхнула Сапа с мячиком; за нею веселенько пошел Саввушка, бывший несколько чавесело, ради праздника; потом явилась горловка с запасом орехов и в сопровождении дочери-перчаточницы; к ним не замедлила присоединиться и особа хозяйки.

Собралися круг парадочный, и завязался разговор длиннейший, наполненный передразнием из пустого в порожнее.

Наконец, прекрасный пол отделился от непрекрасного с намерением пить чай в беседке, и Александр Иванович с Саввушкой могли свободно разместиться как следует на скамье, которую уступили перед тем из учтивости «дамам».

— Что, Александр Иванович, какую это книжку изволите почитать? — спросил Саввушка, после нескольких минут молчания и понюхав табаку.

— Лирические стихотворения, то есть стихи. Понимаешь?

— Смеаю. И хорошая книга?

— О, утопаешь в блаженстве, летишь душою в восторженный мир, начинаешь понимать, что есть истинное бытие человека, и презирать эту ежедневную пошлость, которую мы называем жизнью, эту толпу глупцов, которых мы удостаиваем имени людей...

— Кого же это, батюшка? — спросил Саввушка просто душно.

— Всех, всех...

— Как? И себя, и свое начальство?

— То есть не всех, — горделиво подхватил юноша, — это так уж говорится, особенно в стихах; для красоты слога, как объяснял мой учитель. Вот послушай-ка, как здесь выходит это хорошо.

И Александр Иванович, не заботясь о желании своего собеседника, продекламировал, как умел, одно туманное стихотворение.

— Охота же вам читать такой сумбур! Вот лучше взяли бы у отца дьякона Четвы-милей, и я бы послушал. А то, не хотите ли, есть у меня житие Иоанна милостивого.

Но Александр Иванович спешил перемешать разговор.

— Ведь хорошая женщина наша хозяйка? — заметил он в виде вопроса.

— Так себе, — отвечал Саввушка.

— Вот и Анна Харитоновна тоже хорошая женщина.

— Гм... старуха добрая. А дочка у ней как по вас?

— Мизанька? Девушка скромная, с поведением.

— Уж именно, что с поведением. А зедь вы все-таки не женитесь на ней?

— С чего же это ты взял? Ийду себе приличную партию, барышню. А она что! Мещанская дочь.

— То-то и есть, сударь; жениться не думаете, а амурь разный заводите, записочки пишете. Выдумаете, я те вилал, как намедни на крыльце... Пожалуй, и дальше зайдег. А у ней только и приданого, что честь да молодость. Вы не обижайтесь, сударь, на мои глупые слова, любя вас, говорю.

Александр Иванович зерыхнул.

— Романтическая история, — заметил слушатель, помешав с минуту.

— Называйте, как знаете, а история суроволивая, — отвечает рассказчик.

Ты добрый человек, Саввушка, хороший человек.

— Излишне лгут, сударь! Какой я добрый? И человек-то не полный: так, сухое дерево. Рад бы сделать добры, да не умею либо силы не хватает; а худо на своем неку дурью-то натворил закрасить-то его и печем.

— Здесь все любят тебя...

— Грех сказать: не обижают. Да всем я чужой. Нет, Александр Иванович, одиночке уж что за жизнь на сем свете. У вас, например, есть матушка (продли ей бог века); женись потом, детки пойдут с теми все веселее тянуть жизнь.

— Да ведь и ты, кажется, был женат?

— Был, да уж и позабыл когда...

В эту минуту Сапы, напевая какую-то песенку, подбежала к собеседникам и взобралась на колени к Саввушке.

— Что, устала, козочка? — спросил он ее, глядя по голвке.

— Мячик забросила в беседку.

Так надобно достать.

— Поди-ка попробуй; там сидит сама, а с ней курчиха.

Однако, несмотря на присутствие этих страшных для девочки особ, то есть хозяйки и торговки, Александр Иванович вызвался найти мячик. Саввушка продолжал утешать свою любимицу.

— Сказать сказку?

— Скажи, только хорошую.

— Ну «В некотором царстве, не в нашем государстве...»

— Э, да я знаю это и сама.

— Ну... «Жить жил, а служить нигде не служил, храбрый рыцарь-кавалер, мушкетер царь, комаринный государь, что тот ли колесный секретарь. Дворец у него без крыши, а по полу гуляют мыши; на часах стоят жуки и ружье держат у руки; как на караул отдадут, так со страху упадут; петух главный у него генерал — чем свет и заправ. Кафтан, сударыня ты моя, у нашего кавалера воздушный, впротник на кафтане еловый, обшлага сосновые, подбит ветром, оторочен снегом. Кушает он сено с хреном, солому с горчицей, лапти с патокой — кушанья все деликатные; три дня не ест, а в зубах ковыряет, гостей на шир созывает. Ходит при усах, при часах, трубка табаку во рту, эска сабля на боку; идет — ухмыляется, красной своей похвастается, а девушки на него умиляются». Ну...

Время осеннее, погулчиков нет — побрел пешком. Прихожу. Брат один-одинехонек горюет дома, а батюшка с педелью как богу душу отдал (дарство ему небесное!). Поплакал я, да и воротился сюда доживать свой век, пока не придет час воли божьей.

— Ну, а жена-то твоя что ж? — спросил Александр Иванович.

— Нешто я вам не сказал? Погуливать начала еще при батюшке. Даром что чахоточная, а собой ничего, такла смазлива была. Ну, а тут как в воду канула и дочку с собой увела. Никакого известия доднесь не получал, где она и что с нею. Может статься, давно и на свете нет. Да мне бог с ней; дочка жаль — своя кровь. Всего-то видел ее однажды; годков двенадцать было бы теперь; звали Сашей. Так-то, сударь вы мой; вольный я теперь казак, один как перст, а легче бы с камнем на шее ходить... Эх, Александр Иванович, — продолжал Саввушка, перемежая тронутый голос на обычный шутливый тон, — до какого чувства довели вы меня — стыдно сказать!

— Нет, Саввушка, нет, хорошо! Если описать все это романтически, замечательная будет история.

— Бог с вами, сударь! Я истинно по душе вам рассказал, а вы все насчет своих сочинений. Нет, уж от этого увольте. Такие ли бывают настоящие истории! Мы люди маленькие, и жизнь-то у нас итичья — без году шесть недель, то есть не насчет лет, а касательно всего прочего. Какие у нас истории! Посмотрите-ка у других.

В это время из беседки вышел прекрасный пол, усадивший там душу чаем, яблоками и орехами, — и хозяйка, желая, по ее выражению, «сделать променаж», предложила публике заняться увеселятельными играми. Большинство голосов склонялось к хороводным песням, сторону же горелок по жмуркам и кумы с зареки-заряницей держали не многие; так, решено было водить хороводы. Почти весь дом высыпал на это зрелище — кто смотреть, а кто принять и нем голосистое участие. И вот развернулся ряд певцов и певиц, заплелся в круг и затянул: «Ай по морю». От «моря, моря синего» поехали в «Китай-город гулять»; потом пошел «царский сын, королев сын круг города ходить»; за ним выступил «донской казак во скрипку играть»; наконец, после «Луная, веселого Луная» дошел черед до «подушечки», самой любовной для молодежи песни, потому что она сопровождается беспрестанными поцелуями. «Подушечка» растянулась до тех пор, пока поздний вечер не расстроил хоровода, и веселая гуляб, обменявшись пожеланиями «спокойной ночи, приятного сна», разошлась по своим квартирам.

— А что, сударь, — сказал Саввушка, идя с Александром Ивановичем во флигель, — не правду я говорил?

— Какую?

— Да с Лизанькой-то вы не пропустили случая поумириться. Небось, к хозяйке так не льнули: эта — не кто другая, разом округит.

— Ах ты, волшебник старый, — смеясь заметил Александр Иванович.

— Смейтесь, смейтесь. Известно, это уж такая игра, да после не вздумайте играть взаправду. Да вот спс, чуть не забыл сказать вам: давеча, как вы подписывали, я заметил, что один-то сапог у вас каши просит. Станете ложиться, швырните его ко мне; к утру я залечу его как следует.

Молодой человек покраснел и признательным взглядом поблагодарил Саввушку, не раз исправлявшего его небогатый наряд.

III

В противополость утверждению Саввушки, у всякого человека есть своя история, с тою лишь разницею, что у одного она изображает собою величие и падение Римской империи, у другого — точно придворная записка однообразных происшествий Среднего царства, у третьего — мирное существование какого-нибудь уездного богоспасаемого городка. Об этом мало написать целую книгу; о другом достаточно сказать: «И только что остался в газетах: выехал в Ростов». Но какова бы ни была эта история, ни в одной не обойдется без бурь и гроз, более или менее опустошительных. Правда, то, что для одного кажется бурей, для другого не более, как обыкновенный порыв ветра; что обесилителает вконец одну душу, то освещает другую. О мнимых невзгодах, выдумываемых несчастным воображением, нечего и говорить: довольно того, что они выдумываются и, следовательно, тревожат своего изобретателя. Но что же сказать вам о жизни наших ближних? Разумеется, и у них была своя история, даже часто случались истории, но такого рода, что ими не стоить занимать ваше внимание, без ущерба для занимательности рассказа мы можем перешагнуть через пять лет вперед.

Самые замечательные события этой минувшей нами эпохи были следующие: Дарья Герасимовна приблизилась, наконец, к цели своих пламенных желаний и питала близкую надежду приковать к себе узам брака одного отставного управляющего, которого прельщало ее благоприобретенное имение, Лавочкин, «живи помиленьку, бога не гневай», обратился в квадратную фигуру с значительною выпуклостью

наперед. Александр Иванович сшил себе новый пиджак и купил каварейку. Другой молодой человек, копавший над бумагами, пересекал куда-то, чуть ли не в больницу, и комнату его занял сапожник-семьянин. Лизанька «расцвела надо-добне розами», по словам Александра Ивановича. Золотариха начала пастенэко прихварывать (впрочем, и прежде она была незавидного здоровья), и муж ее, вероятно с горя, стал чаще напивать. Кажется, и все... Да, Саввушка принужден был купить себе «стеклянные глаза», потому что его собственные отказались служить по пестерам. Может быть, были и другие происшествия меньшей важности, но об них не сохранилось ничего в местных преданиях. Итак, пять лет вперед.

Как хороши в предместьях Москвы весна и лето, так невыносимо скучны осень с зимою. Крутом грязь непроходимая или сугробы такие, что залязешь в них по пояс; живешь точно в берлоге; изредка пройдет по затхлой улице пешеход, еще реже проедет Ванька или чужик с дровами; соседи упидишь разве только в церкви — и словом перебраться некогда. Зато однодомцы придумывают всевозможные средства, как бы скоротать злое время, особенно долгие вечера, и посиделки друг у друга, с рабцою, рассказными и песнями, составляют одно из самых действительных средств против скуки. В богадомском жилище главные собрания бывали бочущею частью у хозяйки, потому что просторная комната ее представляла значительные удобства для посетителей, да и сама она, чая желанного брака, любила слушать свадебные песни, в которых восхвалялась ее «девица краса» и «кудри русые» ее будущего суженого. Из жильцов флигеля только один Александр Иванович иногда навещал эти собрания, и непременно с книжкою или тетрадкою стихов; прочие же вели себя особняком: Саввушка потому, что не любил «мешаться в бабьи компании», золотариха потому, что считалась как бы отверженною от такого благородного общества, а маленькую Сашу и калачом трудно было поманить туда. Обыкновенно Саввушка, когда не случалось спешной работы, приходил к золотарю покалякать часок-другой.

— Здорово, отец! — крикнул он старику, почти все время проводившему на печи.

— Здорово, родной! — отозвался слабый голос. — Что принес калачика?

— А вот пойду в лавочку, так привесу. Погоди маленько.

— Ох-хо-хо, грехи мои тяжкие! Все меня забыли. Не покинь хоть ты-то, кормилец. Бога за тебя помолю. — тоскливо говорит старик, у которого мысль о Саввушке была нераздельна с калачниками.

Утешив как-нибудь старика, Саввушка заводит речь с козявкой, если золотаря не было дома.

— Ну что, матушка Анна Федоровна, как твоё здоровье?

— Плохо, Саввушка: все грудь заваливает. Думала лечь в больницу, да на кого покинешь дом?

— И хорошо сделала, что не легла. Разве такая у тебя болезнь? Известно, не слеплая, а простуда. Напейся чего-нибудь горячего на ночь, укутайся хорошенько, а то вином бы с перцем натереться.

— Чего я не шила, легче нет нисколько. Так я давит. Нет, видно, ненадежная я жилища на сем свете.

— Господь с тобою! Не грех ли говорить такие слова! А что, сам еще не приходил?

— Нет, понес в город работу.

— Не загулял бы опять. Это всегда с ним бывает: степенствует, степенствует, и вдруг словно кто прорвет его.

— Да, больше месяца как он не шил.

— А теперь разом напнется за все дни. По мне уж лучше шить аккуратно. Я сам, грешный человек, лью: этак, по рюмочке, по две, оно не мешает; перед обедом пользительно даже, можно сказать... Ну, а эту несзгоду, что мучается он, я сам прежде знавал. Доктора говорят, что болезнь такая. Врут, сударыня ты моя, с позволения сказать: не болезнь, а дьявольское наваждение. Вот, отслужила бы ты три молебна.

— Служила я, всем святым угодникам молилась, — не проносит бог.

Глубокий вздох сопровождает эти слова, и Саввушка спешит переменить разговор, обращается к девочке:

— А ты, Сашуточка, училась сегодня?

— Училась и перчатки шила.

— Так завтра и тебе докружков каких принесу, чудо! Ну, поцелуй же меня, да и прощай.

В таких или подобных разговорах проходила большая часть вечера. Иногда Саввушка занимал свою любимицу сказками, иногда экзаменовал ее знания в чтении, иногда беседовал с золотарем о старине. А время шло себе да шло...

Здоровье Анны Федоровны худело более и более. Злая болезнь, что точила ее сперва, как червь, стала грызть потом, как голодный волк. Лекарства не помогали, домашние огорчения тяжелым камнем падали на истомленное сердце, сушили и без того изнуренную грудь. Муж пил уже не с пережжками, а просто мертвою чашкою, и почти не жил дома, показываясь на день, на два, чтобы протрезвиться и пригрозить жене, которая, по его словам, притворничала и была причиною всех бед. И работал он большею частью на сто-

роне, где неделя, где день, помогая мелким хозяевам, и из заработанных денег редкая копейка попадала домой... Не получая несколько месяцев платы за квартиру, хозяйка привела, наконец, в исполнение одну из своих обычных утрот — два дня не давала дров, — и без просьбы Саввушки, переменявшего ее гнев на милость, худо было бы с бездомной семьей, принужденной, чуть ли не в двадцать градусов мороза, сидеть в неотапливаемой комнате, стены которой промерзли насквозь, в окна дуло, из-под полу несло, да и теплой одежды к тому же не было почти ни клочка. Через два дня горюхи истопили, но на большую эта побудительная мера все-таки подействовала сильно, да и старик, привыкший к горячей печке, тоже захворал. На беду и лавочник решился последовать примеру хозяйки для скорейшего получения долга: объявил, что не станет отпускать без денег ни на копейку, и решение его было неоспоримо, так что не только варена — сухого хлеба сплошь и рядом не было бы у горемык, если бы не Саввушка, который делился с ними крохами своих скудных заработков.

Наступало рождество. Золотарь с неделю глаз домой не казал. Для удовлетворения неотступных требований хозяйки Анна Федоровна распродали кое-какой домашний скарб и уплатила ей часть долга; остальные деньги пошли на необходимые домашние расходы, и после первых дней праздника бедная семья принуждена была опять постыться. Саввушка и рад бы помочь, да нечем: работа к празднику была незавидная. Занять более не у кого, продать и заложить нечего... Перебирая в уме все средства, какие помогут бы ее безвыходному горю, Анна Федоровна вспомнила, что у ней есть дядя-богатый, тысячами ворочает. Правда, что он звалил ее еще молодой девушкой, и с того времени много воды утекло; да что стоит ему от своего богатства дать племяннице для праздника какую-нибудь красную ассигнацию. «Прежде он был такой добрый, я помню, гостинцы мне всегда покупывал». И она уже рассчитывала, сколько дней можно будет прожить на подобие от доброго родственника... Придела Сашеньку, надеясь видом малышки тронуть его сострадательность, и пошла за Москву-реку.

Но где тонко, тут и рвется. Богатые дядюшка, помогающие бедным родственникам, встречаются не каждый год. Последняя надежда Анны Федоровны, как можно было предвидеть, лопнула. С заплаканными глазами, дрожа от холода и душевного горя, воротилась домой бедная женщина. Саввушка ждал ее.

— Что, голубушка ты моя, чем надеялся тебя дядюшка, золотом или серебром?

— Попрекажи да приказициями, чтоб я не смела казнить ему на глаза; а то, говорит, зело выплата, — отвечала Анна Федоровна сквозь слезы.

— Я это знал допрежде. Только расстроил он тебя, разбойник такой.

— Стал колоть глаза, поминать про старое. «Ты, говорит, опозорила наш род, не знай же моего порога...» Помогите хоть для своей внучки, говорю я, они хуже сироты, подайте, как подаете нищему, ради Христа... Сама заплакала. А он мне: «Слушай, говорит, по миру, тогда подам милостыню». Бог ему судья.

— Э, да что плакать-то, уж это известный народ! Прах поberi его и с богатством! Прости, господи, мое согрешение. Дом-то раззолотил, я чай, словно граф какой, на тысячных рысках катается, а жаль бросить родной племяннице десять рублей.

— И жить-то он пошел от покойного моего батюшки, — продолжала Анна Федоровна, рыдая, — теперь все забыл.

Да брось ты его совсем. Что крупишься без толку? Ложись-ка лучше, сударыня ты моя, спать да оденься потеплее. Вишь, как разгорелась: не простудилась ли опять. Ну, Христос с тобой! — сказал Саввушка, пренесясь с горемнышкой.

Завернув к ней утром на другой день, Саввушка испугался проксидней с ней перемены.

— Матушка ты моя! — вскричал он. Да на тебе лица нет. Краше в гроб кладут. Что с тобой?

— Ничего. То в жар, то в озноб бросает, — отвечала она слабым голосом.

— Так напейся поскорее малинки, да и ляжь. Верно, простудилась, как ходила к этому жидомору. Вот пока четвертак; Саша сходит в лавочку. А мне надо идти работу; если ворочусь скоро, так нынче же сбегаю к нашему частному лекарю; он добрый человек. Пока прощай. Смотри же, пролостей хорошенько.

Однако, сверх ожидания, хлопоты с заказчиками поддерживали Саввушку до вечера, и, когда он пришел домой, вся Божедочка уже спала. Заглянув в окошко к золотарю и уверившись, что там все спокойно, он пробрался в свою светелку и лег. Около полуночи стук в двери разбудил его.

— Кто тут?

— Я, Саввушка, — отозвался голос рыдавшей Саши, — пооди поскорее, голубчик, к нам: маменька умирает совсем. Вдруг закричала: смерть, смерть моя! — да и замолчала, не шевельнется даже. Пооди скорее.

Накинув на себя что попало, Саввушка поспешил за Сашей. В комнате золотаря было тихо. Месяц глядел в окно, и

при свете его Саввушка на цыпских подоплех к больной и стал прислушиваться к ее неровному дыханию. Она лежала в забкты; освещаемое бледно-синими лучами месяца, лицо ее было точно мертвое; по временам вырывался у ней бессвязный, едва слышимый бред. Постояв несколько минут, Саввушка воротился в свою каморку, принес оттуда огня и засветил лампаду перед иконами. Большая открыла глаза.

— Что это, светает? — прошептала она, смотря кругом.

— Нет еще, матушка ты моя, спи себе с богом. Это я зажег лампаду: ведь завтра воскресенье.

— Григорий Кузьмич пришел?

— Нет еще. Да что тебе нужно?

— Тошно мне. Душа с телом расстанется. Святых тайн хотела бы я причаститься, если сподобит бог.

— Что ж, это можно: христианское дело, и здоровому спасение приносит. Да только с чего же вздумалось тебе, хворушка ты моя?

— Ах, Саввушка! У меня словно что оборвалось в груди. Вот здесь давит тяжело. Я чувствую, что час воли божией пришел. Я видела смерть, она ждет меня. Сходи же, родной, Христом богом молю тебя, не дай умереть без покаяния... Скоро заутреня; как отойдет, и попроси батюшку сюда.

— Попрошу, — отвечал Саввушка, не зная, чем утешить больную, и не понимая такого быстрого перехода от жизни к смерти.

Саша со слезами бросилась к матери и припала к ее груди.

— Маменька, дунечка, не умирай! — лепетала она, осыпая ее поцелуями. Разве не хорошо тебе здесь? Тятенька не станет больше обижать тебя. Я всегда буду слушаться... Мамаша, голубочка, красавица! С кем же я-то останусь? И тятенька будет плакать. Лучше я умру за тебя, мамочка, милочка!

— Ох, дочка, дочка, сердечная ты моя, — грустно произнесла больная, — авось, бог и добрые люди не оставят сиротку; божия мать будет твоею заступницею. Помолись ей, Саша.

Девочка стала на колени и сквозь слезы, полупшепотом начала читать молитвы, заученные от колыбели. Тихо вторила ей мать, набожно крестился Саввушка и не чувствовал слез, что катились по его щекам.

Когда Саша кончила молитву, больная вслепа ей подать икону из кноты и благословила ее. Дрожащий голос матери заглушался тяжелыми рыданиями без слез, призывая на малютку благословение свыше. «Этою иконою благословляла и меня покойница-матушка. Она у нас родовая. Береги

же ее, Саша. Молись претистой заступнице. Будешь доброю, и она никогда не покинет тебя; станешь вести себя дурно, бо-
жия мать отвертит от тебя лик свой. Ох, дочка, дочка,
крюпечка ты моя! Подрастаешь ты, скоро должна будешь
жить своим разумом, увидишь много и хорошего и дурного,
но будь всегда чиста, не потеряй себя. Понимаешь, Саша?
Успокой меня, скажи.

— Понимаю, маменька, — робко отвечала девочка; —
я всегда буду чиста. Только не умирай, родимая, поживи со
мною хоть годочек. Мамочка, не умирай!

И Саша залилась слезами горше прежнего, и опять бро-
силась целовать руки матери, тоскливо прижимая их к своей
грудь.

О господи! Хотя бы за мои-то грехи ей не отпечать,
промазала больная, как будто думая про себя. — Пятнадцать
лет... Дошли ли до бога мои грешные молитвы.

Рыдания заглушили ее рыос. Успокоившись через не-
сколько мгновений, она продолжала:

— Еле, голубчик Саввушка, есть просьба до тебя.
Я вряд ли увижу Григория Кузьмича... глаза мои закроются
без него. Скажи, чтоб он простил меня: я много огорчала
его. Еще скажи, что даст он большую отраду грешной душе
моей, если поддержит себя. А больше всего прошу, чтоб он
не кинул меня, не довел до смерти, чтоб дочка его не умерла.
Ты знаешь, откуда взял меня Григорий Кузьмич, теперь языки
не повернутся сказать. Вещи свои: не носила даже платно,
вытеревшая из-за него столько горя и обиды, что разве одному
богу известно! Скажи же, Саввушка, чтоб он не кинул
родного детища. Ох, тошно как! Без меня будет расти она.

— Да будь спокойна; матушка ты моя, — сказал Сав-
вушка, стирая слезы; — скажу все, и сам не оставлю Сашу.
Видит бог. Успокойся же, если тебе как будто крошечку по-
легче стало.

В самом деле, глаза больной загорелись лихорадочным
огнем, на щеках заиграл зловеющий румянец: появились все
признаки, которыми смерть украшает свою жертву, заставляя
думать, что жизненная сила снова взяла перевес. Но через
несколько же минут воцарились чувства и продолжительное на-
пряжение опять обессилили больную; в изнеможении опусти-
лась она на постель, произнесла несколько несвязных слов и
скоро, по-видимому, забылась сном.

Саша прислушивалась к ее дыханию, наклонилась к из-
головью и, тихо плача, тут же уснула. Саввушка прикорнул
было на лежанке, но ему и сон не шел на ум. Тяжелый вы-
дался ему денек, а тяжелее всего были думы, что вызыва-
лись окружающими предметами.

Мудреное дело смерти! Дума наша за горами, а она за плечами, приходит нежданная, незванная, не разбирая, вторю или нет, здоровый дуб или чахлая былинку полсечет ее коса... Зачем умирает тот, чья жизнь необходимая для подпоры беспомощной дочери, и остается на белом свете старик, который тяготит всех и, наверно, был бы в тягость самому себе, если бы понимал, как живется ему? Так ли, Саввушка? А ведь бог строит все к лучшему; здесь-то что же? Подумай-ка попужбе. Много ли радостей в своей жизни знала бедная женщина? Молодости она почти не видела; красота да воля стубили ее в первом цвету под самый корешок; судьба бросила ее и омут, откуда никто не выплывает, не поплававшись несколькими годами жизни, а иногда и целым веком. Нашелся добрый человек, который не задумался назвать ее своей женой; не задумались и добрые люди колоть ей глаза прежним несчастьем, унижать прошлым позором. Служил, служил муж людские толки, начал и сам давать им веру. Жизнь несчастной обратилась в пытку. И дочь-то недолюбливали по матери: вся в пес, доскаты, будет, яблочко от яблонки недалеко падает. Стало быть, не видела умирающая почти никакой ограды на сем свете: так не лучше ли ей переселиться в иную жизнь, где «нет ни печали, ни воздыхания»; не легче ли ей будет там, нежели здесь, в борьбе с нуждой, под гнетом горя, в тревожном опасении за будущность дочери? Да, одна гробовая доска может успокоить ее; больная чувствует это и встречает смерть без страха и ропота. А сиротка, что остается после нее? Ее, горемычную, какая ждет участь? Участь наша в руках божьих, и не угадаешь ее вперед. Конечно, родная мать не два раза бывает; жизнь без нее, что цветку без солнца. Но верно то, что ни бог, ни люди не оставят сироты без призрения: ты первый, Саввушка, хотя и маленький человек, разделавшись с нею последний кусок хлеба, утешись ее горе, остережись от беды.

Много подобного передумал Саввушка и до того углубился в мысли, что не слышал, как раздался вдали благовест к заутрене.

Больная открыла глаза.

— Саввушка, отец родной, пора! — сказала она умоляющим голосом. Сходи же, попроси батюшку со святыми дарами сюда...

Саввушка постоял несколько минут, собираясь сказать что-нибудь в утешение больной, и, не придумав ничего, перекрестился и вышел из комнаты.

Через два часа служитель веры напутствовал больную в жизнь вечную, а к вечеру она отдала богу душу.

Горько плачет Саша, сидя у ног матери и как будто

ожидая, не встанет ли она; старик, отец золотаря, кладет земные поклоны перед образами, молясь вслух об упокоении рабы божией Анны; Саввушка протяжно читает псалтырь; женщины хлопочут о приготовлении ее к погребению. А та, о ком льются непокуные слезы, за чью душу воссылаются усердные молитвы, для кого в последний раз волнуется житейская суета, — она покоится сном непробудным, достигнув, наконец, тихого пристанища... Смерть примирила усопшую с живыми, положила забвение на все прошедшее; суд ближнего над ближним умолк, но крайней мере на время смиряясь перед непреложным голосом суда загробного, не смея произнести ни слова перед толпой, в котором, казалось, еще не остыла жизнь; суд этот сменился братским желанием партия небесного отошедшей с миром.

Наступает ночь. Окончив погребальные приготовления, соседки расходятся по своим квартирам; утомленная бессонницей, Саша засыпает; старик спать впадает в забытие; один Саввушка остается бодрствовать, перемешая чтение псалтыря молитвами за умершую. Лампадка перед иконами и восковая свеча перед чтением едва бросают слабый свет...

В это время отворяется дверь, входит неровными шагами золотарь и, едва переступив через порог, грозитя выместить на жене какое-то огорчение.

Не прерывая чтения, Саввушка молча указал ему на гроб. Несчастный муж не вдруг опамитовался и продолжал кричать, но едва озарил его луч рассудка, пятаясь, подошел он к умершей, несколько минут смотрел на нее и, наконец, с глухим поплем ушел у гроба.

Спусти немного после похорон Анны Федоровны все пошло по-прежнему. Смерть ее произвела временное впечатление, и, когда оно миновалось, жизнь вступила в свои обычные права. Золотарь, на которого впечатление это, конечно, должно было подействовать сильнее, чем на других, дал было страшный зарок и не смотреть на хмельное. «Буду жить для моей Саши, — говорил он, — не заставлю покойницу плакаться на меня, что стубил дочь, как звал ее век, моей голубушки».

И точно, месяца с два он был столько же добрый отец, сколько и усердный работник, и благодаря своему прилежанию расплатился почти со всеми долгами.

Но тем и кончилось доброе начало. Раз как-то, вспомнив про жизнь свою с покойною женою, он расчувствовался до того, что счел необходимым зайти свое горе; потом, в оправдание преступления зарок, нашлись другие причины, а наконец, и причин не стало более нужно, и обратился он на прежнюю стезю полупомешанного. Миготм закружился он и,

бросив хозяйство, пошел олять в работники к такому же горе-мыке, каким сделается сам. Сашу же до времеза взял к себе Саввушка, потому что все родные отказались от сиротки.

IV

«Эх, не живется людям-то на одном месте, на теплом, насиженном гнезде! Тесно, что ли, здесь или недостает чего? Так ведь здесь Москва, не другой какой город. Эх, Александр Иваыч! Кажется, не глупый человек, а вздумал журавля в небе ловить. Ну, зачем ты идешь лотитай на край света? Жалованье, говорит, большое дают, прогоны вперед, чины через три года. А на что тебе большое жалованье? Сыт, слава богу, и тем, что получаешь. А на чины-то ради чего лестишься? И без чинов ты хороший человек, а благородный само по себе, никак уже три раза офицер. Ей-богу, досада и тоска берет, как подумаешь, что это случилось с народом-то, с молодежью-то. Ведь вот сколько лет, никак уж тринадцать, живу я здесь; пора привыкнуть ко всякой дощечке, не то что к человеку; а старые-то знакомые, как на смех, и разъезжаются все по разным сторонам. Ну, кто останется со мной? Один Васильич — ему где ни умереть, все равно. Нет ни Петра Евстигнеича, ни Дарьи Герасимовны, ни Кузьмича — этих бог прибрал; Саша... да что и вспоминать про нее, лишь сердце растревожить. Пора, однако, чай, часов одиннадцать уж есть».

Эти мысли, частью вслух, частью про себя, думал Саввушка в одно летнее воскресенье, когда он собирался идти к Сухаревой башне — пролгать «рязные старые погудки на новый лад», то есть кое-какое старье из платья, привнесенное в возможно исправный вид его плечо.

Благодаря своим прибауткам и баласам Саввушка скоро распродал весь товар до последней литки и, довольный такою удачею, решил зайти в одно заведение, где продавались разные подкрепительные средства. Минут через пять он вышел оттуда почти в полном довольстве своей судьбой и забыл о недавних жалобах на нее.

Несмотря на то, что полуденный жар уже свалил, солнце еще сильно пекло. Подкрепив свои силы однажды, Саввушка счел не лишним подкрепить их в другой раз, только каким-нибудь прохладительным напитоком, разумеется, не водою и не квасом. Выбор места для отдыха колебался между двумя заведениями: одно, известное под именем «Разграбы», находилось у самой Божедочки; другое, с скромным прозванием «Старой избы», лежало ближе к Сухаревой башне, на Самотеке. Хотя в первом Саввушка был знакомый покупа-

тель, но, вспомнив, что буфетчик Разграбы как-то на днях не поверил ему семи копеек, он выбрал Старую избу.

Старая изба, действительно, заслуживала свое грозное и снаружи была немножко лучше деревенской лачуги. Но украшавшая ее казистая вывеска, на которой по сплеме полю ярко блестела золотая надпись: «Распивочная продажа пива и меда», а самые напитки были представлены бюкцими пеной из бутылки в стаканы, — вывеска эта сейчас приводила на память старинную поговорку, что красна изба углами... и веселые песни, которые неслись из заведения, раздаваясь на половину улицы, не оставляли никакого сомнения, что Старая изба любит трихнуть костью на старости лет и мастерица раширивать сердца своих гостей.

Савлушка вошел в желанный приют, уже наполненный посетителями. Отжидав себе укромное местечко, едва он сел за стол, как вдруг подскочил к нему русский гагзон, смеленное лицо которого много обещало для искусства торговать и шутковать, и бойко спросил:

— Что угодно, купец?

— Да бутылочку бы холодненького, знаешь, этак покрепче, озпечал Савлушка.

Мальчишка скользнул и мигом воротился с бутылкой ленистого чапикта в одной руке и гидросом, на котором торчали стаканы и блюденки с сухариками, — в другой, поставил их на стол и, очень эффектно стукнув бутылкой, пришепнул: «Самое дупнее, бархатное!» — и шмыгнул в сторону для дальнейшего отправления своей службы.

Освежив горло и оценив достоинство чапикта вторым стаканом, Савлушка осмотрелся кругом. «Лавочка-то, — подумал он, — не чета Разграбе, да и Панфиловской не уступит, и пиво хороше».

О достоинстве последнего мы не можем сказать ничего достоверного; а лавочка, в самом деле, была очень хорошая в своем роде. Правда, что она была изрядно закопчена, мебель в ней носила следы уж слишком патриархальной простоты, а скудный свет падал в нее через полуразбитые окна, но какого же света еще требовать, когда «свет мой» — улыбающаяся бутылка на столе, а прозрачный стакан ожидает, чтоб наполнили его, возвеселили животворною плягой ум и разогрели сердце! Впрочем, и украшений было немало в Старой избе. По стенам, когда-то выкрашенным желтой краской, висело несколько нарядных картин вроде «мытарств грешной души»; рядом с ними грустно смотрели из полинялых рам какие-то портреты, и которых изображение хотя и находило Румянцева и Потемкина. Но, улыбаясь сердцем при виде тех и других изображений, посе-

тител Старой избы с особенною любовью останавливались перед любочною картишкою, представлявшею несколько усердных питухов, с красноречивою надписью:

Пиво сердце веселит,
Пиво старых милует!

На заднем плане в другой половине заведения виднелась на стене декорация, изображавшая «романтическое местоположение» и нарисованная, вероятно, кистью «Ефрема, ... доминиканца ... маляра», ... кудрявый ... на ... деревнях ... тили ... райские, волшебного шопла, ... в какой страдальцы ... походят на бараров. Там же же, по краям ... море, существовавшее укрупнение и самый видный предмет в заведении составлял буфет, установленный множеством стазанов и стопок. За ним присутствовал сам хозяин — толстый мужчина, с черной бородой, ласковой улыбочкой и плутовскими серыми глазами, в красной рубашке, постром ситцевом фартуке, с огромным ключом на поясе и в связках со скрипом. У буфета сосредоточивалась основная деятельность заведения: сюда шли требования посетителей, и отсюда удовлетворялись они. Три взрослых парня едва успевали разносить бутылки и снимать со столов опорожненные, которые немедленно сдавались в медник разлишки для наполнения и поступали снова за буфет. Но, несмотря на сжигнутый откуп и прием напитков, на беспрепятственную получку и сдачу денег, буфетчик лозийским глазом зорко следил за общим ходом торговли в заведении и наблюдал, чтобы все посетители оставались довольными, были угощены, как говорится, до самых до усов и до бороды. То раскланивался он с гостями, приветствуя кого просто «нашим почтенным», кого почтенным «и походом», то есть шажайшим, кого сударем, иного графчиком, другого купчиком; то живо покрикивал на своих помощников, чтобы «не зевали, сморгали глазами повеселее, да в оба, а не в один»; то удерживал прихотливого, но почтеного покупателя обещанием подать «самого лучшего, мартовского» и стыскавал ему спокойное место, «на самом веселом положении»; то доказывал захмелевшему гуляке, что «его милость» должна заплатить не за две, а за четыре бутылки; то производил какие-то операции над питиями, переливая их из одной бутылки в другую, — словом, это был Аргус по своей жоркости, держи ухо востро насчет всего прочего, себе на уме касательно благосостояния собственного кармана. «Шельма продувная должен быть буфетчик, а с виду хороший человек», — думала Салдушка, продолжая осматриваться.

За столами, только не дубовыми и без браных белых скатертей, сидели многочисленные посетители, наслаждаясь

взаимною беседою, разговором с бутылками и оглашая заведение песнями. Везде говорили или гудели, пели или курныкали, и все эти звуки сыпаясь в один неопределенный гул, среди которого по временам господствовали громкие возгласы буфетчика или песенное «коленце» какого-нибудь парня. Гости представляли смесь одежд, лиц и даже состояний; но по числу и голосистости первенствовали мастеровые, временными соперниками их являлись извозчики и изредка подмосковные мужички.

За большим столом, по средине заведения, установленным целую «кришью» бутылок, заседала артель портных, народа веселого и гулливого. Что это намерно были портные, Саввушка не мог ошибиться: один из них пеголял в модном скюртчке, но только без приличного нижнего платья; у другого торчало за ухом несколько шелковинок; третий отличался чересчур «галантерейным» черт возьми, обожждением; а все вообще были такие характерники и артисты, что любой годился бы в труппу бродячих комедиантов. «Молодышка, — думал Саввушка, глядя на своих собратий по иголке, — жидки больно, не то что в наше время; а удаля есть, ей-богу есть, ведут себя с поведением», и он с любопытством начал прислушиваться к их беседе.

— А что, братцы, платить ли нам за пиво? — спросил один из сабутыльников, отличающийся чрезвычайно косматой прической и огромными усами, которые, при малом росте его фигуры, придавали ему не очень казистый вид.

— Ай да черес! Эку пудю отпил! — возразил другой, с более степенною паружинистью. — Небожь, Михаил Михайлыч не промах, сам с забористым перцем; у него и последний скюртук оставишь за бутылку, а не то бутарей позовет на расправу.

— Зачем бутарей? Он еще свою четверть поставит, только лишь, батюшка, ступай себе с богом, не заводи ссоры, — продолжал черес с уверенностью.

— Полно морозить, ахинею с маслом пессшь, — заметили несколько голосов.

— А вот увидите. Будь пока по-вашему. Хватим-ка, ради скуки: «Полно нам, ребята, тужо пиво пить». Ты, Баушкин, запевай, а я буду держать втору. Ну, дружок!

Громко раздалась веселая песня и покрыла собою общую разноголосицу. Под конец ее черес куда-то ускользнул, но скоро воротился на прежнее место.

— Теперь надо горло промочить. Ну-ка, по стаканчику! — молвил он, принимаясь за объемистую бутылку.

Собеседники выжили и не поморщились; но сам разливатель едва поднес стакан ко рту, в тот же миг плюнул с отвращением и громко крикнул:

— Эй, буфетчик Михал Михалыч, пожалуй-ка сюда!

Вместо буфетчика на зов явился один из служителей, и черкес накинул на него.

— Нешто ты можешь подавать такое пиво? А? Нешто так водится? А? — твердил он ему, показывая стакан. — Разве приказано вам морить людей? Разве пойдет это кому в душу? А? Да от этого и ноги прогнешь кверху. Ах вы мошенники! Живых людей морить хотите!

Оторопелый пареня только и повторял в свое оправдание:

— Помилуйте, почтеннейший! У нас пиво хорошее.

Но черкес горячился более и более, так что соседние с портными посетители обступили их.

На крупный разговор подбежал и сам хозяин.

— Что за шум, а драки нет? — спросил он.

Черкес выразительно поднес стакан к его лицу. Буфетчик разглянул и, с ужасом, увидел, что в драгоценном канитке плавали кое-какие заплесневелые насекомые.

— Солонину из них, что ли, солить? — продолжал портной. — Разве таким товаром вы торгуете?

— Это по ошибке, недосмотрение разлищика, — произнес буфетчик в смущении, — у нас пиво первый сорт. Как перед богом, по ошибке; ввалились как-нибудь сами, без позволения.

— А холера по ошибке бывает? А? А человек по ошибке умирает, по ошибке душу свершит? А? Нет, Михал Михалыч, у добрых людей так не водится. Гляди-ка — в бутылке-то этого товару не оберешься. Спасибо! Ну, если кто из нас, не здесь будь сказано, захворает? Кто тогда в ответе, кого потипут? Ведь тебя, голова ты с мозгом! Что, Михал Михалыч? Ведь здесь свидетели есть; никто душой своей не покривит.

— Помилуйте, господа, — смиренно заметил буфетчик: — пиво можно переменить. Эй, Алексей! Пацеди князьям четверть Александровского из иконника. Это будет мии-с, во уважение вашей милости. А насчет такой оказии не беспокойтесь, уж сделайте милость, оставьте эту канитель! Бросьте, да и вся недолга.

Но черкес очень основательно доказывал, что это дело не плевое, не шуточное и пахнет не одним четвертью; что если поехать его как следует, так, пожалуй, и двух ведер мало; известно, привязка будет; то, се, пятое, десятое, а карману все изъезд да изъезд; а слава-то какая про лавочку пойдет...

— Да уж извольте, все угощение мое, копейки с вас не возьму, — сказал, наконец, буфетчик, побужденный юридиче-

скими доводами черкеса, которым поддакивали прочие портные, — только бросьте эту пискливость. Я всегда с истинным моим уважением к вам, всякое списхождение делаю... так уж, пожалуйста!

После нескольких возражений и переговоров мировая была заключена с помощью новой четверти, и, разглаживая свои усищи, черкес победоносно спросил у артели:

— Что, ребята?

— Любим мы тебя сердечно,
Будь начальником нам вечно! —

затянул вместо ответа один из портных, и артель хором подхватила общее выражение благодарности к ловкому шуткарю.

Спустя несколько минут, когда мировая четверть была осушена, черкес опять повел речь:

— Слушайте, ребята: атаман говорит. Знаете, какой я человек: на плута сам прежженный плут, десятиртых проведу; на доброго человека — совесть есть. Что ж, нечего сказать: Михалом Михалычем мы довольны навсегда: и на похмелье даст, и грамоте учиться какую хонь вещь возьмет. Слушайте: отшутил я шутку — и basta! Прусаков поймал я здесь, за печкою — там их тьма тьмущая. За пиво мы расплатимся по чести. Сегодня покутим, триicken бир и шнапс; завтра Сепрюга заложит пальто на похмелье, а потом марш в Марыну роцу. Прости, Москва, принят родимый! Прочь, народ! Раздайся, расступись: портные гуляют! Михаил Михайлыч, пожалуй-ка сюда!

И черкес добросовестно объяснил свою продолку буфетчику, который, поглаживая бороду и боемиваясь, напомнил себе на память, что в другой раз на подобную штуку его уже не подденут.

«Славно сыграно», подумал Саввушка, весело потирая руки, и спросил себе другую бутылку.

Между тем портные продолжали отличаться. Не довольствуясь локальною музыкою, они устроили инструментальную, причем блистательно выказалась их изобретательность. Черкес ухитрился посредством двух чубуков подражать звукам скрипки, Башкин высвистывал губами вместо флейты; Сепрюга начал выводить дикийвинные тоны, ударяя ложом по пустой бутылке; поднос заменил бубен; один искусник затрубил в кулак, другой забарабанил по столу, — и импровизированный оркестр, на диво всем, заиграл польку триблина (tremblante) и выделял такие тоны, что у одного посетителя зачесались ноги, и он пустился в пляс.

— Ну, хоть не складно, да ладно, — сказал черкес по окончании польки. Теперь пьяный галоп. Башкин, начинай!

Оркестр задудил, а черкес, шилакан лубуком, качал припевать:

Настоечка простая,
Настоечка двойная,
Настоечка тройная,
Настоечка транная,
Настоечка славная,
Светлейшая,
Чистейшая,
Славнейшая,
Утешительная,
Прохлаждительная,
Горячительная,
Очищатьелая,
Усыпительная,
Разморительная,
Равнительная!..
Чарочка мне!
Рюмочка мне!

— Дружбой, ребята! Разом последнее коленце!

Едет чижик в лодочке,
В адмиральском чине:
Вильем, вильем водочки
По этой прищипке!

Башкин, с своей стороны, также захотел выкинуть коленце — для удовольствия почтеннейшей публики съесть стакап, но сотоварищи удержали его от этого опасного фокуса, и он ограничился несколькими опытами «геркулесовской силы». В заключенные спектакля портной прогнал целую французскую кадрыль с полным стакапом на голове, не пролив ни капли.

«Отличная лавочка, дурно требовать нельзя, — заключил Саввушка, немого извождя: — коли идешь сюда, так уж мое почтение, оставляй горе за порогом, а кручину пускай на востер. И народ какой разухабистый — разном! Только, я думаю, пашет кулака то не стойки», — рассуждал он, искренне желая, чтобы завязалась какая-нибудь потасовка, по которой можно было бы судить о физической силе современных портных. Но, к прискорбию его, потасовка не состоялась, и портные продолжали мирно везелиться. «Нет, у нас водилось не так, не то было, без синяков ни одна покойка не кончалась», — продолжал думать он и мысленно перенесся во времена своей молодости. Не цветущей прошла она, забубенная, нечем помянуть ее добром; да сердце-то было какое, тоже кое что чувствовало; сего-то не воротить, не забурлит кинитком горячая кровь... Эх, молодость, молодость! Прокатилась ты ни за денежку!.. И задумался Саввушка, и скло-

нил отяжелевшую голову на руку, и дал волю воспоминаниям, потому что вперед-то смотреть было нечего и не пахло...

— Что пьешь один? Угости-ка стакачиком, — проговорил вдруг чей-то голос над самым ухом его.

Саввушка поднял голову. Рядом с ним уселось какое-то существо, которое потому голыми руками было принять за женщину, что голова его была повязана пестрым платком, в ушах висели серьги, а с плеч спускалась длинная красная шаль. Он потросительно поскрипнул на это существо.

— Ах не признаешь своих? — продолжала красная шаль. — Попотчуй-ка и познакомимся покороче.

— Проваливай, матушка; ищи молодца го себе. Староек я, — отвечал сквозь зубы Саввушка.

— Что ж, и старше тебя бывають. Угостишь, что ли?

Саввушка с досадой махнул рукой, и красная шаль исчезла, подарив его каким-то приветствием, которого за шумом нельзя было расслышать.

Распростерный среди своих дум этим явлением и желая повести себя на привычную стезю, Саввушка несколько потребовал еще бутылку. Но красная шаль не вдруг вышла у него из ума и расширившая не одну мысль. «Ведь тоже была молодца, — думал он, — может быть, и собой не дурна, наряжалась барышней, в шляпках пеголела, а об таком месте и подумать боялась... Чай, былл отец с матерью, родные какие-нибудь, и заведут сироты. Чего-ж он сам дурачился? Да может статься, выросла одна-одинехонька, неужли было приютиться сироте... Спросить бы у него. Не скажет. Бывало, что стала теперь один образ человеческий, и то истонный... Отчего же это?»

Но вопрос этот остался не разрешенным; не помогая ему, даже и прием свежого напитка, — и опять забродила в голове жидкая веселость, как было за несколько минут тому... Осмотрелся Саввушка кругом — портных уже не было в заведении. Место их за большим столом заняли с одной стороны трое угольников, протиравших глаза выторгованному сегодня барыню, с другой — господин, чрезвычайно учтивый, жестикулирующий, с длинными волосами, который можно было принять за олицетворенного Сизена. Господин пил тонко и жадно, в молчании, как будто приносил жертву. Бахусовых пыхтя и отдуваясь при каждом стакане; мужички болтали, растабарывая между собою самым задушевым образом. Беспременно слышались восклицания вроде следующих:

— Ватюха, брат...! Ведь ты е-й-богу, тово! Мотрай, не перешибись. Баба-то больно заплеская!..!

— Дядя Анто, и не говори: дохлято я, лиходея (себя)...

— Слышь, голова: поделуемся. Вот-те Христос, как я тебя люблю! Право слово!..

За окривевною беседою последовали усердные лобызания, и дружеский союз был скреплен новым паром пива. Потом все трое затаили что есть мочи самую раскатистую тишину. Это умиротворенное зрелище изъятий дружбы приятно заняло взволнованного Саввушку.

Место убитанного господина скоро занял какой-то человек с измощенной наружностью, неизвестно какого звания, сомнительных лет и в неопределенной одежде, которую можно было назвать ни сюртуком, ни халатом, ни чуйкой, ни пальто: до того была искажена она лохмотьями. Охриплым голосом потребовал он себе стопку пива и трубку табаку.

— А деньги есть? — против обыкновения и не очень вежливо спросил служитель.

— Как ты смеешь мне это говорить? — гневно возразил посетитель. — Ты подай, что приказывают, а не раскушдай.

— Так не подам же, — репительливо признал мальчишка. — Знаем мы тебя: на даровщинку любишь. Покажи деньги, и подам.

Вероятно, зная по опыту, что дальнейшая настойчивость будет бесполезна, неопределенный человек разжал кулак, в котором скрывалось несколько серебряной мелочи и медных денег, и с гордостью показал их служителю-скептику.

— А, видно, месячное получаешь, — произнес этот последний, тряхнул кудрями, и через минуту желанная стопка вместе с трубкою явилась к услугам гостя.

Запьем осушив стопку и жадно затачившись табаком, неопределенный человек начал считать свою казну и распределять бюджет предполагаемых расходов: «Хозяинко полтинник, за подметки три гривенника, жилетку выкушить... это всего целковый с пятакком; на баню, хлеба два фунта, селедку, шалик... Э, хватит на все; а там даст бог день, даст и пеню».

— Эй, человек! — закричал он повелительным голосом, который, может быть, очень глел к нему когда-то, а теперь был театральной выходкой, вымывавшей, впрочем, не смех, а грустную улыбку. — Челазк! Дай мне, братец, еще стопку и получи деньги за две.

Подбоджавший мальчик с комически вежливостью спросил:

— Что прикажете, сударь, ваше благородие?

Неопределенный господин повторил свое требование, прибавив:

— Да трубку Жукова!

— Жукова нет.

— Как нет?

— Так. На всех проходящих и Маслова не напасешься. Жукова-то стоит копейку серебром.

— На, возьми деньги и не ора, только дай мне Жукова, настоящего. Слышишь?

— Вить как разгулялся попрошайка! — проворчал мальчишка, удаляясь.

В это время мимо неопределенного господина проходила какая-то голубая шаль.

— Душа, не хочешь ли выпить? — сказал он ей так ласково, как позволял его неприветливый голос.

Она небрежно взглянула сперва на господина, потом на скудное утешение, стоявшее перед ним, и еще небрежнее отвратилась.

— Что пить-то? Самому облизнуться зечем! — и пошла дальше.

Сивилушка покачал головой и задумался. «Видно, что жил прежде на благородную ногу, совсем другой был человек, и хороший, может быть, человек. А теперь всякий денек поныкает тобой как мочалкой. Думаете, не понимает он? Нет, все понимает; да что станешь делать-то? Выпьем-с с горя. А назавтра хлеба нет, руку протягивать стужай. Да, не в осуждение будь сказано. Все мы транжири́м. Правда, что трутнем жить не годится. Шел бы куда-нибудь в пиваря или к какой ни на есть должности, все бы имел себе кусок хлеба, сыт и одет был бы завсегда, не ходил бы в этих лохмотьях. Жаль человека... Да ведь и то надо взять в рассуждение: забыл он ста́д и совесть, упал в грязь, — так и поднять его никто не хочет, всякий стыдится с ним компанию иметь. А что бы сказать ему доброе слово: «Вот, дескать, ты заблудился, замарал свою честь и скоро сгубишься, как капуста́й сорвы; дай, дескать, выведу я тебя на истинный путь, на прямую дорогу, помогу тебе по-христиански, а ты помолись за меня богу. Читал, дескать, ты о блудном сыне? Покайся же: никто как не бог». Ведь из мертвых воскресил бы погибшего человека, а себе заживо приготовил место в раю. Да! Что и говорить! Добрые люди, знать, мычье повывелись. Всякому лишь до себя, своя печаль болына, а чужое горе легко и слезинки для него жаль. Охо-хо-хо! То ли дело няня трудовая копейка — любезная вещь! Профуфырился сегодня, так завтра и зубы на полку, и работай до поту лица, недетей навёрстывай дневной прогул... Да кусок хлеба все-таки есть, пока бог не отнял рук. Вот мужлочки-то пируют: известно, дома поди-кась бы полтина-другая; да ведь отчего же не проотражить себя, не разделить времени с хорошим человеком?»

И полный охоты высказать вслух свои мысли, обменять-

ся с кем-нибудь изъявлениями дружбы, Саввушка двинулся было к мужичкам, в намерении разделить с ними компанию; но тотчас же остановился. Миротлюбивая дотоле беседа угольников неожиданно приняла воинственный характер: один из них, захмелев порядком, порывался выместить на своем товарище какую-то давнюю обиду; тот, защищая свое лицо и особенно бороду от его порывов, отмахивался кулаками и грозил своротить салазки зачинщику ссоры, а третий разнимая бойцов.

— Ах, талманы! — с негодованием произнес Саввушка. — И напиться-то как следует не умеют.

Но доброе начало взяло верх в междоусобной брани друзей. При посредстве буфетчика, который не позволял, чтобы в его заведении грохотали «бесчинства и дебоширства», они помирились, заплели мировую и, схватившись все трое рука с рукой, чинно убрались из заведения, затянув на походе: «Вот мчится тройка удалая».

Таким образом это прокшестствие кончилось счастливо, и Саввушка, в знак своего удовольствия, решился разориться еще на бутылку: «Куда ни шла! Не всякий день пируешь; в кои-ста веки пришлось» — говорил он сам себе для успокоения совести, которая шептала, что довольно и пора бы идти домой.

Между тем посетители заведения беспрерывно менялись; почти каждую минуту входили и уходили новые лица, и рассмотреть их всех недостало бы ничьих глаз; песни не умолкали, шум не уменьшался, веселье росло разливающим морем. Чувствовал Саввушка, что и его как будто подмывает отложить какую-нибудь штуку — песню ли затянуть, или пройти треньяка так, чтобы все суставчики затворили. «Да ведь стыдно будет, если на старости лет осрачешься: и куры засмеют. Так не осражусь же, пройду таким козырем, что наподи!» — решительно подумал подгулявший Саввушка и приготовился было стать в пару с одним саночником, который «дробь» отхватывая так, что стекла дрожали, как вдруг в заведение — не вошел, а влетел молодец-молодцом красивый парень в щеголеватом полукафтаны, перетянутый цветным платком, в шапочке мурмолке набекрень, с гармонией в руках, — влетел с приспешком, напевая «камаринского». Следом за ним ввалился анхач-извозчик.

— Гуляка приехал! — пронесся шепот по толпице, и на минуту все притихло, с любопытством обратив глаза на нового гостя.

Нисколько не смущаясь этим вниманием и считая его, по-видимому, заслуженным, молодой сел за стол (извозчик рядом с ним) и на всю лапочку крикнул:

— Эй, пива!

— А, Феденько наше почтение! — радостно сказал подбегавший буфетчик. — Как поживаете?

— Живем, не мотаем, добрых людей уважаем, и денежки у нас водятся, — отвечал молодой человек. — Пива давай. Михаил Михайлыч, целую дюжину разом ставь скиды! Да смотри, чтоб не «сливки»...

— Помилуйте-с, как можно. Вы посмотрите, что я подаю: просто мадерца.

— Знаю я твою мадерцу — всего семь верст до нас педоехала. Ты дай белого, Тарусинского.

— Сию минуту-с. Алексей, живо!

И тогда бутылки, по живописному выражению буфетчика, не замедлили занять стол.

Попойка началась. Молодой человек сам и потчевал извозчика.

— Смотри же, — говорил он лихачу, — посдем так, чтоб с градом было, знаешь, как я люблю.

— Сказал, что заслужу, так уж заслужу; друга моего Феденьку прокачу так, что душа в пятки уйдет, — отвечал извозчик, затягивая песню под пискливые звуки гармошки, на которой не переставал наигрывать молодой человек.

Буфетчик снова подошел к гостю-кутيله.

— Не потчевать ли сигарочкой? — спросил он у Феденьки.

— Давай, Михаил Михайлыч, давай, побархатуем. Да плетей стонку!

— Теперь нельзя-с дело есть.

— Пей, говорят тебе, не то оболью. Знаешь меня? (Буфетчик выпил с поклоном, а Феденька закурил эдакую-то сигару, как истый джентльмен.) Гулять так гулять. Закуту выпил — помнишь, как намедни? Еще лучше будет, жару подбавим, лишь бы лафа не отошла. Знаешь, какую штуку мы с Зисью строим? — Эдесс Феденька начал шептать на ухо буфетчику, который, слушая его, ухмылялся, поглаживал бороду и поддакивал: «так-с, понимаем-с!» Коли наша возьмет — ух! тогда всю Старую избу пивом оболью. Гуляй! «Ты зачем, зачем, мальчишка, с своей родины бежал»... Пей, извозчик!.. «Никого ты не спросился, кроме сердца своего». Наливай еще! Чих-чих-чебурах! чибирики-чок-чибири! комарки-кухи-комары!..

И, не вставая с места, Феденька начал приплясывать и повертывать плечами.

Красная шаль, голубая шаль и еще какой-то пестрый платок не замедлили подойти к Феденьке с приветствиями. Бутылки стали осушаться мигом. «Жизнь для нас конейка!» —

кричал Феденька и требовал дюжину за дюжиной. Знакомый и незнакомый могли без церемонии пользоваться его угощением, и охотников нашлось немало. Пир пошел горой.

Удадь Феденьку отбил у Саввушки охоту выкинуть какую-нибудь штуку. «Вити, какая кольчань пошла, — сказал он сам себе. — тебе ли, старому дураку, созаться туда! Молодецек парсек, а с душком. Кабы в руки его, да в ежовые, выколотить из него пыль, да выгужить его хорошенько, — водото выпел бы, а не малый. Раненько художеством занялся — проку не будет: разве под красную шапку попадет, там выпикют. Вишь, как денежками погвырывает — что твой батюшкин сынок. Знать, лямка такая идет. А и то скажешь: ты что за судья, ценишь и переоцениваешь всех? На себя-то погляди, на свою обрешину: что, хороша? Сказано: не осуждай. Еще справедливо сказано, что дважды глуп бывает человек — стар да мал. Не здесь бы следовало сидеть тебе, Савка, а дома; не повесничаньем заниматься, а разговорами с хорошими людьми. Вот кого надобно бы держаться, контюя компания — ядильны?»

Последние слова Саввушки относились к старику, как лунь седому, с небольшою бородкой, одетому в изношенную чуйку, который, опираясь на палку, вошел в лавочек. «Видно, устал, дедушка, захотел прохладиться: что ж, пускай выкушает во здравие». Но старик, медленно обойдя столы, занятые пирующими, не присел нигде и, наконец, подошел к тому, где сидел Саввушка.

— Подай, добрый человек, старику, Христа ради, — сказал он.

С участием посмотрел на него Саввушка — и невольно закрикнул от изумления.

— Батюшка, Антип Егорич, какими это судьбами пришел вас бог?

Старик показал на ухо.

— Не слышу, — проговорил он. — Конечно слыши, что ли, надобно?

Саввушка громко повторил свой вопрос. Старик скнул его подозрительным взглядом.

— Да, — отвечал он, — я Антип Егорич. Почему же ты меня знаешь?

— Как же, сударь: я сколько раз и в доме у вас бывал. Помните, как женился Григорий Антипыч, ваш сынок...

— Гришка, разбойник?.. Так ты, верно, пьянствовал с ним вместе, обирая его, пил мою кровь?.. — вскричал старик с нескрываемым гневом.

— Куда нам знаться с такими особами! Что вы, Антип Егорич. Ведь я портным мастерством занимаюсь. Наш хо-

заяи шил тогда на нашего сына платье: я и былал у вас в доме по этому случаю.

— А! Да... помню, — отвечал старик, вдруг успокоившись.

— Как же это, батюшка Антип Егорыч? Наказанье разве какое было на вас, божьим поущением, пожар или другое какое несчастье?

— Нет, не пожар...

— По торговле разве что?..

— Торговля ничего, шла себе, как должно. Гришку-то ты знал? Он стубил весь свой род, опозорил мою старость! Не родное дитице, а змею вскормил я на своей груди! Бог ему судья... Все примесали — и жена, и дочь, и внучка... один я за грехи остался мыкаться по свету... Мается и он, ворог, да ему не слаще моего: где день, где ночь, дневного пропитанья не имеет. А меня, слава богу, добрые люди кормят, мне не стыдно просить; а ему никто не подает... Подай же, добрый человек, старику, Христа ради!

— Ах, Антип Егорыч, сударь ты мой... как это... истинно жалостно. Да не побрезгуйте, присядьте со мной, выпейте за компанию стаханчик, если угодно, — в замечательстве сказал Саввушка, стыдась подать старику убогую милостыню.

— Нет, я не льку, я милостыню пропущу. Коли нет, бог с тобой! — отвечал старик и побрел далее.

Саввушка хотел было остановить его, но пока собирался с словами, старик уже был за дверьми.

Тяжелые мысли опять зародились в голове Саввушки. «Вот она, жизнь то наша, какая! Что было и что стало!.. Диви бы наш брат, маленький человек! Туз-то какой, можно сказать, первостатейный был... гремел по Москве: Пипеляшников, Пшенишников! Дом один чего стоил, лапак сколько было. И вдруг в таком убожестве, по миру, и от кого же? от родного сына! Божья воля. Ох, грехи, грехи наши тяжкие!.. Был слух, что нажил Антип Егорыч капитал не одним умом-разумом; да ведь чужая душа темна. И где же видано, чтобы разбогател человек, живущий по совести? Да пусть все так: от сына-то терпеть легко ли отцовскому сердцу?»

И под влиянием этих грустных мыслей еще скучнее стало Саввушке, и совершенно в ином виде явилось окружавшее его шумное веселье; дикой разноголосицей показались разгульные песни, безобразными чудачками все пирующие, и еще более сделался он расположен резонерствовать в наизлание самому себе. «Вот ты раскидываешь тут, прохлаждаешься, барствуешь; а старик, что в отца годился бы тебе, шквастает по миру. Сколько ты пропил? Сочти-ка. Четыре

ки скромной одежде, и он подошел к Саввушке с предложением своих услуг.

— Что задумался, купец? Прикажи-ка песенку сыграть.

— А? — проговорил Саввушка, очнувшись из полудремы.

— Песенку, купец, закажи, веселее будет. Взякие есть: «Тройка удалая», «Ты не поверишь», «Соловей», «Барыня», полька, вальс... да вот ресетр, — и шарманщик подав Саввушке засаленный клочок бумаги, на котором был начислен список его пьес.

Саввушка посоловельми глазами посмотрел на карточки, пенснеобразные ресетр, и бессознательно пробормотал что-то; но догадливый шарманщик составил из этих неясных звуков слова: «Барыню», пожмев? Извольте!» — и, придвинув ближе свой орган, завертел на нем.

Произвольно-веселые звуки шарманки вывели Саввушку из забытия, а новый прием напитка возвратил ему прежнюю бодрость, так что через несколько минут он уже прищелкивал и пригопывал, а потом заказал новую бутылку. Шарманщик, слышавший, что богатого с тароватым не раскознанье, удвоил усердие и предложил Саввушке послушать, как мальчишка итканывает песни.

— Пусть спост, послушаем его удала, — весело отвечал Саввушка.

Мальчишка начал играть на шарманке и запел... Разгуллившийся Саввушка сперва тихонько подтягивал ему, потом шибче и шибче и, наконец, хватил во весь голос, но так не в лад, что мальчик, который посмеивался во все время разгуда Саввушки, не вытерпел, залился звонким смехом и бросился к певцу.

— Вишь, как раскуражился, старый! — сказал он, продолжая смеяться. — Что смотришь? Иль не узнал?

Саввушка был озадачен и не без замешательства проговорил:

— То есть как же, брат, ты... тою... а?

— Знаю-то себя? Эх, ты! Да я на твоих крестинах был, Саввушка ты Савва! — И мальчик захохотал во все горло.

— Ну, голубчик, Саввушка-то я Саввушка, да как ты смеешь...

В ответ на это замечание мальчик шепнул на ухо Саввушке несколько слов. Надо было видеть, что сделалось тогда с портным: как будто уколотый, вскочил он, схватил мальчишку за руку и притащил к себе с такою силой, что шарманщик бросился было на помощь к своему товарищу.

— Празду ли ты говоришь? — тронувшись Саввушка дрожащим голосом, всматриваясь в мальчика с таким внима-

ним, как будто хотел снять с него портрет. — Или нет, пойдем откуда... я узнаю... Ах, господи, господи! Вот радость-то пошла!.. Варяжи-ка на меня глазенками, да не смейся только... вот так. Да, это ты! И мое сердце не признало тебя сразу? Ах, я львицада!

В самом деле, было от tego изумиться Саввушке: в перелетном мальчишке он узнал Сашу, свою милую названую дочку, которую судьба отняла у него из глаз, но не могла изгнать из памяти сердца.

Но как сильно было его изумление, как велика была его радость, не без примеси, однако, горя, так равнодушно к этой неожиданной встрече казалась Саша, не перестававшая улыбаться даже и тогда, как ее старый друг, со слезами на глазах, принялся целовать ее, называя своей козочкой, милочкой.

Все это произошло в несколько мгновений, и в общем шуму почти никто, кроме шарманщика, не обратил особенного внимания на поразительную сцену, так что Саввушка свободно мог расспрашивать свою любимицу. А спрашивать было о чем... Но вопросы путались и шли не по порядку.

— Голубушка моя! Зачем же срам такой ты на себя взяла?

— Какой? Что ты? — со смехом отвечала Саша, уклоняясь от обниманий Саввушки, который, по старой привычке, хотел усадить ее к себе на колени.

— Да платье-то? Разве это хорошо — мальчишкой одета! Разве нет у тебя платьица? Ведь ты не маленькая; слава богу, я чай, четырнадцать лет минуло.

Вот еще что выдумал! Платье у меня в год не перепошшь, да так лучше, и хозяин велит.

— Какой хозяин? Нешто ты...

— Видишь, что с шарманкой хожу. Мне и жалованье дают — семь рублей в месяц, кроме платья. Хлеб тоже хозяйский.

— И лица хорошая?

— Ну, с голода не уморят, сытою не накормят. Чай по утрам бывает, а вечером как придется. Да все-таки во сто раз лучше, чем у тетки!

— Да-да-да! Тетки, Арина Агафоновна, кажется. И забыла спросить. Отчего же ты не живишь у ней, а? Прихожу к вам раз, прихожу два, узнать, что за напасть случилась с тобой, — она и говорить со мной не хочет; бранит тебя и меня тут же. «Ты, говорит, ее сманил. Она, говорит, неблагодарная, божала от меня, перю по матушке пошла». Как же это, Саша, а?

— Неблагодарная! Позвольте спросить, за что же мне

благодарить-то ее было, руки, что ли, у ней целовать? — отвечала Саша с досадою. — Я и в лавочку поди, я и воды принесу, самовар поставь. Все Сашка да Сашка, а она зная себе растягивается до восьми часов, барская барыня! А потом бранить меня примется, чаю опивки даст, сахару один кусочек. Бить вздумала... к столу призвала однажды, змея чужоткая! Терпеть, что ли, мне было? Другая бы на моем месте дала ей знать. Я изшла да ушла. Плевать мне на ее кусок, в горле он останавливается, попрекала беспрестанно.

— Так ты бы ко мне, дурочка, пришла. К шарманщикам-то как попала?

— Э, добрые люди показали. Мимо нас они, шарманщики-то, почти всякий день ходили. Ведь не я одна из девушек: нас три у хозяина. Он, как угораздилось со мной, так и послал Василья, нашего работника, к тетке за билетом; она сначала было заупрямилась, в гору пошла, да шик взяла. Только и было. Вот уж скоро год, как хожу с органом.

— А потом-то что будет с тобой? Возьми ты это в голову, птичка глупешкая! Хорошо ли тебе будет, как войдешь в полный разум, станешь настоящей девушкой! От хороших людей ты отыкнешься, и замуж никою не возьмет тебя. Неразумная ты головка!

— Возьмут, как захотят. Нешто ты думаешь, что я век буду ходить с органом? Как же, держи карман! Что тут выживешь? Весело только, да и то как выручка хороша, хозяин не сердится. Пива я не пью... медку стаканчик разве иногда. Зато случается, заставит играть гость такой противный, старый, старше тебя, да еще целоваться лезет! Тыфу! Нет, я хочу быть богатой и буду. Намедни один барин сказал мне, что через год, если захочу, ты непременно разбогатеешь, в карете будешь ездить. О, тогда я знаю, как жить! Сама себе буду госпожа, кухарку найму, соню лисий салон, платье с пером.

— Дочка, Сашурочка! Перекрестись, опомнись, что ты говоришь!

— Что ей креститься? Она и так крещеная, — вмешался в разговор шарманщик. — Девка будет не промах, не распустил глаз. Зачем у ней опинать счастье? Вот, Фенька-то наша — Федосеей Алексеевной теперь величается, в шелковых платьях щеголяет, а на нашего брата, даром что вместе жила, и глядеть не хочет, словно из милости выбросит гривенник за песню. А Надежда, с органом же ходила, на лицо-то почище ее была, да сплунувала сама: вышла замуж за столяра, по-голубиному хотела прожить. Теперь, может быть, и кается, только близок локоть, да не укусишь его. Что, понимаешь эти закорючки?

Саввушка грустно покачал головой и отвечал:

— Так, любезный, да по делу-то, по совести, по закону божиему не так. И через золотое льют слезы, и с коркой хлеба бызакот счастливы. Честь на полу не подымешь! Бог, видяшь молодичь-то, — и Саввушка показат на красную шаль, сидищую с несколькими подружками за ближним столом, — спроси-ка у них, куда девалась их молодость и краса? Не время съело ее, а гульба съела в какие-нибудь пять лет. Они каются теперь, они кланут себя, и не тех, кого пронес бог. Душу неповинную грех губить, лице смертоубийства, тяжкий грех; я чай, слышал, что говорится в церкви... Бог на тебе спросит.

— Я что? Я работник — это дело хозяйское, — возразил шарманщик, немного смущенный словами Саввушки, которые неприятно зазвучали у него в ушах. — Известно, честь не что другое, особенно для ихней сестры... Да ты вот понянчись-ка с этой штукой, с органом-то: ведь его только что за непочтенные родителей гаскать — с линком два пуда. Как околесил с ним, с этим горячим широгам-то, пол-Москвы, да разломит тебя всего, так запереть не то. Слыхали мы сами эту мораль-то, басни Крылова читали. Да что наша честь, коли нечего есть! Так-то, почтеннейший! — И, убежденный в силе своих доводов, шарманщик потренил Саввушку по плечу.

— А кто твой хозяин? — спросил Саввушка, немного помолчав.

— Илья Исаич Прибылов. У него двадцать органов.

— Женат он?

— Есть хозяйка.

— И деток бог дал?

— Как же! Дочь невеста, а мальчишка нешком под стол ходит.

— Что сказал бы он, если б и его дочь попала на такую же линию, себя потеряла? Небоже, облилось бы кровью родительское сердце. А чужим детищем легко помакать: не он его родил, не он за ним ходил. Да воздаст ему бог! Не смейся, брат, чужой сестре — своя в девках.

— Да ты что за Филипп ебоку прилил, всякому проповедь читашь? Мне-то что за тоска слушать твоего фаллософа? Ты иди к нему, так он тебя шампанским — чем корота заиграют — угостит. А мне поднеси-ка стаканчик вина, и будешь сват, новая родня!

— Изволь, брат, пей, сколько хочешь. Только, пожалуйста, поговори своему хозяину об этом деле, насчет Саши-то. Она, мол, сиротинка безродная, ни отца, ни матери нет у нее; некому поставить ее на ум-разум; не доложите, мол, ее до погребов, опустите в заблаговременье к старикам — хоть дя-

дей изволи меня; он, мол, любит ее туще родной дочери, а вам, мол, всякое уважение будет оказывать: случись какая надобность, спить даром сохню, ей-богу, спить, закабалю ему себя. Полюбури, глупчик: тебе угощение будет; что хочешь, поставлю, только лишь выручи мне дочку!

— Чудак ты, право, какой! С какой же стати буду я говорить? Ведь она без малого сорок рублей должна!

— Это за что же?

— Известно, забрала на книжку; только как поступила, испрыски всем нам сделала, важные испрыски; потом костюм себе закотела шить— вот что на ней. Насчет этого, то есть долгу-то, будь с южонь; наш хозяин копейки лишней не принимает.

— Да будет тебе, Петруша, толковать с дядей, — смеясь заметила Саша. Что он мне за дядя, зачем я пойду к нему? Теперь мне и здесь хорошо, а через год, как буду богата, тогда и с органом перестану ходить.

— Саша, милочка, ангельская душка! — чуть не плача, заговорила Саввушка. — Пожалей хоть меня-то! Вспомни, как умирала твоя маменька, царство ей небесное! Вспомни, что она тебе наказывала, как велела себя вести, кому порекомендовала тебя, крошку... Сберегла ли ты ее благословение, призывала ли на молитве божью мать? Сашенька, ангелок ты мой! Я на колени стану перед тобою, ручки твои расцелую, ножки слезами оболью. Сними с меня тяжкий грех, пойдем отсюда... Салопник тебе какой хочешь куплю. Сашуточка! Маменьку-то свою пожалей: плачет она теперь, тяжело ее душе, ноет ее сердечко и в могиле.

Грустное чувство мелькнуло на лице Саши при имени матери, слезинка блеснула в глазах, потупила она головку, задумалась... и под влиянием первого порыва, казалось, готова была броситься к Саввукке. Но вдруг один гость повелительно крикнул: «Эй, шарманка, сюда!» — и, повинувшись привычке, Саша побежала на зов.

Саввушка остался один, с невысохшими слезами, с тяжелым гнетом на сердце и еще более тяжелыми раздумьями. Понимал он, что в чистую душу его любимицы задало уже довольно злых семян, что не легко будет вырвать эти семена и навести ее опять на прямой путь; а не сойдя она с этой дороги — два шага до пропасти, которой и не заметить ей, когда глаза заглушит блеск злота. Но ему ли взяться за ее обращение, и чем он начнет это обращение, где возьмет сил для борьбы и умения выдержать ее? А просьбы умирающей матери, которые, кажется, и теперь еще звучат в ушах; а обещания, что дал он ей; а собственная любовь к несчастной малютке, соединенная с воспоминанием о своей родной

ния живо возобновили в его памяти все случившееся за пять лет и ластавили сердце искать успокоения в молитве, потому что ум не придумывал ничего.

Рассвет застал Саввушку одетым и готовым идти. «Сорок рублей, — рассчитывал бедный портной, — а у меня сколько всей кизны? И четырех рублей не наберется. Если б не пьянствовал вчера, было бы шесть, да все мало, все не хватает еще много. Продать нечего, заложить и погавно. Хотя бы чужое платье случилось какое-нибудь, рискнул бы. Да и будь деньги, что я с ними сделаю. Приду к хозяину: «Что тебе?» — спросит. Вот так и так: ивите, сударь вы мой, божескую милость. «Да ты что за зверь, с какой стати суешься, где тебя не спрашивают? Опекуя, что ли, ты плаь родня какая? как покажи мне закон. Я с тобой имел дело. Девочка живет у нас не беспашпортная». Что я отпечу ему на это? Скажись, скажу, над сиротой; покойная мать ее почти погибла от того, что несла такую же участь, на своей нате жила. Ну, а он? «Дурак ты, скажет, братец; как поведешь себя, такое и счастье себе пайдесть. Девчонка в четырнадцать лет получает по семи рублей на месяц, где, в каком мастерстве, заработает она больше? Ведь у нас не воду возит она, работа не трудная. В портники, что ли, отдашь ее али в цветочницы; и там избалуется, коли захочет; псыкие бывают, во всяком чину...» — Да девчонка, мол, смотрит очень остро. «Нам, скажет, таких и надобно. Вот тебе бог, а моя дверь». И пойдешь как нехлюбо хлебал. Да положим, что я согласился хозяин, так согласишься ли она? Куда я ее дену? Ведь игрушками не займешь ее, за книжку не засадишь. Глаза да глаза надо смотреть за ней. Так-то и выходят, что, куда ни кинь, все кини. Вот где скончалась покойница и едала мне на руки Сану — царство ей небесное! — и Саввушка набожно перекрестился, проходя мимо свстелки, где жила когда-то золотарь. — Помолчи за меня, помоги мне покрутить твои детище, тронь ее сердце непокорное, поставь на разум да и благослови ее жить так, чтобы радовались на нее ангелы, и душе твоей была отрада!»

Последние мысли успокоили Саввушку, и он пошел почти с уверенностью в успехе своего предприятия — прямо в Старую пэбу. Но не похмелье звало его туда. Несмотря на раннее утро, воздух веселый был уже оглерт, но посетителей не являлось еще никого. Саввушку приветствовали как постоянного покупателя.

— Бутылочку, что ли? — спросил его служитель.

— Нет, брат, — отвечал Саввушка: — я выпью после. А скажи, сделай милость, дружище, знаешь ты шарманщика, что играл здесь вчера вечером?

— Как не знать. Он бывает у нас почти каждый день. Вы, кажись, повздорили с ним малюсенько?

— Нет, зачем надорить? так был разговор, а ведь он, я слышал, у Ильи-Исасва живет?

— Ну, да. Отсюда недалеко — в Безыменном переулке.

— А что, приятель, хороший человек этот Илья Исасв?

— Да такой хороший, что лучше требовать нельзя. Перец горошчатый. Пить раз смеряет, один отрежет. С походом, что называется, пальца ему в рот не клади — разом откусит. Образина-то какая! Настоящая пряничная форма! Даст шкалик на похмелье, а зашплет косушку.

Саввушка крикнул..

— Галдаст, что ли, бутылочку? Сейчас только из ледника, — настойчиво повторил служитель..

— Спасибо, брат.. я после.. теперь так. Прощай, голубчик!

Собрав эти неутешительные сведения о хозяине шарманщиков, Саввушка раздумал идти к нему, потому что предвидел успех мирных переговоров с таким человеком, а отправился в город.

Лавки городские были еще закрыты; в затворенных рядах расхаживали одни сторожа, да слышалось бряканье цепей огромных псов. С томительным чувством дождался Саввушка восьми часов, когда мало-помалу начали сходитьсь сидельцы; потом стали съезжаться на тучных рысаках и сами хозяева; наконец, замелькали и покупатели.. С трепещущим сердцем вошел он в одну знакомую лавку, на хозяина которой работал уже несколько лет.

— С добрым утром и наше наиглубочайшее почтение, сударь Василий Пантелевич, — сказал он с низким поклоном кущу, который посылал сидельца за горячею водою для чаю. — Все ли в добром здравье, батюшка?

— А, живая душа на костылях! — отозвался Василий Пантелеевич, приземистый мужичка довольно благообразной наружности, с живыми движениями и скорою речью. —

А я уж собирался в помянутое место, написал, что, прыгаю!

— Вашими молитвами, сударь, вашими. Я к вам, сударь,

Василий Пантелеевич, с просьбою, можно сказать, всеуслышанною, всевышнейю. Клубная лужа..

— Что, не жениться ли вздумал?

— Хе-хе-хе, сударь! Вы все такой же шутишь, зато

такой же благодетель, как прежде. Женись я на го-дето,

на это, а если уголю, дочку замуж выдать собираюсь..

— Да ведь ты женился уже, сказал, что она была

вместе с матерью.

— Так точно, сударь: это дело вот, какое..

И Саввушка, не утывая ничего, без малейших прикрас, рассказал всю историю Салти, прибавив в заключение, что для выручки несчастной его любимиды требуется сто рублей, о которых он и просит почтеннейшего благодетеля.

Василий Пантелеевич внимательно выслушал его, поглаживая бороду и повел такую речь:

— Пустое ты загеял, Саввушка. Девчонка-то, видно, того... с изъяном. Да ведь еще три года нало хлебом кормить ее, пока жених выщется, да и какой дурак возьмет без приданого? Из каких же доходов поведешь ты эту ханитель? Теперь, касательно суммы, что ты просишь. Сто рублей не сто копеек: их на полу не подымеешь и на ветер бросать не приходится. Ты думаешь, что у нас денег и куры не клюют; как же, держи карман-то. Шей одна у нас золотá, да так золотá, что и головы поднять нельзя. Ты смотришь, что в лавке товару много; а посмотри-ка в книге-то, сколько поставлено крестов, долгов-то. Уж это такое колесо заведено. Сегодня я лозерю, а завтра мне отпустят на слово. А все-таки того и гляди, что вылетит в трубу, сядешь на черный камешек... Так-то, любезный! Конечно, богачу сто рублей цапнуть стоит, а мы люди маленькпе.

— Батюшка, Василий Пантелеевич, да я к вам в кабалу пойду, душу свою заложу... Расписку какую угодно возьмете... на гербовой бумаге.

— Эх, правда, что без ума голова шебала. Первый, что ли, год ты на свете живешь? Сегодня таскаешь ноги, а завтра богу душу отдал, какая же тут кабала? Документ с тебя возьму... ладно. Ну, а вдруг я банкрот, на черный-то камешек сяду: что скажет конкурс про твой документ? Дураком меня все назовут; в благодетели, скажут, полез, а долгов не платил. Вот оно что!.. Да брось ты, сделай милость, эту блажь. Девчонко, знаешь, на роду написана такая участь. Не одна она. Мало ли их — всех не повываешь замуж.

Саввушка со слезами бросился на колени перед рассудительным Василием Пантелеевичем.

— Благодетель, не оставьте! Вам бог сторицею воздаст. На вас вся моя надежда! Не доведите меня до греха — руки на себя наложу, если не выручу моей дочки. Меня совесть замучит. Бог на мне спросит. Батюшка, Василий Пантелеевич! У вас свои долги есть, хоть для них-то помилуйте!

— Нет, никак не могу, — сказал он, подумав. — Времена нынче крутые. Десять рублей, так и быть, изполь.

— Некуда мне девать их, — печально отвечал Саввушка: — я не милостыню прошу у вас, а милости; заслужил бы ее... Прощения просим, Василий Пантелеевич, счастливо оставаться!

— Да постои на минутку, выпей чайку чашечку. Пора-говоримся, и полегче будет и выкинешь из головы эту историю.

Саввушка с безмолвным поклоном вышел из лавки.

«Куда теперь идти? Ведь как надеялся то: как на камennую стену! А добрый человек, нечего сказать: янчим всегда подаст, и ласковый такой. Правда, сто рублей не шутка; да ведь сделаи он таких дел два-три, вот и купит себе царствие небесное».

Но на что же тебе, Саввушка, сто рублей? Ты бы просил сколько следует — сорок-то, ой, может быть, расщедрится бы на половину; нашелся бы другой добрый человек на столько же, и дело в шляпе.

«Толкуйте вы! Как на что? Да куда я попернусь с сорока-то рублями? Ведь это надобно отдать одному хозяину. А если он добром не возьмет, придется силой заставлять, ну, а силу-то собрать следует. Понимаете?... Это раз. Потом: на сухой хлеб, что ли, посажу я мою Сашу? Чай, избаловалась, к сладенькому кусочку прищелка. А салотник-то спать на какие деньги? Я бы как куколку разодел ее — живи только, голубочка, не лезь в петлю. И выходит, что и ста-то рублей еще мало. Ну, разумеется, я, слава богу, не без рук, стал бы работать день и ночь... Ах, господи, господи! Постои, дай попытаюсь, схожу к этому барину... как били его... Архаулов, Владимир Петрович. Славный барин, на водку сколько раз мне давал. Когда это я шел двое броек его людям? Да с нонтода тому. Еще помню, Парфен, человек-то его, сказывал мне тогда, что они на днях невесту в лотерею разыгрывали... то есть, известно, не невесту самое, а приданое... Да, Владимир Петрович барин настоящий, знакомитый. Круг-то какой у него заведен, тузы-то к нему сдают! А дом-то — палаты! Как это давеча не пришло мне в голову!... Ну ка, господи, благослови!»

И Саввушка почти бегом пустился на Покровку.

Дом господина Архаулова, действительно, был барский, выстроенный для привольного житья одного семейства. Но владелец его, несмотря на то, что считал себе под сорок, оставался холостяком. Жил он, впрочем, весело и открыто, пользуясь всеми преимуществами своего одиночества, например, ежедневным визитом в клуб, правом возвращаться за полночь, участвовать в приятельских *parties de plaisirs* и тому подобным. До нас, однако, это не касается. Довольно сказать, что он был человек не без знания и не совсем дюжинный, потому что где-то числился на службе и по мере сполх сил старался не отставать от века.

Под протекцией знакомых лакеев Саввушка дождался,

пока встал господин Архаулов. Разговоры с ними придали ему еще более надежды на успех просьбы. «Мало ли к нам ходит просить на бедность, — толковал Парфен, — всякие бывают — и отставные, и салонницы, и вдовы разные, и на невест... всех награждает, особенно как плакать умеют. Денег-то даст, да потапию прочтет такую, что только держись; переберет тебя всего по косточкам, до слез тронет. Что говорить, барин первый сорт!» После полуторачасового ожидания Саввушка позван был, наконец, в кабинет доброго барина. Через какие комнаты шел он, что находилось в них, как убран был кабинет, — ничего этого не видел Саввушка; мысли его летали далеко. Но вот и сам господин Архаулов, кушающий кофе. Саввушка отвесил поклон чуть не до земли.

— Садись, любезный, — ласково сказал господин Архаулов.

Саввушка не поверил своим ушам. Господин Архаулов еще ласковее повторил приглашение.

— Помилуйте-с, ваше высокородие, сударь Владимир Петрович, как я смею. Мы и стоим-с... — отвечал Саввушка.

— Да ведь нам надобно толковать о деле: что же, я буду сидеть, а ты стоять. Так не годится. Садись, любезный, как тебя...

— Саввушка-с.

— А по отчеству?

— Саввиц-с, да я больше Саввушка, по привычке-с...

— Ну, Саввушка Саввич, расскажи же мне, в чем твоя нужда?

Саввушка робко сел на кончик какой-то неизвестной ему мебели и начал:

— Извольте видеть, сударь, ваше высокородие, я человек маленький, портной, как извольте знать. Живу на Божьей домке вот уже почти двенадцать лет; не замечал ни в каких качествах; меня все гладят с. Вместе со мною, тому лет пять, нанимал квартиру золотарь, Григорий Кузьмич, мастер своего дела отличнейший, да поливал, запосм был, с позволения сказать. Жена у него была прекраснейшая женщина, дочка, Сашей зовут, да старик-отец, — не здесь будь сказано, — не в полном разуме. Я нанимал светелку одна, а они напротив. Известно, дело соседское, друг другом занимаешься, ну, и знакомство взяли мы между собою. Последний год перед смертью золотарь-то уж очень гил, мертвой чашей: такое, звать, было божье попущение. Акиа Федоровна, жена-то его, всегда была хвора, тоскливая; а как пошла эта непривычность, и муж льет, и дома куска хлеба нет, и в мороз тряпучий надеть нечего, — так и совсем слегла. Маялась да маялась — и богу

душу отдала, царство ей небесное! До последнего часа была в полной памяти. Мужа на ту пору дома не было, три ночи к ряду не почевала; она и призывает меня, чтоб долг христианский исполнить, и говорит, при последнем-то часе: «Не покинь, Саввушка, моей крошечки, моей Саши...», то есть дочерки-то, сударь, словно чуяло что ее сердечко. И девочка-то тут же плачет: «Не умирай, — говорит, — маменька». Мени ища жалость взяла. Я и говорю: «Бог свидетель, не покину сироты, буду ей вместо отца родного». После этого Анна Федоровна жила всего часа с три. Похоронили ее как следует. Муж, видно с горя, давай пить нуще прежнего, и скоро надел себе не христианскую кончину — на улице подляки. Старика, отца-то его, добрые люди опрессели в богадельню. Сиротка-дочь осталась одна-одинехонька, без рода, без племени, без пристанища; а всего-то ей только десятый годок пошел. Что делать, куда ее приютить? «Живи, — говорю, — Сашенька, у меня; хлеба с нас будет; а там, как вырастешь, что бог даст». Чудо что была за девочка! Как поняла грамоту, рукоделья разные и все такое! Живет она у меня год, живет другой и третий на исходе и прожила бы так до совершенноного возраста, копейку уже умела вышибывать; да на беду прехала из Рязани ее тетка. «Пускай, — говорит, — племянница живет со мною; я остаюсь здесь в Москве». Признаться сказать, не лежало у меня к ней сердце, и на вид она была такая противная; да что делать-то: мое дело мужское, всего не доглядить. Отпустил я Сашу к наведаль ее этак с полгода. Жалопалась, что жить ей плохо, тетка очень капризна; ну, да как быть-то? Не у матушки родной. Прихожу раз, Саша ист; спрашиваю, где она. «Бежала», — говорит тетка. «Как так?» — «Бежала», — говорит, — да и все тут». — «Господи, господи! — думаю, — что же это за наказание послал ты на меня? Свою-то дочь родную я потерял и названой лишился». А я только что сшил было ей новый капюшон да башмачки купил. С того времени не было никакого слуха о Саше. «Умерла, верно, сироточка моя, — думал я, — а то как бы не прийти ко мне!» Вот вчерашнего числа, сударь, ходил я к Сухаревой с кое-какими перекройками. Устал порядком, и закатилось мне отдохнуть. Зашел я, извините, сударь, ваше высочордие, в полливную лавочку; грешный человек, выпил-таки маленько. Сажу да на народ гляжу. Вдруг — смотрю: моя Саша с шарманкой в полливной, одета мальчиком, песни поет, а что слышит-то — шлору нашему брату, мужчине. Сами изволите знать, место какое; что ни шаг, то грех да соблазн. Каково же девочке-то! Кровью обидлось у меня сердце. До чего доведет ее эта жизнь, куда пропадет ее честь, как скоротает она свой век, на что погу-

бит свою молодость, за что будет терпеть такую участь!.. А ведь уж не маленькая, все понимает четырнадцать лет прошло. Со слезами начал я уговаривать ее, чтоб бросила эту жизнь; да уж шибко забрало ее, далеко завели ее дикое. «Не хочу, — говорит, — богатой хочу быть». Понимаете, сударь, ваше высококородие: богато! Какой то злой человек напентал ей, как делаются молоденькие девушки богатыми! Да, может быть, она и согласилась бы, уговорил бы и ее, так нельзя отойти от хозяина — много задолжали ему, а хозяйн-то бестия преестественная. Вот, сударь, ваше высококородие, мое горе и моя нужда. Дочку выручить мне надо. Клятву я себе дал. Со словами молю ваше высококородие: окажите это благорасположение. Вам слово стоит сказать. . денег не много потребуется. Я их заслужу вашей милости, по гроб жизни моей буду ваш слуга! Меня, старика, вы из мертвых воскресите и душу христианскую от смертного греха отведете. Вы благодетельствуете всем; добрые дела радуют нас каждый день. Ваше высококородие, Владимир Петрович! — И Саввишка бросился перед ним на колени.

— Встань, любезный, встань, я этого не люблю, — ласково сказал господин Архавлов, поднимая Саввишку. — Теперь ты выслушай меня. Разумеется, ты хочешь сделать доброе дело.

— Если ваша милость будет, то с божьей помощью...

— Так. Ну, я ведь всякое дело вешает конед, хорошо начнешь, да как кончишь. — на это надобно смотреть. Например, когда ты шел сюда, наверно, ты думал не о том только, как будешь прогнать меня, а какой выйдет из этого толк?

— Правду изволите говорить...

— Вот видишь ли. Значит, надобно рассмотреть, что произойдет из твоего, по-видимому, доброго дела. Скажи, что станет делать девочка, когда отойдет от хозяина?

— Да пока бы, годик-другой, пожила у меня, — много ли ей надо, да и сама кое-что заработает, хоть на башмаки себе; а потом, если бог пошлет доброго человека...

— То есть замуж надеешься отдать ее? Хорошо. Положим даже, что найдется какое-нибудь приданое. Выйдет она, разумеется, за мастерового, у которого только и капитала, что руки да голова. Как водится, пойдут у них дети — мал чала меньше: чем тогда станут жить твои супруги? Ведь из ста примеров, сам знаешь это, разве один только выдается случай, чтобы работник сделался хозяином. А сколько же он заработает? Много-много денег — триста рублей. На эту сумму двое они еще проживут как-нибудь, а с семьей невозмож-

на душе. Пойми меня, любезный: пусть будет она одна несчастна, а не двое, не пять человек.

— Ваше высокородие, — прервал опять Саввушка. сей-богу, осмелюсь сказать, вперед вы слишком заглядываете. Богу одному известно, что ждет нас. Не смею спорить с вами, где же нашему брату понимать все? Только уж позвольте мне этот грех, коли точно он грех, взять себе на душу. И не пройдет недели, сударь, ваше высокородие, как придем мы к вам с моей дочкой на поклон — поглядите тогда на нее: наверно одобрите и насчет поведения; а годика через два она же придет к вам с молодым мужем благодарить своего благодетеля; а через пять-то лет, если бог потерпит грехам, за ваше здоровье денно и нощно будут молиться две или три ангельские души, отец с матерью да я, старик. Поверьте, сударь, моему простому, глупому, неученому разуму.

— Верю, что добрый человек, — и только. Быть просто добрым мало для того, чтобы благодетель, и ожидаемая польза может обратиться во вред. Это я уже объяснил тебе и доказал. Замечу еще, что напрасно ты беспокоишься об участи девушки: оставь ее идти своей дорогой; если она и падет и будет жертвой судьбы, то одна; а пожалуй (бывают и такие случаи), она пройдет этот путь спокойно, не подозревая лучшей жизни. В отсутствии сознания самих себя и заключается для многих людей счастье, то есть если, например, ты не понимаешь, что сделал что-нибудь дурное, так и совесть тебя не беспокоит. Понял? Теперь я сказал все. Поверь, что после ты поблагодаришь меня за то, что я не исполнил твоей просьбы. Ступай с богом. Это возьми себе на расходы.

И цешковский подал он Саввушке.

Не хотелось обезудаченному слушателю верить, чтобы только этим и кончилась речь его оратора, чтобы не оставалось более никакой надежды на перемену мысли благодетеля, от доброты которого ожидалось так много. Все думается ему, что господин Архаулов непременно скажет: «Я пошутил, братец; вот тебе деньги — выручай свою дочку». Но минута идет за минутой, и много их прошло, а Владимир Петрович раскрывает рот лишь за тем, чтобы допить допивавший кофе. И, по-видимому, вовсе не замечая присутствия Саввушки. Наконец, он позвонил, спросил одеваться и, взглянув на Саввушку, сказал что-то камердинеру. Этот последний дернул гостя за платье и указал глазами на дверь. Понятно. «Прощайте, ваше высокородие!»

Опять идет горемыка по тем же роскошно убранным комнатам и не видит ничего; опять обступают его в передней лакеи с расписками, и он не помнит, что отвечает им.

— Вышей-ка водицы, — заботливо говорит Парфен: — вишь, как упарил тебя барин. Знать, радею такую прочитал, что и в год не позабудешь. Хорошо?

— Хорошо, — говорит Саввушка и глестется на улицу. «Что, уж не перевернулся ли свет вверх дном? Нет, все на своем месте — и дома, и люди. Что же это у меня голова идет кругом и перед глазами словно туман какой? Незадача, да и только! Вот что значит унынье-то: в чем хочешь, уверит тебя и поперечить нельзя».

Сильный толчок прервал рассуждения Саввушки.

— Эх разинул рот-то: пороги влегли! — крикнул мимоходом разносчик с лотком, задев портного локтем.

— Завелась маленько, любезный. В голове-то у меня... того... дребедень. Ты вот бежишь, знаешь куда, на барыш надеешься, а мне пацеляться на что? Вон, извозчик едет — седока надеется залучить, а это сапожник с работой на рысях бежит в город — на деньжонки надеется; пляди, и барин-то идет бодрой походкой — тоже, я чай, на какой-нибудь ките-рес рассчитывает. У всех хоть мало-мальски есть надежда; плохо жить без лес на свете. А у меня-то кака? Куда теперь поидешь, кого просить?

Остаток этого дня Саввушка просидел дома. Работа не шла ему на ум; на пишу не было позыва, а думы, одна другой печальнее, приходили сами собою, невзванные, и гнули седую голову. Около сумерек он опять пошел в Старую пазу.

Вот уже более часу стоит перед ним бутылка, и он еще и не прищипался за нее, все смотрит по сторонам, как будто ожидая вчерашних спел. Но сцены эти не повторялись, и вообще в заведении было и гостей и шума вполтину против вчерашнего. Из прежних посетителей Саввушка заметил одного только Феденьку, который был одет уже не в шегольское полукафтанье, а в старый ватрапезный халат, распивал не дюжину, а одну бутылку, и то выпрошенную в долг у буфетчика, который сегодня не оказывал особого внимания прокутившемуся гуляке.

Прошло еще с час: немало посетителей сменилось в заведении, а Саввушка и с места не трогался, и пива не пил. Лавочку стали заперать.

— Нет, видно, не придет моя Саша, — проговорил он со вздохом и побрел домой.

У ворот его дома, несмотря на поздний час, стоял кружок молодцов, которые с жаром разговаривали между собою.

— Что, и ты, верно, на свадьбе был? — спросила Саввушку одна из них.

— На какой?

— Да у нас в приходе была. Курлетова замуж своего воспитанницу выдала за какого-то судейского парочка славная. Мы сейчас отсюда. Бал какой — музыка, танцы...

— Какая Курлетова? Та, что в Мещанской живет? — спросил Саввушка, вдруг озаренный счастливою мыслью.

— Ну да, она самая Ольга Петровна, генеральша. Одну воспитанницу выдала, а другая на руках осталась; и ей прищел жениха. Добрая барыня, дай ей бог много лет здравствозаты! Уж сколько сирот на своем веку пристроила к месту.

Саввушка принял к сведению это обстоятельство и решился на другой день попытать счастья — сходить с поклонном к госпоже Курлетовой. «Утро вечера мудренее; авось, господь не до конца прогневается на нас», — подумал он и лег, немного успокоенный.

Недалеко от Божedomки, в одной из Мещанских, стоял уютный деревенский дом с мезонином — жилище покровительницы бедных невест. На воротах значилось: «статской советницы»; по госпожу Курлетову все соседи на версту кругом называли не иначе, как «генеральша», а в глаза: «ваше превосходительство», и никто не смел усомниться в законности этого титула. Вдова, с изрядным незапятнанным состоянием, она умела поставить себя в такое положение, что между светилами своего круга составляла звезду первой величины и занимала почетное место на всех балах и вечерах, на свадьбах, крестинах и похоронах. Находясь в тех почтенных летах, когда умная женщина перестает уже думать о замужестве, она обратила всю свою деятельность на бракосочетание других, — и можно сказать, что была свахою по страсти, без всяких корыстных видов, свахою в благородном значении этого слова, потому что не просто сватала, а «составляла партии». Все чающие супружества — девушки и зрелые девицы, молодые вдовушки и молодящиеся вдовы, розовые юнгоны и основательные молодые люди, солидные холостяки и расчетливые вдовцы, — все у ней было на счету, и для каждого она, хотя мысленно, составляла «приличную партию». Для влюбленных она была настоящею благодетельною волшебницей. «Ольга Петровна! Составьте наше счастье», — умоляла ее парочка нежных голубков, к которым не благоволила судьба, и Ольга Петровна ездила, просила, переписывалась, убеждала, интриговала, словом, хлопотала до тех пор, пока желание влюбленных не увенчивалось успехом. «Ольга Петровна, — говорил ей какой-нибудь промотавшийся герой средней руки, — поправьте мою карьеру, остепените меня, финансы чертовски расстроены!» И Ольга Петровна искусными дипломатическими мерами сближала его с жаждущею

брака вдовою и соединяла их неразрывными узами. «Ольга Петровна! Как матери родной открываюсь вам: жить не могу без Вольдемара!» — жеманно и стараясь покраснеть, шептала ей перерезавшая дева. И добрая покровительница употребляла всю свою пробогательность, чтобы вздох девицы обратилась в томные нежности супруги. Мало того, про запас, на случай, у Ольги Петровны всегда были две-три воспитанницы, сироты или дочери небогатых родителей, и для каждой из них она умела найти хорошую партию. Скорее расчётливая, чем щедрая, Ольга Петровна не скупилась, однако, когда приходили к ней просить на приданое бедным невестам, и надеялась просительницу двумя-тремя поношенными платьями, старым бельем и даже деньгами; а если посетка была милостивца собору, то нередко вызывалась быть у ней посаженою матерью и, как водится, не скупно одаривала казавшую новобрачную свою дочь.

К этой-то госпоже решился Саввушка идти с просьбою о своей Саше и уже заранее утешал себя мыслью, что авось, бог даст, крошечка его будет пристроена, что генеральша возьмет ее к себе в дом, обучит всему, может быть, и по-французскому, да и выдаст за хорошего человека, пожалуй, еще за благородного...

Просители генеральши разделялись на два разряда: просто на бедных и на бедных с невестами. К первым она выходила сама в переднюю, последние допускались в залу. Старый дворецкий досконально расстроил Саввушку, кто он и за чем.

— Что же ты ее, дочь-то, не привел с собой? — заметил он с упреком, выслушав рассказ портного.

— Да она у места живет, нельзя, — отвечал Саввушка.

— Как же я доложу генеральше?

— Так и скажите: отец, мол, принял, а дочь явится после благодарить ваше превосходительство; он, мол, здешний обыватель — ведь я на Божьей милости живу, у Дарьи Герасимовны, Саввушка, портной, может быть изволили слышать. Так и скажите: отец, мол, с слезным прошением на бедную невесту, а дочь, мол, госе...

Убедившись этим доводом, дворецкий пошел докладывать и через несколько минут позвал Саввушку в залу.

Генеральша сидела вместе с какой-то молодой девицей, вероятно, ее воспитанницей, судя по их взаимному обхождению. Окинув Саввушку взглядом и видимо довольная его грустно-почтительною наружностью, она приветливо спросила:

— Что тебе, старичок? Дочку замуж выдать собираешься? Хорошее дело.

— Так точно-с, ваше превосходительство. Только осмелюсь доложить, не родная она мне дочь да стала более родной. Изложите видеть, ваше превосходительство, как должно было...

И Саввушка рассказал генеральше известную нам историю Сани...

При словах «полпивная лавочка» Ольга Петровна вопросительно взглянула на молодую девушку.

— Je crois, maman, que c'est un cabaret¹, — отвечала та нараспев.

— Нет, не кабах, сударыня, — смело заметил Саввушка, поймав на лету знакомое ему слово. Кабак совсем другое. у кого угодно изволите спросить; а это лавочка, заведенным называется, народ хороший бывает, и из купечества много...

— Все-таки не хорошо девочке наряжаться в мужское платье и заходить в такое место, — возразила генеральша. Верно, она получила дурное воспитание?

— Какое, матушка, ваше превосходительство, воспитание! Известно, обучили кое-как грамоте да иголку в руках держать, и все тут воспитание. А девочка, смею доложить, добрая, с поведением...

— Что же я могу сделать для тебя?

— Заставьте за себя вечно бога молить, ваше превосходительство, будьте ей вместо матери, осчастливьте сироту.. если милость будет, к себе в дом ее возьмите: она лучше какой крепостной услужит вашему превосходительству.

— Как можно, чтобы я сделала из нее служанку! Который ей год?

— Четырнадцать лет минуло, ваше превосходительство.

— Гм! Еще три-четыре года. К тому времени... может быть, Картофель Федя поправится, получит место. Это ничего, можно, — медленно проговорила генеральша, рассчитывая что-то, притом же генеръ и Поли нет; вместо нее было бы прекрасно, и Лизе веселей. Да, это можно устроить. А где служил ее отец?

— То есть, как же это, матушка, ваше превосходительство? — с недоумением спросил Саввушка, не поняв вопроса генеральши.

— Ну, в каком присутственном месте он служил?

— Помилуйте, ваше превосходительство! Ему ли было соваться в присутственные: раз выбрали было в пехотную, так насилью отбоярился. Я уж докладывал вашей милости: золотарь по дереву он был и, кабы не пиливал, нажил бы копейку.

¹ И думаю, маменька, что это кабачок

— Так он был мастеровой, простой мастеровой? — сказала генеральша голосом, в котором слышалось изумление.

— Мастеровой, как следует, ваше превосходительство, и отличный мастер своего дела.

— Стало быть, я не могу ничего сделать для тебя. А жаль, очень жаль! Вместо Поля я с удовольствием бы взяла.

— Возьмите, ваше превосходительство, возьмите, сударыня. Для меня-то ничего и не делайте, мне ничего не требуется, а сиротке благоденствие окажете.

— Не могу, мой милый, решительно не могу! Если бы ее отец имел звание... А то как можно, куда я пристрою ее — у меня нет таких партий!

— Ваше превосходительство, да вы сделайте из нее что угодно: на все способна.

— Ничего не могу. У меня я в дворе как кто хочет, так и жепится. Да и какой пример подаст это другим, что скажут обо мне: мещанку воспитывает! Какая она воспитанница, как это можно!

— Ваше превосходительство! Для доброго дела все равно... Она будет прислуживать вашей милости, день и ночь станет служить... только спасите ее, не допустите до погибели!

— Ах, не могу, сказала, что не могу. Для своей горничной я буду прискипать партию — очень прилично это мне! Ты вот что сделай, старячок: возьми ее к себе, запиши кандидаткой на Шереметевские награды бедным невестам, приюти хорошего жениха, и приходите потом ко мне. Два года не увидишь, как пройдут. Чем буду в силах, я охотно помогу. А теперь нет... Это против моих правил.

V

Лето было уже на исходе и дарило москвичей последними красными деньками. Загородные гулянья пестрели народом. В Марьиной роще готовился «великолепный бриллиантовый фейерверк», с полковой музыкой и песенниками, с представлением девушки Розы на капоте и ольгиты геркулесовской силы какого-то господина Александра на открытом месте. Бесплатное зрелище в ясный, теплый день привлекли в Марьину рощу тысячи народа.

Далско разносятся песни голосистого хора, весело гремит музыка, перемежаясь разудалыми голосами песенников, разносчики бойко выкрикивают свои товары, народ жужжит как пчела, орехи щелкают, самовары кипят, раек лепит прибаутками толпу слушателей. Весело, очень весело;

а веселее всего то, что солнышко приветливо грест и землю и людей, что небо ясно, что деревья еще зеленеют, освеженные недавним дождем, и трава спорит с ними яркостью своего цвета, что вся природа как будто улыбается человеку и говорит: «Спешь наслаждаться жизнью, пока я еще не состарилась».

Как не спешить, особенно когда и в жизни-то подул уже ненастная осень! Поэтому не диво, что и Саввушка притащился в Марьино рощу, разумеется, не за тем, чтобы себя показать, а чтоб людей посмотреть. Сказать правду, у него и в мыслях не было таскаться по гулянью, да так случилось, что уж встало было зайти сюда: и Останкино работу носил.

Не весел Саввушка, и гуляют одни его ноги, а не он. Смотрит на народ, на чужое веселье, да без толку: где не доглядит, а где и вовсе ничего не видит. Подойдет к хоро-воду, постойт, послушает; а спроси его, какую песню играла, наверно не умеет сказать; проберется к песенникам, постойт у них, но уже не присеживает под песню в лад, как обыкновенно делывал прежде; вмешается в толпу, а зачем — и сам не знает. Переходя с места на место, он встретился с одним старым знакомым, когда-то закадычным другом, который был довольно навеселе и бросился обнимать Саввушку.

— Друг сердечный, таракан залетный! — вскричал тот радостно. — Не чаял-то! Сколько лет, сколько зим! Ах, дружище! Здоров ли?

— Таскаю ноги помаленьку, — отвечал Саввушка.

— Да ты что-то постарел, похудел. Или так пахочился, досада на сердце есть?

— Нет, ничего. Прощай, Петрович...

— Э, Саввушка, шалишь. У нас так не ходит, — настоятельно сказал Петрович, хватая своего товарища за руку. — Благо попался мне. Нет, брат, так не уйдешь от меня. Пойдем, выпьем. У меня еще рублишка с два осталось: протрем им глаза.

— Я не пью, отвяжись ты от меня, — с досадою трогаторил Саввушка.

— Пока не поднесут. Знаем мы тебя, старый хрен. Ну идем проворнее, там и покалякаем.

— Право, не пью, Петрович; вот уже другой месяц калли в рот не брал. Спасибо на ласковом слове.

— Да что ты, опомился! Зарок разве дал — так можно разрешить для эдакого случая.

— Нет, не зарок, а просто в горло нейдет; прощай, Петрович: мне некогда!

— Пропавший человек! Совсем пропащий! — с негодованием произнес Петрович, махнув рукою вслед Саввушке, ко-

торый почти бегом пустился от него в сторону, к Немецкому кладбищу, где собралась густая кучка народа.

Оттуда раздавались веселые звуки шарманки, и, продравшись сквозь толпу, Саввушка увидел, что играли итальянец по заказу одного тароватого господина, а уличная облезлая представляла разные штуки. Поразелся минуты с две на это увеселение, он повернулся было, чтобы идти опять куда глаза глядят, как вдруг услышал свое имя, произнесенное кем-то в толпе зрителей. Он двинулся на голос и увидел Сашу. На этот раз она была одета не по-мужскому.

— Голубушка моя! Где ты досель пропадала? — вскричал Саввушка, обнимая девочку и выходя с нею из толпы.

В ярмарку ездила: хозяин посылал, — отвечала Саша.

— А я уж искал, искал тебя — и по лавочкам, и по гуляшьям, и на квартире на вашей был, не добился никакого толку, вот и здесь все глаза проглядел, все думаю, не встретится ли мне моя Саша. Ах ты, сироточка, сироточка! Одна ты здесь?

— Нет, с органом; да товарищ-то подгулял.

— Да что так не весела? Здорова ли?

— Ничего, слава богу. На ярмарке гости все пить заставляли; плясала много...

— Ах, глупенькая, глупенькая! Хорошо ли это? Ты бы не пила!

— Пасиной заставляют, а то и денег не отдадут. А в Куравлеве один купец так всю меня вином облил — противный этакой... Вот у цыган гораздо лучше житье; я пошла бы к ним, — они говорили, да нельзя, хозяин не отпускает. Только уж и у него ни за какие блага не останусь жить: вишь, с чем задумал подъезжать.

Саввушка тяжело вздохнул и перекрестился.

— Ох, Саша, Саша! Спаси тебя господи от злых людей! Последом они съедят тебя, сироточку; некому заступиться за тебя, горькую. Стар и слуп я, ничего не смогу сделать. За что же пропадешь ты, бедняжечка!

— Да не пропаду, не печалься; сказала, что разбогатею скоро, брошу с шарманкой ходить. Купи-ка мне орешков хоть полфунтика. Купишь, Саввушка?

Саввушка поспешная исполнила просьбу своей любимицы, и девочка весело защелкала зубками, забыв все недавнее огорчение. На расспросы Саввушки она отвечала шутками и, наконец, не переставая грызть орехи, принялась напевать вполголоса какую-то песенку.

— Дурочка несмысленная, — сказал Саввушка с упрямком, — не то что видеть, и не понимать ты горя, не видишь.

белы, что собирается над твоей головкой. Ох, сироточка, сироточка!

— Какое там еще горе выдумал! Скучный какой! Посмотри на людей-то: у всех, может быть, есть горе, да ведь никто не хнычет. Пойдем посмотрим представление, как на канате пляшут, — скоро пачнется, вот и не будет скучно. Пойдешь?

— С тобой куда хочешь пойду; только и ты уважь меня. Сходим прежде на могилку к твоей матушке. Вон видишь за валом-то: там и лежит она. Пойдем, милочка! Ты, я чай, ни разу еще не касалась ее.

— После когда-нибудь, в другой раз, теперь не хочется, — отвечала Саша перенятельно, — пожалуй, еще товарища хватится.

— Всего одна минута, два шага отсюда: успеешь и представление посмотреть, а шарманщик тебя не хватится. Пойдем, моя крошечка; утешь меня, вспомни родимую свою матушку, — умоляющим голосом сказал Саввушка и взял девочку за руку.

Саша нехотя последовала за ним.

Только один вал отделял поле разгульного поселян от тихого жилища смерти, и ни ропот ни рыда были молчаливые на окраине кладбища кресты. Но такое близкое соседство, казалось, не мешало никому решиться жизнью здесь, на одной стороне, и думать о жизни там, на другой. Думал ли о чем-нибудь Саввушка с своею спутницею, — неизвестно, но оба они шли молча. На гулянье только что зарождался еще вечер, на кладбище начиналась уже ночь. Широкие тени ложились между лесом крестов, ветвистыми березами и вербами; густой туман носился над влажною землею. Со стороны долетал отголосок говора и тесен, слышался шум и гам, но на самом кладбище не было ни одной живой души.

— Как жутко здесь, я боюсь, — шептала Саша, робко следуя за своим вожатым и прижимаясь к нему.

— Ты к мамсеньке идешь, не к чужой; чего же бояться? — отвечал Саввушка, продолжая торопливо идти и спорачивая то в ту, то в другую сторону среди лабиринта могил, между которыми лишь одна память сердца могла отыскать свою, родную.

— Вот мы и пришли, — сказал он, подходя к едва заметной могиле, поросшей травой забвенья и необозначенной даже крестом. — Вот и матушка твоя родимая. Поклонись ей, Сашенька, попроси помолиться за тебя и сама помолись...

Набожно перекрестился Саввушка и поклонился до земли праху усопшей; слезинка блеснула в глазах девочки, когда она последовала его примеру.

— Молись, Саша, молись! Скажи: вот, мол, маменька, и я пришла к тебе в гости. Узнаешь ли свою дочку, благословишь ли меня, как благословила перед смертью? Зачем и на кого покинула ты свою Сашу? Живу я сироткой, у чужих людей, много вижу горя, а впереди готовлю еще больше, готовлю гибель, от своего от глухого от разума... Матушка, слышишь ли свою дочку? Слышишь ли меня, старика? Мне отдала ты ее на руки, перед богом поручился я за сироту, — и вот до чего довели ее недобрые люди... Чай, тревожатся твои кости и в сырой земле, ност душа, не легко тебе, может статься, тяжелее, чем было здесь, пока маялась на сем свете да мне-то разве легче?.. Господи, господи, согрешил я перст тобою. Минутой спокойной нет моему сердцу, точно душу и христианскую загубил.

Но Саша, прижав головкой к моиле матери, плакала навзрыд, целовала землю и лепетала: «Маменька, голубушка, оставь хоть на минуту!..»

Брызнули слезы из глаз и у Саввушки. Слова перекрестились он, обнял девочку и стал утешать ее:

— Плачь, крошечка, плачь! Услыхала тебя с небес матушка, молится она теперь за свою сироточку. Плачь, Саша: на радость тебе льются эти слезы, всякая слезинка принесет тебе год счастья... Послушай, моя ненаглядная крошечка: деньги, что должна ты хозяину, у меня готовы, — скопал по гришкам да по копейкам. Отдай их ему, да к перекоди жить ко мне. Сашенька, милочка моя! Я буду делить тебя пуце родной дочери, кочи все насквозь стану работать, лишь бы ты была спокойная да веселая, всю жизнь з тебя положу. Слышишь, и матушка говорит тебе то же: не губи себя, дочка, не маленькая ты, все смыслишь, Сашенька!

Девочка продолжала рыдать и не отвечала ничего. Еще крепче обнял ее Саввушка, приподнял ее головку и поцелуями стер слезы, градом катившиеся из глаз Саши. Несвязным полупшепотом наговорил, наконец, и она; но ее речь мог расслышать один Саввушка.

Стемнело уже крутом, опустело и гульиье, когда они оставили могилу Сашинной матери. Шарманщик пришел домой один, без девочки.

VI

«Скоро сказка сказывается, а не скоро дело делается». Легко сказать, что прошло с лишком четьре года со времени последнего описанного нами происшествия; но прошли они ведь не как один день, и много воды утекло в это время. Видите ли этого старика, седого как лунь, порядочно стор-

бывшегося под тяжестью своих лет? Это Саввушка. А девушку, что сидит напротив него за шитьем, признает ли ваша память? Это Саша, теперь, впрочем, уже не просто Саша, а Александра Григорьевна. Красавицей ее нельзя назвать, а хороша, даже очень хороша, особенно милы глаза, которые она не перестает поднимать от работы и посмотрит то в окно, то на Саввушку; взгляд этих глаз согревает сердце.

Старые знакомцы наши разговаривают. Саввушка, видимо, озабочен чем-то, да и Саша, кажется, тоже не очень спокойна.

— Что это сделалось с ним? — говорят Саввушка. — По-сю пору нет. Ведь уж обед на дворе

— Он хотел зайти к кондитеру: может быть, и позамешкался там, — отвечала Саша.

— Зачем это к кондитеру? Уж не панимать ли вздумал? Что за прихоти такие, что за банкеты?

— Ведь вы сами говорили, батюшка, что свадьбу надобно сыграть как следует, чтоб не стыдно было людям.

— Говорил? Да, точно, говорил. От старости да от радости и память совсем помешалась. Правда, что свадьбу следует сыграть, как должно. Отчего же и не сыграть? Ну, и кондитера можно нанять. А у Петра-то Васильевича родство все хорошее. Отчего не сыграть? Ведь ты не бесприданница какая: восемьсот рублей чистыми денежками. Дай бог царство небесное, рай пресветлый покойному графу, что всех сирот наделяет счастьем и будет наделять покон века! Есть где бедная невеста, записывай ее в Шереметевскую, и, коли бог благословил, выйдет она с награждением. Молись, Саша, за него, и детей своих учи молиться, и чтобы из рода и род пошло у нас его имя; каждый год панихиду служите по своему благодетелю; еишам подавайте милостыню за упокой его души; после бога и царя он дороже всех для вас.

— Ах, батюшка, когда принимали билеты одной девушке, такой же крутой сироте, как я, вышло пятьсот рублей. Она в обморок упала от радости, так и вынесли ее на руках. Три года как была она сговорена за жениха; верно, добрый человек, что ждал столько времени.

— Известно, что добрый, вот как наш Петр Васильевич; ничего, говорит, мне не надо, ни гриданого, ни денег, как есть, в одном пальте беру. Да, знать, не следовало быть тому, и на твою долю бог послал. Праздо, как вспомнишь про все их старое, да посмотришь, что сделалось теперь, так насилу верится, как могло все это случиться, точно сон какой!.. А уж куда как боялся я первый год: ну, думаю, заскучится, пожалуй, моя Саша, убежит опять к шарманщикам; нет, никакой беды не случилось, только день ото дня радо-

зала ты меня больше и больше, — и выросла теперь, можно похвастать, и умница и красавица. Слава богу!

Полноте, батюшка, хвалить: стлазните, пожалуй, — промолвила Саша, улыбаясь, — опять уйду.

— Извините, теперь я не пущу, — торговорил, показываясь в дверях молодой человек.

— Ах, Петр Васильевич! — сказали в один голос Саввушка и Саша. — Что так долго?

— Затолковался с кондитером: не берет меньше пятидесяти рублей. Ну, да зато уж хорошо будет.

— Все ли, по крайней мере, обделал, как должно? — заботливо спросил Саввушка.

— Почти все. Остается лишь купить перчатки, башмаки новесте для лент девичьим. Это недолго — всего каких-нибудь полчаса.

— То-то полчаса: ты сам, брат, чаровник, должен соблюдать аккуратность. Завтра некогда будет возиться с этой канителью.

— Да вот еще, батюшка, хотел я посоветоваться с вами насчет музыки. К настоящей-то приступу нет: дай не дай двадцать пять рублей за вечер. Ну, ведь такал-то и не пужа нам: танцевать некому, а только для веселости одной. Я думаю, не взять ли лучше две шарманки с кларнетами, да у меня есть знакомый скрипач, играет из-за одного угощения.

— Скрипач — это хорошо; а о шарманках отложи всякое попечение.

— Отчего же? Я выберу самых лучших.

— Никаких не надо. А отчего — спросил об этом завтра у своей молодой жены.

Тут и конец? — спросите вы. Да, тут и конец. Дальше не о чем рассказывать... Впрочем, если когда-нибудь летом, в праздничный день, вам случится быть на Назаревом кладбище, погуляйте здесь, по этой «божьей пивсе», на которой, как жежи последнего пладения теловеска на земле, разбросаны камни и кресты. Много собирается сюда гостей — навесить могилы близким сердцу и увлажить слезою память проплого. Много живых приходит беседовать с мертвыми и в их безмолвном ответе искать надежды или утешения... На одной могилке, осененной деревянным черным крестом и зелеными молодой вербы, почти каждый праздник увидите семью, состоящую из отца с матерью и двух малышей. На кресте прочтете: «Папему благодетелю и второму отцу». Это могила Саввушки. В гостях у него — Саша с мужем и детьми.



Письма

«Пора нам жить и выполнять обязанности человека, как гражданина; пора: жизнь коротка.
За работу, за работу, за мысли!»

И. Кокорев.

НЕИЗВЕСТНОМУ ДРУГУ

№ 1. 8 апреля 1843 г.

Здравствуй, мой милый лентяй, здравствуй! О чем писать к тебе? Нозостей океан, глухостей бездна, а ты просишь писать обо всем обстоятельно — не могу! Передам, что в силах. Прежде — о Рубини, этом итальянском соловье в 50 лет, но полном жизни, энергии, полном чудных звуков, которые льются в душу и заставляют трепетать. Ты заплакал бы, если б слышал его арию из *Lucia di Lamermoor*, ты убил бы своего врага, если б увидел Рубини в «*Марино Фальери*»! Но ты лишен этого наслаждения: вероятно, у вас в уезде даются концерты, где доморощенные музыкальные гении из коллежских регистраторов и сентиментальных барышень подымут такой визг, такой грохот, что боже упаси! Но к делу. Рубини давал в Москве три концерта и участвовал в концерте в пользу больного Гекеля. Он собрал до 90 000 рублей — скажи это в уезде, будут ахать...

№ 2. 6 июля 1843 г.

Прости, мой добрый, милый, душечка М., что я, занятый бездельем, погруженный в сухие пыскания о Китае и Японии, в работу листов «Жизненного обозрения», почти не отвечаю на твои письма... Подписывайся на «Китай» — там увидишь и мой труд, все стоит 5 р. с. ил., может быть, даже дешевле. Но зато что за рисунки, раскрашенные в Париже! Роскошь! За медленность к «Жизненному обозрению» предложится «Жизненный листок» — полноклеточное прибавление, в котором, между прочим, будет помещен портрет Клеопатры — царши красавиц. Ты не можешь представить себе, что это за картина! Я по целым часам любовался ею у Давидро. Это — несемная красота, о которой нам, смертным, не позволено мечтать.

Глядя на нее, и верил стихам Пушкина (в «Египетских ночах»), когда Клеопатра вызывает всех ценою жизни купить ее любви.

№ 3. 17 августа 1844 г.

Мои блистательные надежды лопнули вволю. Банкрутство книгопродавца Г. убило предприимчивость Полевого, а следовательно, и С.—и. Работы покуда треклятаются. Впрочем, впереди много очаровательных замков. Лабора et sregae, будем повторять мы. Я надеюсь пробить себе дорогу в «Библиотеску», надеюсь держать экзамен на звание домашнего учителя, и, кроме того, в моем безденежном кармане родятся кое-какие спекуляции, которые обещают если не славу, то выгоды... Ну, женись же скорее, женись... без шуток! я верю в семейное счастье, верю, что оно существует, и не в сдвях романах. От нас самих зависит уметь наслаждаться жизнью, уметь жить...

№ 4. 20 сентября 1844 г.

Вот еще новости. Погодин будет сам продолжать свой журнал. Аз многогрешный, с помощью божией, надеюсь вступить в ряды его сотрудников, ратовать храбро за родимую Белокаменную. Я должен сделать это потому, что обстоятельства мешают мне присоединиться к партии Сен[ковск]ого. До свидания. Работать, работать, жить душой. Скорей, скорей, дайн, дайн, туда, туда, в тот край, где лавр и мирт растет и где нам сделают из них венки.

№ 5. 29 октября 1844 г.

«Живописное обозрение» покуда прекратилось, потому что Шолов[ой] близок к разорению и Ст[удитский], вероятно, возьмет его (то есть «Живописное обозрение») на свои руки. Тогда я редактор! Линд скоро едет в Казань, где он получил место лектора английского языка, и, следовательно, наша переводная кампания прекращается, чему я отчасти и рад, потому что господа журналисты не любят выплачивать гонораров. «Китай» и «Япония» работаются; кинесия моя, давню задуманная, тоже триходит к концу, и на днях я отправлюсь с нею к Погодину. Самое важное событие в моей современной жизни — это переселение на край Москвы, противоположный тому, где я влачил горестное существование: я говорю про переезд к Черткову. Вот уже с месяц, как я живу у этого молодого и ужасно богатого (100 тысяч в год дохода) джентльмена и работаю вместе с ним. Он пишет по поручению правительства «Историю дипломатических сношений Мальтийского ордена с Россией»; мне поручена разборка и обработка различных документов, исправление слогов и т. п.

Жизнь у него довольно комфортабельная, и наш слуга делается гонимому дипломатом.

Что тебе сказать еще? Мое сердце, моя голова болеть скукою, а отчего — не знаю. Жизнь то хороша, как первый поцелуй, то глупа и приторна, как старая кокетка.

М 6. 19 ноября 1844 г.

Скоро Новый год. Что сделали мы оба в старый, улетающий теперь в вечность? А оба надеялись, оба обещали друг другу жить не даром, не бездействовать, не спать. Тебе еще я готов простить, но себе никак. Ты можешь иногда отдыхать, я — нет. Когда я родился, судьба дала мне несколько золотников ума, любви к прекрасному и больше ничего. С этими подарками не проживешь на безумной и дурной земле; их надобно обработать, развить, пустить в ход. Тогда можно надеяться на что-нибудь. Обстоятельства (глупое слово!) сделали этот год вполне високосным для меня; но от меня, от моей воли зависело прогнать их и не быть слепым ребенком. Жаль, что у нас нет никакой настойчивости, никакой твердости в характере: один должен бы поддерживать другого.

Сделай себе памятную книжку и на первом листе ее напиши:

...Что ты, человек,
Когда ты только означаешь для
Своим и обещом? Зверь, не больше, ты.
Да, он, создавший нас с таким умом, что мы
Промедлим и будущее видим. — Он не для того
Нас одарил божественным умом,
Чтоб потрубили мы его бесплодно!
И если робкое сомнение медлит делом
И гибнет в нерешительной тревоге —
Три четверта здесь трусости постыдной
И только четверть мудрости святой.

(«Гамлет»)

М 7. 22 декабря 1844 г.

Люблю соизволять тебе, а сам не перестегаюсь. Что делать: первое легче последнего. По-прежнему нерасчетлив, по-прежнему легкомыслен и только собираюсь жить. Если я переменялся в чем-нибудь, так это только в сердце.

Много горя, душевного и физического, перенес я в этот год — так много, что собираюсь писать роман под заглавием: «Черное время, или год жизни раба божия Изана». Поверюшь ли, что бывают минуты, когда я умираю, живу столько же, сколько лошадь. Мысли гуляют бог весть где, голова горит, прошедшее выходит из сердца, настоящее жмет его, будущее

заставляет плакать. Сделаю ли и что-нибудь, могу ли сделать, зачем буду жить — эти в тысячи подобных вопросов, глупых и умных, теснятся в голову... Черные мысли! Прочь их! Я вполне убежден, что я гений посредственной руки; только вот что озадачивает меня: все члены ужасные пьяницы, а я хмельного и в рот не беру. Что прикажете делать?

№ 5. 25 января 1845 г.

...Много ли даст тебе литература? Разве ты не знаешь аксиомы, что все литераторы умирают с голоду — и если Иван Тимофеевич до сих пор уцелел, так только потому, что он не литератор, а поленищик, не мастер, а работник.

Желашь ты мне в Новый год деятельности, а се нет у меня в домике! Лень, застои души, сон способностей! Когда я встану и, уга других, выучусь сам? Грустно, скучно и досадно!

№ 9. 12 марта 1845 г.

...Что же планы? Или на новую жизнь сонная душа отзывается одними фразами? А где же истинное чувство, где неуловимые впечатления взволнованного сердца? Мысль — облако; схватывай скорее его форму, оживотвори его на бумаге, если не хочешь раскиснуть после. Я знаю очень хорошо по себе, по своим ощущениям, что, как ни трудно выразить настоящее, как ни бессвязно бывает это выражение, но все же полнее, оживленнее воспоминаний, которые надобно нализывать на нитку слоз. Надобно работать, непременно надобно. Чин хотя бы коллежского регистратора и 800 руб. жалованья — вовсе не глупый предрассудок. Однажды навсегда прошу тебя сделаться немножко практическим человеком. Я бестолковее, безрассуднее тебя вдвое и с каждым днем убеждаюсь в необходимости поумнеть, применить теорию жизни к делу.

Я кончаю «Япония» и принимаюсь за отделку (голоря технически — стирку) повести для «Москвитина».

Планов, предприятий, надежд — много, и дай бог, чтобы хотя половина их осуществлялась.

№ 10. 21 марта 1845 г.

Каждый из нас прежде всего принадлежит миру или частице его — своему отечеству. Кто больше сделает — больше славы, а сделать что-нибудь непременно надобно. Не в силах выдумать мы новых паров, но можем пустить в ход две, три благотворные мысли, можем работать хоть «в своем муравейнике». А круг семьянина тесен: он и она в нераую пору, и они — новое поколение, плачущие и играющие в лопатки,

Поздравляю вас с наступающим
Новогодним праздником и
желаю вам процветания и успеха
во всех делах, особенно в
Редакции "Кавказского" и в
каждом до года вашем журнале,
составляя верный фонд
вашего журнала.

Н. Кокорев

Автограф Н. Т. Кокорева. Публикуется впервые.

после — вот все члены этого мирного государства. Итак, пора нам жить и выполнять обязанности человека, как гражданина; пора: жизнь коротка. За работу, за работу, за мысль!

№ 11. 26 апреля 1845 г.

Грустная история! Все зовет нас к деятельности, кругом поднимаются мысли о назначении человека, степит усовершенствоваться мир, а мы с тобой допиваем себе, да попиваем... И что нам за нужда до людей! Пусть их суетятся, шумят, лишь нас не трогают и не мешают спать. А проснемся мы когда-нибудь? Конечно... без сомнения... один из нас читает «Пчелку», да два года, в день по строчке, переподит «Копсуэло», а другой, красноречиво рассуждая о деятельности, огдыхает по месяцам и только собирается начать работать. Долой же эти поленки ума, прочь сонливость и сны, жизнь не ждет. Я наизусть подготавливаю материал для будущих трудов, наизусть учусь, думать и производить круглым числом в неделю по статье — и дай бог, чтобы эти предисловия не кончились, как и всегда, ничем, не остались на одной бумаге и чтобы в новый 1846 год нам не пришлось по-прежнему спрашивать: зачем жили мы? Такими очень хорошо тебе знакомыми проповедями надеюсь и стараюсь исправить я себя, лентяй, воялец.

Здоровье мое сильно расстраивается, душа болит и мелькает в суставах обыкновенной жизни, останавливающих ее развитие. Больно, М., думать о разочаровании, слишком странном, непонятном для меня, для моих лет и моего скептицизма.

Неславно крепко изругнулось мне с себе, о тебе и о всех, подобных нам. Я слушал Вьардо-Гарсию (во второй концерт ее). Цела она, цела на языке незнакомом — кругом меня кричали: bravo, divina! — толковали про хорошенькое ее личико (которого моя близорукость не рассмотрела), судили, восхищались; а я молчал, прислушивался и зажимал чувство в груди, боясь, чтобы оно не вырвалось слезами. О чем? Не знаю. Запела Вьардо «Соловья», мне сделалось полегче, повеселее, захохотал я и закричал, как бывало прежде с тобой; отправился к театральному подъезду и, вместе с кучкою театролюбивых студентов, прокричал: viva, viva!

№ 12. 11 июня 1845 г.

Я все-таки что-нибудь да делаю, тружусь, хотя невольно, припужденно, подгоняемый капризами судьбы, которой не угодно было пожаловать мне и соши копеек дарового дохо-

да... Любимое местопребывание мое — Марына роща, где я изучаю Русь в хороводных песнях.

19 июля. Окончательно, решительно беруся за полость, представляю ее на благоусмотрение мудролюбивой и прозорливой редакции «Москвитяшки»...

№ 13. 9 августа 1845 г.

...Давно ли беззаботные, с полной головой, свежим сердцем, пустым желудком и таковым же карманом бродили мы по родной и гостеприимной Москве? С небольшим год тому, и оба мы странно нахмурились: я на деле, ты на словах: О, pos miseros! «Почетные граждане» мои еще не устроились, журнальные работы тоже. Всею виновата проклятая лень и вечное откладывание до завтра. Но надеюсь, клянусь и обещаю, что это было со мной в последний раз. Прощай, золотая молодость, состоявшая в дурачествах, в спячке, в потере нравственных сил, в стремлении к пошлой жизни — и здравствуй, молодость настоящая, живая, согретая деятельностью, освеженная мыслями! В петку все старое, все целое, связывавшие нас, и дайте сюда непочатые сокровища, какие гаятся в глубине наших голов... О Москва и град N! вы спите теперь, а мы за вас бодрствуем, трудимся и думаем...

Стойкович возвратился и месяца через два совершенно переселяется в Петербург на службу. С его отъездом я остаюсь на волю одних своих сил. «Нравы» в печати. О «Жизненном обозрении» начинаем сильно хлопотать.

18 августа. Пишу теперь программу объявления о «Нравах и обычаях». Адрес мой на Самотеке, в Волконском переулке, в доме Гольденштейна.

№ 14. 23 ноября 1846 г.

«Жизненное обозрение» в 1847 году издаваться не будет... в этом году я не еду в Петербург. Здесь рассчитываю кроме «Москвитяшки» на «Московский городской листок» и еще предстоит возможность написать «Китай» (для «Правд и обычаев»), потому что Жилин, вероятно, поручит работу мне. Выйдет ли свет мой литературный первенец, повесть «Сибирка». Для «Современника» готовлю также статью. В запасе проговоров и планов множество, а на деле мало.

№ 15. [Январь 1847 г.]

Пишу из вавилонского столпотворения, из хаоса племен и языков, куда забросила меня волна неожиданности — из малой Сибири, страны не льдов и снегов, а жаров (топят ужасно) и табачного дыму. Пишу наскоро, едва выпросив льготу и позволение, и могу сказать только следующее: 1-е, по приезде прямо ко мне, а не записку по городской почте:

Москва старее какого-нибудь Н. 2-е. хлопоту о на-
местнике, который заменил бы меня в царской службе,
наличку? (наличку, как и прежде, так и теперь, так и в будущем). Вообще
да-малую то- годна-еще может быть, достану для себя
звать. Дни по-прежнему — до 100 руб. — не знаю, рассчита-
не выданы и. ворю наличными без обиняков, скорее, и если
назначенный срок, напиши. Некогда.

М. П. ПОГОДИНУ

октябрь 1846 г.

№ 16. 28

те и желани-
ерое я почув-
осудила меня
уженная пог-
одних окон, и
мени позвол-
олучным (на-
н, в родимую
да-малую то- годна-еще может быть, достану для себя
звать. Дни по-прежнему — до 100 руб. — не знаю, рассчита-
не выданы и. ворю наличными без обиняков, скорее, и если
назначенный срок, напиши. Некогда.

ях далеко не такою, какою я желаю
ты: вины в этом и себя и обстоятельства
те ко мне в нынешнем году.

ны: остается сделать одну обертку.
было никаких поводов к спорам: за-
ставил ничего, и даже с необыкно-
вы напечатал диким языком листа,
и предисловие. Касательно же дан-
руб. сер., он показал в счете только
то остальные (40 1/2). Вы должны
«Москвитянина» и что Вы сами, при-
сделать этот перевод. Не имея на счет
должен был верить его слову и де-
Произведена ли его вся уплата — не

казов о Суворове» выигралось очень
лько 24 листа. Теперь произошла не-
му что я не мог доставить набор-
еские на горах Альпийских». Писал
у, он вселю обратиться в контору: но
на», как назначил я, руководствуясь
этой статьи. Сегодня опять писал

Счет в моих занят.

и, дался его представи-

ства, чересчур враждебн-

1)...Отрывки...конца

В счете с г. Семенов не

перебор листов он не п-

венной снисходительнос-

где находятся, заглавия

ных ему Вами вперед 30

9 р. 30 к. сер., говоря,

были уплатить ему за

отдаче денег, позволили

этого никаких данных, я

ставить счет в контору,

знать.

2) Печатание «Расс-

медленно: опечатано то

большая задержка, пото-

щаку начала статьи «Р-

об этом к г. Студитском

в 1844 году «Москвитяни

своей заметкой, не напи-

в кофору, прося г. Кораблева потрудиться просмотреть 1843 год, но еще не получил ответа. Рукописное окончание статьи мною совершенно исправлено.

3) Условленное сотрудничество мое в «Москвитяине», которое я думал начать со всем жаром повника, со всем рвением человека, обязанного Вам, — увы! шло и идет чрезвычайно плачевно. Дней через десять после Вашего отъезда я сильно захворал, и это лишило меня не только возможности предложить свои услуги г. Студитскому, но и отняло все уроки (в том числе и рекомендованный Вами). Оправившись несколько, я принужден был по семейным делам провести более месяца вне Москвы, а по возвращении опять заболел. 8-я книжка «Москвитяина» приближалась уже к концу, когда, не дожидаясь совершенного выздоровления и личного свидания с Александром Ефимовичем, я написал к нему, прося располагать мною, как заблагорассудится; но, вероятно, слишком занятый, он не снабдил меня никакими инструкциями и лишь прислал несколько корректур.

Теперь нога подрезала меня... Будь я фаталистом, право, можно бы подумать, что это какой-то терпкий год!.. Разумеется, оттерпевшись наконец, я вправе требовать от природы, чтобы на зиму она сделала меня крепким, как мороз, и последние номера «Москвитяина» да будут началом моего журнального гоппида, на котором уж конечно лучше лечь костями, чем осканиться и ударить себя в грязь лицом.

Сколько времени возьмет у Вас это письмо! Извиняюсь в его огромности: рука расходилась, как говорит Ваш Малоросс (в одном из «Психологических явлений»).

Предоставляю первому моему побуждению высказать те чувства глубочайшего уважения и преданности, какие питает к Вам, милостивый государь, Ваш покорнейший слуга.

И. Кокорев.

Р. С. Не имете ли Вы каких дел с г. Семеном? Предупреждая банкротство, он заключил мировую сделку со всеми своими кредиторами, а типографию передал (за долг) зубному лекарю Жоли.

№ 17. [Август 1847 г.]

М. г. Михаила Петрович!

По одному обстоятельству я должен быть у Вас безоплательно, и буду; по намеред посылаю эти строки, которые выскажут то, что с трудом высказывается на словах, особенно у меня. Непрятно беспокоить Вас, но это единственное средство, и лучше прибегнуть к нему, чем после упрекать

себя, зачем не решился сделать этого и обрушил на себя неприятные последствия грезительности. Я не мог погасить своего долга конторе, потому что жестоко ошибся и в расчетах и в надеждах. Некрасов заплатит по напечатанным статьям (для пояснения должен заметить, что во время рекрутской истории он прислал мне 200 руб., которые до сих пор не уплачены, следовательно, на неприсылку остального гонорара за повесть, до напечатания ее, советовать мною нельзя). Энциклопедия наша не вышла в предположенный срок: я недели с две головы не поднимал, а прочие сотрудники замедляли статьями. Да и с выходом ее мои средства не увеличатся, потому что гонорар взят вперед не только за первый, но почти и за весь второй выпуск. Крайние сроки моего финансового улучшения — 15 или 20 сентября (Москва) и 10 октября (Петербург), а между тем настоящее положение таково, что один день значит очень, очень много. Припомните мое сибирское заключение: теперь почти то же самое, нет заключения, но неприятность, грозящая в виде полиции, стоит его... После рекрутского истощения, когда уже не было возможности и меры просить Ваших пособий, я занял под официальный документ (простую расписку, но засвидетельствованную полицией) 140 руб. асс., уплатил было 50, остальные требуются, наступая на горло... Срок давно прошел. Обращаюсь к Вам, прошу сделаться моим кредитором на сумму хотя 20 руб. сср., остальные как-нибудь сколочу или упрощу отсрочить. Я не заставлю Вас сделаться строгим кредитором: уплатить вдруг конторе и Вам трудно; но вы назначьте, в какой из означенных сроков куда уплатить. Может быть, Вы с усудовольствием примете эту просьбу, и справедливо: но я сам с наименьшей неохотой делаю ее. Иначе решительно не куда обратиться. Истарг известно богатство литераторов; но между безденежьем и... не приберу выражения — бесчестьем резко, а что-то вроде его — разница неизмеримая. Прекрасно сознаюсь в бедности, но едва ли допущу себя до благодарных напоминаний о чести. Сделайте милость, не откажите. Если можно, не заставляйте меня иметь дело с конторою (в этом случае): всегда отказ, и исполнение скромной просьбы не лучше его. И те 50 руб. я получил в 5 раз, по кусочкам, из которых половина расплылась между рук. Что, если и Вы откажете? Боюсь думать об этом, а только усердно прошу о милости.

Преданный Вам *И. Кокорев*.

Р. С. В «Записках о Еватерине» Гейсера, кажется, неверно; должно быть Гаскони; но наверно не знаю, спрашиваю. Лист еще на той неделе пойдет в печать. Свежая статья сеть в «Смесь». Успею?

М. г. Михаил Петрович!

Знаю, что неисправному плательщику оказывают мало доверия, и все-таки осмеливаюсь обратиться к Вам с просьбой. «Живойская энциклопедия» (главный источник, доставляющий мне жизненные средства) выйдет во вторник 18 ноября; но, несмотря на такой короткий срок, г. Жолн из-за что не хочет изменить порядок расплаты, ссылаясь при этом на большие платежи, которые он должен был сделать в это время; так что я получу следующие мне деньги (до 100 руб. асс.) во вторник, и получу поверну. Между тем дома по части средств и по части «жизни» и у меня самого столько настоятельных нужд, что эти четыре дня должны быть для меня не сущей каторгой. Могу ли надеяться и просить, чтобы Вы не доверили мне на этот срок, то есть до вторника, 10 руб. сер.? Что они будут возвращены Вам в назначенное время — в этом ни о чем не ручаюсь, что я получу должную мне сумму, и, кроме того, необходимость поддержать свое честное слово.

...Вы сделали мне честь упомянуть мое имя в списке членов «Комитета редакции» возобновленного «Москвитинца». Отныне, представляя членский список, я буду называть себя членом. Вы можете мне распоряжаться им если не самовластно, то хотя бы конституционных началах. Выбрать две статьи не мудрено; но каждой самому писать, составлять ежемесячную хронику (в виде «Заметок» «Современника» и в другом виде) — для «Москвитинца» для обозрения журналов — поро мое в Вашем распоряжении. Если угодно, «Наташа» (продолжение «Сибирки») представится на Ваше благоусмотрение. И все эти труды должны вознаграждаться умеренною платою не иначе как из года до совершенного погашения которого я не потребую от вас ничего... Последнее слово: не откажите на первую просьбу.

Преданный Вам Н. Кокорев.

А. Ф. ВЕЛЬТМАНУ

№ 19. 10 июля [1849 г.]

М. г. Александр Фомич!

Статья г. Преображенского написана так резко, что, вероятно, Вы обойдетесь с нею, как со статьею Тхоржевского. Не идет спора ее чисто хозяйственный, следовательно, место в «Смеси», а не в «Крилизе», как полагает автор. В «Крилизе» получения от Михаила Петровича два юридических разв. Калустина и второе письмо об «Истории русской литературы».

Нынешний номер богат легким чтением: не заблагодаря судите ли Вы почему поместить в «Смеси» статью г. Студитского «О календарях», уже просмотренную Вами. Она бы уравнивала номер относительно серьезного чтения. Обзор «Москвитярина» за полугодие для «Московских ведомостей» составлен мною, остается только переписать.

Ваш покорнейший слуга *И. Кокорев*

БИОГРАФИЯ И. Т. КОКОРЕВА¹

Иван Тимофеевич Кокорев родился в Зарайске, Рязанской губернии в 1823 или 1826 году. Родители его были в те ли время или прежде крепостными дворовыми людьми полковника Л. В. Крюкова. В Москву при везен он двух лет, к старшему брату Николаю, занимавшемуся иконописаньем и довольно хорошо ведавшему свои дела. Покойная мать их так всегда выражалась о своих детях: «Николай был первый по Москве; живописец, а Иван — первый проинтерьер». Николай умер 13 лет назад. Кроме него, у Кокорева были еще три брата, из которых один поступил в военную службу. Иван Тимофеевич — самый младший из них.

Воспитание ему дал старший брат, бывший с 1834 года купеческим сыном. В этом году, семи лет, Кокорев поступил в Адриановское приходское училище, а потом в 3-е уездное училище. Воспоминанием этого времени остался после него для похвальных листов за успехи в поведении. По выходе из училища родные хотели сделать его иконописцем, по художеству брата, но он, как выразилась его мать, «и руками и ногами что вы, говорит, тицете икона и живописцы? Едва бы а-а сделали меня кузнецом. В кузнецы не хочу и в живописцы не хочу». После этого упорного отказа, при содействии одного побоившегося его уездного учителя Смирнова и директора Н. А. Старинкевича, его отдали во второй класс 2-й Мещинской гимназии, уже после экзаменов, из которых он почему-то не успел явиться. Памятью об этом времени осталась подаренная ему в третьем классе за успехи и благоволение книга, от которой остался один первый бумажный листок с подписью директора.

Учителя и товарищи все его любили. Учителя на vacation не отлучали от себя — так рассказывала мать его, — всегда брали с собой «благатых и благородных отцов были дети, не возмрут на vacation, а его возмрут. Дал ему господь таланты, можно ему сказать благодарить, не только ему, а и нам!» Так всегда заключала она свой рассказ. Без славения, учителя брали его не с собой, а давали ему случаи исправляться в деревне для занятий с учениками низших классов, детьми богатых родителей. Покойный отец его рассказывал живо и с самоудовольствием, как он трижды раз к сыну в гимназию «Взошел я, сместрю — Ванюшка

¹ Памятная В. А. Демьяныным биография Кокорева не отличается художественными достоинствами: автор ее не обладал, подобно Кокореву, литературным талантом. Ценность этого документа в другом — в многочисленных фактических данных, до сих пор остававшихся неизвестными и сохранившихся для нас близким другом писателя. Мы сочли возможным поэтому опубликовать его здесь в подлинном виде, с сохранением всех особенностей стиля прошлого века.

мой сидит и спрашивает как зовут одного барчонка, а барчонек через них стоит. Я после и спрашиваю Ивана: зачем это он перед тобой стоял? — Да ведь я говорю, зад ним побольший». Кокорев я сам любил светлые воспоминания этого времени. Он не раз с удовольствием вспоминал, как после классов приводило его толпа товарищей, любивших его к занятию-занятию от него познания, как по чьей-то рекомендации, он переписывал стихотворения графини Е. П. Ростопчиной и как ему приятно было, когда она хвалила его за знание правописания. Около этого же времени, в последнем (пятом) классе, он подружился с одним товарищем, дружба с которым сохранялась долго и после.

Из гимназии он вышел из пятого класса по неостаточности вычета в гимназии определенную сумму в 1841 году.

По смерти брата Николита Кокорев вместе с отцом и братьями приписан был к московскому нечаевскому обществу.

По выходе из гимназии, лет 13—16, не имея средств к жизни и, подобно многим молодым людям, увлекшись сценной, он хотел поступить в актеры и с просьбой об этом был у М. П. Загоскина, тогдашнего дирек-тора театра. Старый литератор обещая ему, разговаривая с ним, Кокоре-ва, с целью познать себя, начал высказывать свои сведения по лите-ратуре и стремление быть литератором. Загоскин ухватился за это, бароч-но распространился с ним о литературе, чтоб лучше узнать своего собесед-ника, и, угадав и нем талант, дал ему совет посвятить себя литературе. Тогда Кокорев весь отдавался чтению, которое любил еще с детства, чита-л без разбора все, что попадал под руку, и владел, конечно, обшир-нейшими, но весьма разнообразными сведениями, нужными для журналистской деятельности.

До начала своего литературного поприща, в 1847 году, он помещал черновики в «Жизненном обозрении», поправлял для него язык некоторых статей, держал корректуру. В 1845 году он занимался приведением в по-рядок разных исторических документов у А. Д. Черткова за хорошую плату и жил у него хорошо, посещал театры, концерты, жизнь нем тес-ную...

В том же году Кокорев участвовал в планах разных изданий с А. А. Стойковичем, как то: они предпринимали составить обширное и пол-нейшее сочинение о Кавказе по всем известным источникам, русским и иностранным, делаясь на отсуствие и потребность в подобной книге, что было в то время действительной правдой. План для этого составлен был полный. В книге своей они хотели представить длиннейшую историю и отдаления Кавказа к России, писание: природы Кавказа, его статистику, современные подвиги русских, совершенные и совершаемые там, биогра-фии вождей, огромное значение для России Закавказья, с затранными по-мощностями, портретами, с надеждой перевода за границы на иностран-ные языки. За пособием для осуществления этого плана касательно источ-ников и поддержки они намерены были обратиться с просьбою к кавказ-скому наместнику, в уже приготовлены были рисунки и перечислены все источники, русские и иностранные, которыми можно были пользоваться.

В 1845 же году Кокорев принимал участие в плане начинавшегося было великосинопольного иллюстрированного издания А. Сомова и А. Стойковича «Нравы, обычаи и таинства всех народов земного шара», которого вы-шли, кажется, только один том, и подготовил для второго тома огромную статью «Япония». Неизвестна судьба ее: даже отрывки из нее не наш-лись в его бумагах.

В это именно время началась та страшная тоска и задумчивость, которые впоследствии так развились в нем. Вот что писал к нему Стой-кович:

«Что же делаете вы над собой, Иван Иванович? Для чего сидите в воде и живете на дикях и дирижирах, как морская птица, для чего

ОЧЕРКИ
И
РАЗСКАЗЫ,

И. Т. Кокорев.

ЧАСТЬ I.

МОСКВА.

Въ Университетской Типографии

1858

Титульный лист сочинений И. Т. Кокорева изд. 1858 г.

не придется сюда, ко мне на кухню — работать или ничего не делать, но в теплой комнате; кажется, я не приучал вас к пустым переживаниям, когда они заходят за требования приличий между умными людьми. Приходите, у меня есть кресло, диван, горячий чай, теплая комната, плафрак, соберитесь с силами. Если нужны материальные средства, чтоб сегодня — завтра занять вашим родителям другую квартиру, скажите — сколько нужно, у меня готовы. Пожалуйста, отбросьте заботы о том, что скажут, подумайте — что подумаю, то и скажу. Поручите панешке искать квартиру, а сами идите сюда со всеми материалами, книгами, возите их. Один, двое, трие суток — и вы опять оправитесь. Защищайтесь сколько угодно, чем хотите, читайте, думайте. Если даже и срок не выйдет, бросьте ваши хлопоты.

А. А. Стойкович панеш был ему место корректора в Петербурге при «Современнике», и Кокорев намерен был отарашиться в Петербург, сильно рассчитывал на это место и был занят людьми отправления, но подосады обманули его почему-то.

В 1847 году написана и «Москвитянин» его первая большая повесть «Сибирка», мегатские очерки. С сих пор до самой смерти он был постоянным сотрудником «Москвитянина», при котором сначала был корректором, писал много рецензий, разных милостей для «Сибирки». Многие сценки «Сибирки» автор имел случай читать и действительности. В сибирку у кого был М. П. Погодин и его друг, который рассказывал, что он никогда не видел Кокорева так довольным, как в это время, когда то мажорировало это, как старшины, громко разговаривало стоголосым хором вышло и всякие другие песни. Кокорев был в восторге от этого и раз даже решился поступить в военную службу. Поступил брат его.

Неизвестно, какие были и чем кончились любовные приключения Кокорева. В дневнике своем он упоминает об этой любви, как о важном влиянии на его нравственную сторону. Навыки до смешного ревнивые интрижки этой девушки (она была горничная у бывшего директора училища живописи и ваяния Добровольского) доказывают ее неразвращенную, но беззаветную преданность, положительную и своеобразную натуру. Среди хаоса бумаг одна эта история и письма друге найдены и в порядке, особо хранямые, значат, покойник когда более поражен был.

Между 1845—1847 гг. он намерен был, кажется, жениться на любимой им девушке, жизнь вел правдынуку, распределял время для занятий; даже начал приобретать привычки семейного человека, так у него дружелюбный был черпачок кот всегда сидеть за столом во время его занятий. После 1847 года Кокорев не бывал уже ни в театрах, ни в концертах и начал очень опускаться.

Самое большое участие в судьбе Кокорева принимал М. П. Погодин. Содержание почти всех писем к нему — обещание исправиться. В бумагах Ивана Тимофеевича остались разные корректурные листы, заметки, выписки. Это — живая и разительная картина его внутреннего состояния, его дум и стремлений.

Приведем несколько известных нам данных из жизни Кокорева. Получив депешу, он часто, если не всегда, отрывался точь-в-точь и так же заведение, в каком залучился над «красной пеленой» его Савлушка, загвариван со всяким дружелюбием о его участии и жизни, с тою только разницею, что проводил и занедажки сутки, и двое, и более. Пока не истощатся средства.

Когда Иван Тимофеевич был сотрудником «Москвитянина», его по делам журнала отыскивали иногда и типографик и корректор. (За «Савлушкой», например, в продолжение почти целого года было, может быть, до ста понуждений и записок от М. П. Погодина. Крайняя нужда заставляла его приниматься за оканчивание начатых статей или писать сами милости) (Ветависко М. П. Погодин — Б. С.).

Конечно, причиной этому надо полагать и исключительность самолюбия. Но что же делать, если, как он сам говорит где-то, — «несчастье, потрясение, борьба, всякий толчок одну душу осмывают и укрепляют, и толкают вперед, а другую вкокс губит». В последнее время несчастья привычка или страсть доводила его до крайностей.

Лицо его и наружность с первого взгляда выражали кротость. Он был робок и застенчив, пока не начнет говорить, но когда наступал и разговор, то говорил кратко, умно и основательно. Праздных слов никогда, ни в каком состоянии не слышали от него, как-то и пад кем-нибудь и осуждения, даже за глаза, тоже; разве когда уже был вполне уверен в намеренном эле. Всегда обвинял самого себя. Иногда только острел таким пенным образом, называя пологого «баринком», «господином честным» или забывающегося о шике своих речей приятеля — собеседника — «маркизом», «деши», «ваше сиятельство».

Занимаясь корректурой по «Москвитинству», часто отправлялся вместе с наборщиками в какой-нибудь трактир к Петровским коротать пить чай. Тут он дружелюбно беседовал с наборщиками, с подовыми, особенно с одним любимым им прославленным, страстным любителем газет, и был вполне в своей тарелке — тихо весел и развязен, пробовал газеты московские, петербургские, «Нодшейские ведомости», «Нечелу», один держа в руке, другие под мышкой, третьи притиснув к стулу локтями. Как сотрудник журнала и составитель внутренних известий, он всегда следил за всеми журналами и газетами, и притом эта обратилась у него даже в страсть. Просматривал в газетах даже публикации, которые послужили ему содержанием одного очерка и о которых он часто писал для «Смеси», по-прежнему прислушиваясь, цулов, французского духа и французской порчи. Замечал черты неискренности, правдивости, честности, самоотверженности в характере русского человека и с жаром писал о них.

Следя за журналами и даже сам мотая со временем управлять редакцией какого-нибудь журнала, он знал отношения друг к другу многих журналистов и литераторов, разные редакционные анекдоты, подмечал журнальные последние обещания, которые повторялись одними и теми же словами и не исполнялись. Был очень начитан и имел любовь к библиографии. Не написал во всю жизнь ни одного стиха. Стоял за чистоту русского языка и терпеть не мог употребления в нем иностранных слов, особенно «французских» и «английских». Искл русское сердце, русский склад ума и любовь к труду, но не мог справиться с этими силами. Предпринимал от бедности даже книжные спекуляции и ни одной не осуществил. После всякого усвоения от правильной жизни он вновь собирался с силами, писал статьи в газеты, составлял известия и фельетоны.

Всегда носил с собой книжку, в которой записывал услышанные слова и выражения, характеризующие какое-либо лицо или состояние; выписывал заметки на память — что делать, куда сходить. Раскладывал и рассчитывал предварительно суммы, которые следовало получить, на что употребить, например купить атласу на джипет, сукна на ширтук, и редко выполнял эти расклады. Нередко не исполнял обещаний, но всегда сильно беспокоился об исполнении данного слова и стремился быть более правдивым и добросовестным. После его смерти мать рассказывала, как он был скуп. «Поднимешь с полу какой-то клочок бумажки, — так она доказывала его скупость, — он и тот стишок, взглянет, да все в сундук». Действительно, он все в беспорядке и без разбору сваливал в сундук, как будто падаясь когда-то разобрать, и не разобрал.

Бедное положение его часто доходило до того, что они с отцом срывали несколько газет и относили и мелочную лавочку продать за гривенник на обертку. Часто и теперь, кля по московской улице, как будто все ожидая встретить его, в старой пухле швыткку, сделавшей из шпелли, у которой отворот канешон, — идущего и жмущегося к стене.

жест дающего дорогу и приветствующего, как будто смешавшись: «А, здравствуйте, как вас бог милует?» Это его всегдашнее выражение. Квартира его в последние семь лет была на Самотке, в Волконском переулке, в доме Гольдштейна. Стоило только напугать на эту квартиру, чтоб никто цоллов понятия о последнем времени его жизни. (Он никак не хотел расстаться с ней, хотя несколько раз был приглашаем в хорошие дома. — М. П.)

По смерти его найдено несколько планов и множество одних только названий задуманных рассказов и повестей. Замечательны из этих названий: «Слуга всем», «Победная голова», «Сиротинка», «Маленький человек».

Один его знакомый, индеец, живший с ним недели за две до смерти, рассказывал, что Кокорев передавал ему свои планы, мечты и надежды, сожалел о незаконно растратченных силах и высказал при этом мысль, что эта растрата не коснулась духа. Вообще трудно было заметить в нем что-нибудь особенное, какую-нибудь перемену и какое-нибудь тяжелое предчувствие. Бойко-веселым он не бывал и прежде, а всегда почти скрытно-тогилн.

Отбывая за границу, М. П. Погодин поручил ему наблюдение над изданием «Москвитинина» из оставшихся материалов под руководством в нужных случаях профессоров С. П. Швырева и В. Н. Липкова, и он обещал и твердо решился认真完成 «Москвитинина». Но в первые же дни подпал обыкновенному искушению. Через неделю после этого он сделался болен. В самом начале болезни его видел один знакомый в каком-то страшном положении: он был в комнате один, и все лицо его имело на себе признаки сильного внутреннего волнения; на вопрос о здоровье отвечал, что здоров, только вчера потерял деньги. Потерянная сумма была значительная, в знакомый, подумав, что эта потеря — причина его волнения, стал звать его отыскивать, но он проговорил только: «Что деньги? не надо! Ну, уж вери, как попал в эту упряж, так тут и погибнуть!» — и опустил лицом в подушку. Тут входит старик из заведения и подает найденные им деньги Кокореву. Он даже не поблагодарил старика, а, отложив деньги в сторону, облокотился на стол, опустив голову на руки.

Через день или два с ним сделался на улице удар; случившиеся тут же отец и знакомые подняли его и отнесли в квартиру. Раз он стал звать отца в полуприот лежанку близ Трубн, недалеко от которой он жил, зная, что отец его во всю жизнь не пил пива и вина и бывал в подобных заведениях разве случайно и по необходимости, и, несмотря на его сопротивление, ублажал его идти с собою. Там они стали пить чай, и Кокорев грустно-задумчиво смотрел на разбродивших посетителей заведения.

Мать рассказывала, как он в последнее время сделался с ней необыкновенно ласков. Вставал по ногам, подходил к ней, со мной, становился перед ней на колени, плакал и целовал ее руки и не раз будил ее этим. Дней за пять до смерти начал он часто бредить. Духа не хотел лечиться, с недели никакой пищи в рот не брал, и больные тоже не хотели ехать. В беспечастие его усадили на извозника катеринки «Москвитинине», несмотря на сопротивление, и привезли в Екатерининскую больницу. Вслед за ним пришел к нему в больницу знакомый Н. Кокорев лежал недвижимо, вверх лицом, почти умирающий. Запах мускуса носился по комнате. Н. подошел к Ивану Тимофеевичу, который, взглянув, узнал его тотчас же. Ясно было, что он образовался, по лицу его пробежало живое выражение, и он прошептал: «А, здравствуйте» — и начал искать руки Н. Тот лил ему, и он около часа не выпускал из своих. Все это время он беспрестанно что-то шептал, слышн что-нибудь сказать. Можно было только расслышать раза три повторившиеся имя «Что Михаил Петрович?» и «Зачем меня сюда привезли?»

— Разве вам было лучше дома? — спросил знакомый.

— Как же, несравненно! — прошептал он. Ясно, что ему хотелось умереть в тех стенах, в которых он провел столько времени, столько пережил, передумал и перечувствовал. Он показал ему на образ, и он прошептал на это: «Все от своей глупости!»

По временам от сильной боли делал судорожные движения ногами и сжимал болезненно лицо. Сидел тихо, одиноко, между чужими лицами; даже знакомый его не дождался кончины его — 14 июня 1853 года, на 28-м году от рождения.

И остался в больнице только клочок бумаги, на котором написано: *Splendens foliis, b. bato!*¹.

Отпевание тела было в церкви Екатерининской больницы. Память его почтили своим присутствием человека два-три из профессоров и ученых, узнавших о кончине из «Ведомостей». Гроб подняли и вынесли типографские наборщики, все так любившие покойника.

Похоронен на Лазаревском кладбище, так элегически описанном им в «Салашке».

Может быть, кто-нибудь из москвичей, посещающих это «тихое жилище смерти, одним только валом отделяемое от поля разгульного веселья» Маринной роши, с грустной думой остановится на его могиле. Наборщики поставили на ней крест, на нем начертано камнем, едва заметно, имя покойного.

В. ДЕМЕНТЬЕВ.

— — —

¹ Организм здоровый, алкоголик.

БЫТОПИСАТЕЛЬ МОСКВЫ

«Что Москва растет, так сказать, не по дням, а по часам, растет запятми и народонаселением, что, неизменно сохраняя некое свое значение, как сердца земли русской, как матушки-Москвы, она в то же время не перестает быть обширным рынком всей внутренней торговли государства и, вместе с тем, городом, сосредоточивающим в себе главные силы промышленной деятельности... все это, кажется, не требует доказательства. Стоит побывать в Кремле, прислушаться к говору народа, наполняющего его в торжественные дни; стоит взглянуть... на фабрики и заводы, которые Москва считает сотнями... стоит, наконец, поговорить с каким-нибудь старожилом или посетить московские предместья — и значение коренного города России представится ясно, как никогда ранее».

Эти слова, принадлежащие бытописателю Москвы И. Т. Кокореву, как будто сказаны сегодня, хотя они написаны сто лет назад.

Советскому читателю, наблюдающему развернувшееся ныне гигантское строительство столицы, не лишне вспомнить о бытовом укладе в былые времена. Очерки Кокорева о Москве 40-х годов, превосходно сделанные им зарисовки трудящегося люда представляют нашему читателю большой интерес.

В. Д. Бонч-Бруевич пишет о том, с какой симпатией о таланте Кокорева отзывался В. И. Ленин: «Вот небольшой писатель... совершенно забытый, а как необходимо было бы переиздать его «Саянушку». Это такая прелестьная повесть! У него есть и другие, не сильные, но все-таки интересные бытовые рассказы. Вот таких писателей мы должны вытаскивать из забвения, собирать их произведения и обязательно публиковать отдельными томиком. Ведь это документы той эпохи...»¹.

В предлагаемый вниманию читателя томик избранных произведений И. Т. Кокорева включены лучшие из его очерков и повестей.

Незавидна судьба писателя, «дерзнувшего вызвать паружу себе, что ежеминутно пред очами, и чего не зрят равнодушные ниш, неки страннику, потрясающую тину мелочей, ошутающих нашу юность, всю глубину колодных, раздробленных, моведенных характеров, которыми кишит наша земля, подчас горькая и скупная дорога, и крепкого силею цемолмкого резца, дерзнувшего выставить их вынукло и ярко на всепародные очил...»².

Приведенные слова Н. В. Гоголя как будто прямо относятся к Кокореву, литературная судьба которого весьма примечательна. Именно сто

¹ В. Д. Бонч-Бруевич, Ленин о книгах и писателях. «Литературная газета» № 48, 1955 г.

² Н. В. Гоголь, Мертвые души, гл. VII.

«Надеюсь держать экзамен на звание домашнего учителя»; «Надеюсь вступить в ряды его сотрудников», — говорит он в журнале М. П. Погодина «Москвитинина», добавляя, что собирается «рытовать храбро за родимую Белокаменную» (письмо от 20 сентября 1844 г.). «Вперед! много очаровательных замков», — обобщает он свои стремления, «Работать, работать!» — вот основное его желание.

И Кокорев работает. Из письма к Погодину от 28 октября 1846 года видно, что в это время Кокорев уже стал сотрудником его журнала. «Условленное сотрудничество» мне и «Москвитинине», которое я думаю пачать со всем жаром новичка, со всем расстройством человека, обязанного Вами, — увы! шло и идет чрезвычайно плачевно». Помещаемые им в отделе «Смесь» заметки, редовны, молочно писаны явно по заказу и поражают своим необычайным разнообразием. Здесь и «Воззвание к крысостребителям», и «Искусство наживать деньги способом простым, приятным и доступным всякому».

«Какой талант, какая поэзия может сохраниться в человеке, при нужде сном убаиваться над такими предметами?.. Никто из читателей «Москвитинина» и любовавшихся рассказами Кокорева не предполагал, конечно, что этот же самый человек, тут же, через несколько страниц, выйдет как-нибудь заметкой о парикмахерском объявлении, о новом полпейшем оракуле... и т. п. Грустно перебирать эти заметки в собрании сочинений Кокорева, грустно за него и горько на тех, кто его долел до таких занятий»¹.

В «Жизнеписной энциклопедии» помещается его статья «Кабрера» — о герое партизанской войны в Испании времен Дон-Карлоса, там же — статья о Державине.

«Разве ты не знаешь аксоном, — пишет он другу, — что все литературы умирают с голоду, и если Иван Тимофеевич до сих пор уцелел, так только потому, что он не литератор, а поденщик, не мастер, а работник».

В 1847 году встал вопрос о призыве Кокорева в солдаты. Об этом он рассказывает так: «Кроме меня назначен и средний брат (скрытый леберн!). Он не годился в прошлый набор, но, может быть, годится теперь. Он негодяй, следовательно, лучше попробовать доставить сперва его; если он окажется негодным, тогда и получу отсрочку для найма рекрута. Покуда, до появления брата, я должен оставаться заложником».

Кокорева посадили в «сибирку» — специальную тюрьму для состоявших на рекрутской очереди. Беглец-брат отыскался было, но оплошность старшего брата дала ему возможность уйти. Только 7 февраля (через месяц) все кончилось благополучно: брат был отдан в солдаты.

Кокорев написал повесть «Сибирка», которую считал своим первым художественным произведением. Она появилась в «Москвитинине» в 1847 году с подзаголовком «Менчские очерки». Одному из действующих лиц повести даны имя и звание брата: живший Николай Тимофеевич. Повесть во многом автобиографична.

Один московский литератор рассказывал о знакомстве с Кокоревым и о его жизни в Москве, в Волжском переулке:

«Я был душевно рад познакомиться с автором «Саввушки», «Кухарка» и многих других прекрасных рассказов, и отправился. Ищу час, другой: никто и не слышал такой фамилии. В целом квартале никто не знает человека, имя которого провозносит с уважением, по крайней мере целая треть читающей Руси.

Как ни далеко Девичье поле, я возвращаюсь туда к редактору, и пускаюсь в новый путь с советом справиться в квартале. Пройдя по обширному грязному двору, отыскиваю, наконец, самую уединенную

¹ Н. А. Добролюбов. Собр. соч. в трех томах, М., 1952, т. 2, стр. 503.

избежку с двумя окнами, обращенными к забору, за конюшней, и отворяю двери: копот, шрак ужаснул меня, несколько минут я не мог ничего различить, задыхаясь от плотно сгустившегося воздуха; предметы мало-помалу яснее начали обрисовываться. В углу на голом деревянном камне отдыхал старик, белый как луна. Глухой канкан душил его. Приподнявшись с уселения, он несколько минут не мог сказать ни слова. Я предупредил его, проси сохранить свое положение. Ясно, я ошибся. Я просил живненька я, прощаясь, спросил: не может ли он сказать мне, где живет г. Кокорев? В это время в двери соседней комнаты выслуналась голова какого-то молодого человека; он попросительно посмотрел на меня. Я повторил свой вопрос, крикнув: Кокорев, писатель, сотрудника «Москвитянина».

— В таком случае я к вамям услужу; не угодно ли вам войти в мою комнату, — продолжал он, заметно смущившись.

Я повиновался.

Комната, в которую я вошел, освещалась двумя окнами; стул, стол, лампа, занавешенный бумагами, кровать, из-под которой выглядывали книги и журналы; рядом с чернильницей — бутылка на столе, исправляющая должность отсутствующего подосащика, — вот все, что я видел в мастерской художника, в которой столько перелумано, перетуснововано, художнически воспроизведено... Как много людей, бесцельно сбросивших землю своим жалким существованием, располагают богатыми средствами, не зная ни цены, ни премия назначения их... а от, это благо-родные существа! Мать — кухарка; отец — слабый, большой старик, не покидающий постели (больноотпущенный); брат — извозчик. И не пасть, и самоотверженно, твердо цести крест свой и гордо торжествовать в борьбе с беднотой жизни, — какое маское, миничеаеое слово оставил он на память о себе быть, средн которого вырос Азиз «Саянушки» не скоро умрет, принадлежки истории литературы... Я встречался с ним еще несколько раз... Последняя встреча испугала меня: пламя таланта, сосредоточенное, безмолвное страдание пожирало нежную организацию: он угасал заметно. Труды огромные истощали все его силы, убивали здоровье — и за все его вознаграждались даже как полесиника! Люди примышленные пользовались его страстью к литературе и крайностью прожорения»¹.

Эта жизнь в условиях крайней бедности иногда доводила его до отчаяния. Каким криком о помощи выглядит письмо Кокорева в редакцию «Москвитянина» с просьбой о выдаче ему ласки рублей! Фотокопию этого автографа мы привели в этой книге.

В одном из писем к Погодину Кокорев объяснял причину невозможности явиться в редакцию: за отсутствием связи, «М. г. Михаил Петрович!» В силу сделанного мне Вами замечания снесу известить, что сегодня я не могу явиться к Вам не потому, чтоб был болен, а по самой пустой причине, маляющийся, однако, совершить пешее хождение под Девичье [поле]. Удильтесь, а между тем это факт». В дневнике Кокорева записывается, что сидит, хат на мели (потому что нигде не может показаться), почти в рубище, без теплой одежды в горячошней мороз. Он стал сомневаться в своих силах. Только самому себе мог довериться он следующую, почти трагическую запись: «Сколько времени лину ко-весть, но как создастся он!» Неужели я без всякого дарования, обделен всеми талантами и могу быть лишь корректором; неужели бесплодно прожито столько лет и душа не получила никакого развития?» Нет, да-прасно было мне перенести на себя, когда виноваты были другие.

В неопубликованных дневниках М. П. Погодина за 1849—1850 годы сохранилось много таковых замечаний, рисующих отношение редактора журнала к своему работнику. Основой той их: «честные докуки от

¹ «Литгеон». ССП, 1855, т. XXI, кн. 5, стр. 12—17 (без подписи).

Кокорев». То разговор об его похождениях, то он «платит деньгами». Вот одна из записок 1850 года: «Кокорев пропал опять с корректурой. Предосади! Сперва я был в досаде, а потом внутри расхохотался. Только как разбойник в Туреттиде. Вот каковы сотрудники». Через несколько дней опять: «А Кокорев не?». Еще через пять дней: «Досада Кокорев». И наконец снова он «пропал, из ума не выходит. Что будет дальше?»

Сочерщенски никак не относился к Кокореву другие писатели.

Во время «сережского истощения», когда Кокорев «хлопотал о найме джентльмена, который заменил бы его в царский службу», он собирал для этого «необходимую» сумму денег: занимал у Погодина, у своего друга и т. д. Редактор «Современника» П. А. Некрасов прислал в это время ему из Петербурга двести рублей.

Хорошо относился к нему и писатель, вошедший во вновь организованную редакцию «Москвитина». После «длинных стираний», как называл их Гоголь, «миллиардная редакция» заметно оживила журнал. На страницах его появились пьесы А. Н. Островского, повести А. Ф. Писемского, критические статьи А. А. Григорьева.

«В пору надежд, надежд, как цвет обертки нашего милого «Москвитина» 1851 года... и оживал душою, и шевел, и всеми излучениями рвался настроен к тем великим открытиям, которые свисали в начинающейся деятельности Островского, тем светлым ключам, которые блики в «Тюфяки» и других вещах Писемского да в ярко талантливых и симпатических набросках Кокорева¹. Апологон Григорьев любил Кокорева как человек и очень ценил его дарования».

Сохранялись отзывы о Кокореве И. С. Тургенева. В письме к С. Т. Аксакову от 29 июля 1853 года Тургенев писал: «Мне очень жаль, что Кокорев умр. Это «Саввушка» подвигала большие надежды. Много в нем было теплоты и наблюдательности. Нездоровится нашим писателям!»² В письме к И. В. Лизанкову от 8 июля 1853 года Тургенев почти теми же словами пожалел о нем: «Улыбка и смерти Кокорева — я прочел «Саввушку» — и искренне пожалел о смерти автора. Много в нем было простоты и теплоты и — при всей наблюдательности — какой-то детски простой и ясный взгляд на вещи. Жаль его!»³

Наконец, в статье, помещенной позже в «Отечественных записках» под псевдонимом Т. П., он назвал Кокорева «замечательным дарованием».

Один только Погодин не понял этого или не хотел понять, не замечал таланта своего сотрудника, держал его, как говорится, в черном теле. На униженные просьбы о помощи отвечал короткими пощечками и постоянно сетовал на его «чуждые доделки».

Правильно сказал о Кокореве Добролюбов, что «для того общество могло бы спросить: отчеты еще у кого-нибудь, кроме слепой и неразумной судьбы. Нога, эксплуатировавшие его, залубили его талант и самую жизнь».

Лже устал за грешней о смерти своего ближайшего сотрудника, Погодин сделал вид, что удивлен: «Третьего дня в бездельных глупостях я увидел начинающ, что Кокорев умр. Несчастный! Что с ним случится?» Похорошить его было не на что. Он был погребен на деньги, выданные ему его Елизаветой Фоминичной (тещей Погодина), — восемнадцать рублей.

Такова была незавидная судьба труженика литературы в крепостном обществе.

1 А. Григорьев. Мои литературные и нравственные скитальчества. Материалы для биографии П., 1917, стр. 48.

2 «Рес-ник Европы», 1894, февраль, стр. 476.

3 «Вопросы литературы», М., 1957, № 2, стр. 183.

Время, когда Кокорев писал свои очерки, — 40-е годы XIX века. В этот период получили наибольшее развитие и пользовались особым успехом жанр «физиологических очерков», правдиво отражавших действительность. Героями этих очерков были главным образом таковы названные люди «нижнего звания», Кокореву принадлежат здесь большая и важная роль, как одному из создателей жанра физиологического очерка и как значительного изображителя в литературе трудящегося человека.

Попытки создания физиологических очерков городского типа имели место в начале 40-х годов и у буржуазно-либеральных писателей — у Греча («Картинки русских нравов», СПб., 1842), Булгарина («Очерки русских нравов», СПб., 1843) и др. Однако консерватизм, религиозные соображения буржуазных «Кокорев» и других правополитических картинок Петербурга были осуждены Белинским, как «старые, давно известные или вовсе пустяки, не имеющие никакого достоинства», как «лишены из поля русской литературы». Интересен отрывок критика из очерков Москвы, изданных в это время М. П. Загоскиным («Москва и москвитин», М., 1842—1844): «Считаю неуместным слишком распространяться здесь об этом произведении, скажем только, что оно, несмотря на все свои достоинства, вполне оправдывающие высокую славу его сочинителя, имеет тот весьма важный недостаток, что в нем нет ни Москвы, ни москвитин».

Революционно-демократическая литература искала и находила новые формы и методы изучения жизни народа. «У нас совсем нет беллетристических произведений, — писал В. Г. Белинский, — которые бы, в форме путешествий, поэм, очерков, рассказов, описаний, знакомили с различными частями беспрелестной и разнообразной России. Москва и Петербург, Казань и Харьков, Архангельск и Одесса, какие резкие контрасты! Какая ниша для ума наблюдательного, для гера юмористического!».

Результатом изучения жизни трудящегося слоя населения являлись физиологические очерки Некрасова, Кокорева, Дала и других писателей-разночинцев. В сборник произведений этого жанра «Физиология Петербурга» вошли «Петербургские углы» Н. А. Некрасова, «Петербургские тараманчики» Д. В. Григоровича, «Петербургский дворник» В. И. Лутинского (Дала) и др.¹ Одновременно в Петербурге работал в жанре физиологического очерка петрашевец С. Ф. Дуров («Петербургский Ванька», «Халатник», «Тетенька» и др.).

В Москве появляются бытовые очерки Кокорева, рисующие жизнь тех социальных слоев, которые только начинали привлекать внимание писателей, — городской бедноты, мастеровых, мелких ремесленников. Характерной чертой этих очерков является выражение действительности, то есть именно то, что составляло основную задачу литературы, о том говорил Белинский в статье «Русская литература в 1844 году»: «Теперь, слава богу! хотят видеть в книге не средство к приятному употреблению времени, а мысль, направление, мнение, истину, выражение действительности». Все это составляет характер последнего периода нашей литературы, которому то и принадлежали такие Гоголь и Лермонтов»².

В очерковом жанре вообще, кроме уже названных, работали также И. И. Панаев, В. Г. Белинский, И. С. Тургенев и другие передовые писатели 40-х годов. И. С. Тургенев, например, предполагал в серии

¹ В. Г. Белинский. Собр. соч. в трех томах, М., 1948, т. II, стр. 765.

² «Физиология Петербурга», составленная из трудов русских литераторов, под редакцией И. Некрасова, СПб., 1845.

³ В. Г. Белинский. Собр. соч. в трех томах, М., 1948, т. II, стр. 703—704.

очерков списать Петербург так же, как Кокорев — Москву. Интересно сравнить здесь планы этих книг.

Кокорев. План книги в Москве:

Путешествие по трактирам. Московские улицы. Очерки Замоскворецья. Поча в Кремле. Загородные гулянья (окрестности Москвы: Петровский парк, Архангельское, Кунцево, Кузьминки, Бутырки). Монастыри. Гостиницы и подворья. Кладбища.

Тургенев. План книги в Петербурге:

Галерея галлери. Наиболее удачная часть города. Сенная со всеми подробностями. Одна из бывших домов на Горьковой. Физическая Петербург ночью (извозчик и т. д.). Толкучий рынок. Атракцион дво-реп. Бег по Неве. Внутренняя физиология русских трактиров.

Как видно из названий физиологических очерков, они посвящены описанию быта людей, профессии которых считались «низкими». В очерках Кокорева изображаются дворники, извозчики, кухарки, портные, сапожники, польщики, половые — все то, кто своим трудом обслуживает городских жителей. Бедный люд, а не дворянско-барская Москва, — вот кто впервые в то время стал предметом литературы!

Это оскорбляло аристократические чувства некоторых газетных критиков, заставляло их удивляться, что есть писатели, которые не стесняются писать о дворниках! Но очерки имели важное прогрессивное значение. Они показывали, что за внешним блеском феодальной империи скрывается ужасная нищета трудящихся масс.

Показ современной действительности — вот огромная и благодарная тема для писателя, как понимал ее Кокорев. В одном из своих очерков он так и сказал о ней: «Животрелепущая современность раскрывается перед нами такой величественной картиной, поражает столичным диковипами, что нет никакой возможности устоять против ее обалдевшего».

Сын народа, бедных-разночлен, вежко нуждающийся и знавший цену трудовой копейки, Кокорев жил в тесном и душном кругу бедноты. Этот круг, говорит его биограф, был и мучением его, и пищей его таланта. Отсюда он черпал свои наблюдения, когда бродил по московским улицам и рынкам, беседовал с людьми, слушая и записывая. В письме другу он сообщает, что любимое местопребывание его — Марьяна рош, где он изучает Русь в хороводных песнях.

Очерки Кокорева интересны не только в историко-литературном отношении, они ценны в первую очередь как бытовые странички, рисующие Москву 40-х годов. Героями очерков и рассказов его выступают не богачи — «существователи», а бедняки — «действительные».

Мещанские нравы, жестокая борьба за существование, подругательство над человеческим достоинством изображены Кокоревым очень ярко. «Немногим было известно... — говорит Добролюбов, — что эти очерки, изображающие горькую бедность с честным трудом, а подчас и грязь, и забвение горя на чаркой... что все это — востроизведение того, что со всех сторон обхватывало и сжимало жизнь самого автора. Он не издал, не в качестве дилетанта пародности, не в часы досуга, не для художественного изыскания наблюдал и изображал жизнь бедняков, с горем и часто с грехом пополам добывавших кусок хлеба. Он сам жил среди них, страдал с ними, был с ними связан крепко и неразрывно»¹.

Изменно этим и объясняется превосходное знание Москвы, которое обнаруживал Кокорев в своих очерках. Он стал подлинным бытописателем Москвы, по глубине наблюдений не имея себе равных.

Этим же объясняется и любовь к народу, к его тяжелой доле, которую показывает Кокорев в своих произведениях и которая придает его таланту настоящую гуманность. Даже скрывая юмор и шутку чувствуется боль за свой народ и выплыли слезы за его тяжелую участь. Почитайте,

¹ И. А. Добролюбов. Сибир. сеч. в трех томах, М., 1952, т. 2, стр. 500

с какой любовью он говорит об извозчике: «Кто в эту пору появляется на помощь людям? — Ванька. Кто предлагает свои дешёвые услуги скромным поселячкам, кто развозит их по ночлегам? — Ванька. А не слажоты, а метель, у кого находит успокоение усталый, протёртый пешеход? — У ваньки». Он обращается к кухарке: «Поклон тебе, приния рука, усердная помощница всякой доброй хозяйки! Привет тебе!»

Рассказы Кокорева полны простоты и естественности, в них нет ничего натянутого, псевдоатурального, он рисует всегда тот мир, который изучал и знал. Рассказы согреты тёплым сочувствием к людям, оттого и них столько прелесть.

В кратком предисловии к циклу рассказов «Русское сердце» он говорит: «Такое заглавие и для собрания небольших рассказов, основанных на истинных происшествиях, в которых является светлая сторона нашей народной жизни».

Представляет интерес также небольшая его сказка «Пчелиный разговор», относящаяся к 1850 году. Не будет ошибочным сказать, что это была первая попытка в литературе дать аллерию на устройство современного общества в образах трутней и рабочих пчел. Напомним, что очерк К. Фохта «Искусство пчел» вышел в свет в 1859 году, а знаменитый социально-политический памфлет Д. И. Писарева «Пчелы» — еще позже. Конечно, этот памфлет — произведение большой политической силы, но и улей Кокорева — картинка «темного царства» в миниатюре.

Талант писателя особенно проявился в его последней повести — «Саввушка». Цензурная история ее настолько интересна, что необходимо сказать о ней подробнее.

В августе 1847 года Кокорев писал М. П. Погодину: «Некрасов заплатил за напечатание статьи (для появления я должен заметить, что во время рекрутской истории он прислал мне 200 рублей, которые до сих пор не уплачены, следовательно, на депозитку остальных гонимых я повесть, до напечатания ее, ссозать иного нельзя). Крайние сроки моего физическое улучшение — 15 или 20 октября (Москва) к 10 октября (Петербург)».

Очевидно, Кокорев ожидал гонимых на принятию Некрасова повесть. Между тем в «Сиярменниках» за 1847—1848 годы повесть И. Т. Кокорева не появилась. 20 сентября 1847 года в своем письме официальному редактору журнала А. В. Никитенко Некрасов сообщил, что он послал цензуре Срезневскому повесть «Саввушка», но что она печататься не будет: «Я узнал, почтеннейший Александр Васильевич, что повесть «Саввушка» уже послана к Срезневскому; поэтому, кажется, теперь осталось одно средство предупредить его затруднение и напрасный износ: погрозиться написать к нему, что Вы сами писали повесть «Саввушка» неудобно к печати в том виде, как она набрана, и потому просите его не трудиться напрасно читать ее, ибо она будет переделана или вовсе уничтожена. Это письмо — если Вы найдете нужным поступить так — пришлите ко мне, и я тотчас отправлю его к Срезневскому. Весь Вал И. Некрасова».

Из переписки Кокорева и Дамеяева с Погодиным видно, что цензура в это время вообще не пропускала в печать описаний быта «низших сословий». Характеризуя действия цензуры в одном из писем к Погодину (1847 года), Кокорев писал: «Ваша статья издала, исключая до такой степени, что ее узавать нельзя. Доколе будет это? Значит, даже статьи самого Погодина, этого столпа «официальной народности», подвергались жестокой цензурной правке. То же было и с художественными произведениями, не исключая и стихов. Так, в одном из писем Дамеяева к Погодину говорится, что «цензор выкинул в Русской словесности стихи Ждановской, где описывается быт крестьянина».

Долгое время не было установлено, в какой повести и какого имени автора писал Некрасов. Сопоставление некоторых фактов и обстоя-

тельства дают татару возможность установить, что этой замышленной повестью была «Саввушка» Кокорина. Об этом говорит, кроме цитированного письма об ожидании тотораре, еще и следующее: после запрещения чести, над которой Кокорин так долго и упорно работал, он пережил сильное душевное потрясение. В Демосфее в биографии писателя говорит, что летом 1817 года Кокорин не бывал уже ни в театрах, ни в концертах и начал даже отсушаться. Предполагавшийся переезд его в Петербург для работы в «Современнике» не состоялся. О «книжничных обветшалостях», приехавших Кокорина к издательской жизни, говорил и П. А. Добролюбов. Однако то, что цензура запрещала, — правдивое изображение быта крестьян («Антон Горемыка» Григория) и ремесленников («Саввушка» Кокорина) — нашло все же путь к читателю. Повесть Григоровича появилась в печати в том же 1817 году и была отмечена В. Белинским, М. Санниковым-Щедрым и Л. Толстым. Повесть же Кокорина появилась через несколько лет, уже не в «Современнике», а в «Москвитинке».

Указывая на ряд истинно художественных мест повести, Аволлон Григорьев приписывал ее к числу замечательнейших явлений литературы 1812 года. Эта повесть с интимом и партикулярным портретом Саввы Силина — самое задумчивое произведение Кокорина, о котором Тургенев сказал, что в нем чувствуется своеобразная «теплая струя, которая дает только особенный близкий близостью автора к описываемым лицам». Но, кроме знакомства с нравами, приходится отметить и глубокое знание характеров, психологии героев, выписанных с настоящим мастерством.

Несмотря на незначительное обрастание, Кокорин обнаруживает широкое знакомство с родной литературой. Мы находим у него такие крылатые фразы: «Какая смесь ослика, лиси и сосисий!», «Длинушая огромного размера», «Галистербейское, черт возьми, обхожденное», «Трех губернаторов обманула» и многое другое.

Приведем здесь только один отрывок из сказки, которую рассказывает Саввушка соседской дочери Саше:

«Жил жил, а служить нягде не служил храбрый рыцарь-кавалер, мушкетер царь, козаринный государь, что тот ли колесный секретарь. Дворец у него без крыши, а по полу гуляют мыши; на часах стоят жуки и ружье держат у руки; как па караул отдадут, так со страхи уладут: целых главный у него генерал — нем свет и заорал. Кафтан, сударишка ты моя, у пашего кавалера воздушный, воротник па кафтани еловый, обидега сосисовые, добит достром, оторочен снетом. Кушает от сена с хлебом, солому с горчицей, лапти с патокой — кушанья все дикие: три дня не ест, а в зубах козыряет, гостей на чир соизмает.»

Образ Сыска наделяет автором большой симпатией и вызывает сочувствие читателя. В повести «Саввушка» Кокорин впервые поднял эвристику толпе и запиту жемчужин, гибнувшей в условиях ложной семейной морали. Но это, пожалуй, и единственный пролет, изданный — у писателя. Как правильно отметил Добролюбов, «ли отчаянного стопа, ни мученого проклятия, ни жалкой, кроваво-оскорбляющей прощанья — ни разу не выдет из этого вежлого, терпеливого сиринга...»

Несколько портит повесть также сентиментальный конец — сцена на кладбище.

Нельзя не отметить впервые публикованные в данном собрании письма Кокорина к неизвестному другу. Они относятся к периоду, особенно трудному для писателя в материальном отношении (1813—1817 гг.), что видно также из писем его к М. П. Покляеву.

Однако и письма к неизвестному другу больше всего жалоб на бедность. Наоборот, они полны неудовлетворенностью сделанным и призывами к выполнению своего гражданского долга. Письма показывают патристизм автора, готовность и страстное желание сделать что-нибудь

для отечества, его трудолюбие и сознание ответственности перед литературой. Написанные хорошим литературным языком, с предельной искренностью и бескомпромиссностью к самому себе, они являются примечательным человеческим документом.

Говоря вообще о литературном мастерстве Кокорева, нужно отметить его живой народный язык, насыщенный пословицами, прибаутками и поговорками. Кроме купеческих, рыночных, торговых терминов и составовворских эпитетов, Кокорев часто вводит сложные стогообразованные, принадлежащие гомиру народные характеры: белотелец, кудеруцкий, серошафтанчик, намосквитылец. Кстати можно вспомнить изображения Кокорева против эскизные иностранные слог в публикациях, вывесках и пр. Это можно объяснить отчасти влиянием официальной народности, типичной для «Маскивничества», в особенности, цитирую, замыка правосторонних слов русскими: аллоб — уекоство; пейлаж — краевид; портрет — подгаче и т. д.

К недостаткам стиля писателя можно отнести некоторую непоследовательность изложения, частые, иногда непунктуальные отступления, слащавость.

Следует отметить у Кокорева попытку примирения с действительностью, лояльность судьбе. В этом смысле, по мнению Г. В. Плеханова, тот период в развитии наших образованных разношерстков, когда они совсем еще не вышли веры в народную самодеятельность.

После Кокорева в жанре очерка работали писатели-народники: Г. И. Успенский, физиологические очерки которого имеют заглавия «Цворник», «Шошочник», «Старосинник»; А. И. Тенетов, изображавший «Нравы московских дворянских улиц»; Н. И. Златовратский (потерял крестьянской общины); Ф. М. Решетников, не только отражавший страдания крестьянства в порочном период, но и резко обличавший самодержавие. Примечательно, что В. И. Ленин цитировал этнографический очерк Решетникова «Поддольники», а сочинения Лизинкова до сих пор находятся в его библиотеке в Кремле.

Таким образом, можно считать И. Т. Кокорева в какой-то мере предшественником беллетристов-народников, которые в дальнейшем с большой полнотой отразили быт трудных людей города и деревни и с публицистическим пафосом обличали самодержавие. Не случайно один из них, Ф. Нефедов, почил статьей «Забывший писатель» десятилетнюю годовщину смерти И. Т. Кокорева.

Очерки и повести И. Т. Кокорева о Москве имеют большое познавательное значение для современного читателя, а и этом их особая ценность.

Б. СМЕРЕНСКИЙ.

ПРИМЕЧАНИЯ

Сочинения И. Т. Кокорева были изданы сто лет назад — в 1858 г., в трех томах, под названием «Очерки и рассказы». Подготовку этого издания начал лично автор, тщательная работа которого видна при сопоставлении первоначальных журнальных текстов с трехтомным изданием.

В дальнейшем отдельно издавалась только повесть «Саввушка» — в «Народной библиотеке» в 1886 г. и в издании А. С. Суворина в 1905 г. Вторично «Очерки и рассказы» Кокоревы были изданы уже в наше время — в издательстве «Азбука» в 1932 г., под редакцией и со вступительной статьей Н. С. Анукина.

Повесть И. Т. Кокорев «Сибирька» включена в издание «Русские повести 40—50-х годов XIX века» (М., 1952). В издание «Русские очерки» (М., 1956) вошли «Извозчики — дикари и нашки» и «Ярославцы в Москве».

Настоящее собрание включает очерки о Москве и провинции. В него включены также вновь найденные письма Кокорева к М. П. Погодину, А. Ф. Векшталю и неизвестному другу. Все эти письма публикуются впервые. В книгу включены также найденная нами биография И. Т. Кокорева, написанная В. А. Демоскиным в 1854 г.

Произведения печатаются по тексту посмертного собрания, сверенному с первоначальными текстами в журналах, так как автографы Кокорева не сохранились. Опечатки и искажения устранены. В связи с избранным характером очерков порядок расположения их принят тематический. Примечания под текстом произведений, за исключением перифраз иностранных слов, принадлежат автору. Циты писем, взятые в квадратные скобки, автору не принадлежат.

При подготовке издания были использованы экземпляры трехтомника 1858 г. и некоторые редкие иллюстрации из собрания Н. П. Смирнова-Самарского, которому мы обязаны случаем выразить признательность.

ОЧЕРКИ

Москвин промысловость и Москва

Впервые напечатан в журнале «Москвитин», 1848 г., № 11, за подписью — И. Кокорев. Текст дан по изданию 1858 г. «Очерки и рассказы», ч. I, стр. 77—94.

Пуик (пузик) — единица счета в карточной игре

Талан — участь, судьба.

Снитъ — трава, иначе называется «борщевник».

Хандошкин И. Е. (1747- 1804) — композитор, скрипач-виртуоз, автор сочинений, в которых использованы русские народные песни.

Извозчики — Лихачи и ваялки

Впервые напечатан в «Москвитянинах», 1849 г., ч. VI. Включен в книгу «Русские очерки», М., 1956, т. I, стр. 355. Здесь текст дается по изданию 1858 г., сверен с «Москвитянином».

Казенная мера — мера роста при призыве в солдаты.

Биржа — здесь толпка извозчиков.

Подушное — подать или налог, которые крепостные платили с каждого члена семьи мужского пола.

Дворник — здесь содержатель постоялого двора.

Будка — сторожевое помещение полицейского сторожа, «бутаря».

Живойный извозчик — легковой.

Калибер — дрожки, иначе назывались «гитара».

Старьевщик

Впервые напечатан в «Ведомостях московской городской полиции», 1852 г. Текст дается по изданию 1858 г.

Балаган — район Москвы, где располагались Мещанские улицы.

Площадь, Старая площадь — между Ильинскими и Варварскими воротами.

Ярославцы в Москве

Впервые напечатан в «Москвитянинах», 1849 г., ч. I, кн. 2, за подписью — И. Кокорев.

Включен в книгу «Русские очерки», М., 1956, т. I, стр. 747. Здесь текст — по изданию 1858 г.

Офеня — корабейник, странствующий торговец галантереей, питцами, лубочными книжками и картинками.

Теньер Давид (1610— 1690) — фламандский художник.

Трактиры Бубнова, Морозова, Печкина — известные московские трактиры 40-х годов, популярные среди купцов, актеров и писателей.

Трубки Жукова — табак фабрики В. Г. Жукова.

Пчелка — газета «Секретная пчела».

Кухарка

Впервые напечатан в «Ведомостях московской городской полиции», 1852 г. Текст — по изданию 1858 г.

Тредиаковский В. К. (1703- 1769) — поэт и теоретик литературы.

Уездил под красную шапку — попал в солдаты.

Публикации и вывески

Впервые напечатан в «Москвитянинах», 1850 г., ч. I, № 2—3. Здесь текст — по изданию 1858 г.

Политическое — гравюра на дереве.

Знаменитый «Яр» — ресторан в Москве. Здесь часто бывал Пушкин с друзьями.

Бумагопродильная литература — так Кокорев называет литературу, издававшуюся с целью нажания. Такую литературу ему приходилось рецензировать для «Москвитянина».

Боско В. (1793—1863) — итальянский фокусник, гастролировавший в Москве.

Самовар

Впервые напечатан в «Москвитянине», 1850 г., № 4, стр. 85—113, под названием «Похождения саковара», за подписью — И. Кокорев. Здесь текст — по изданию 1858 г.

Bacchi-cantante (итал.) — бас-кантате, мужской голос.

Mezzo-soprano (итал.) — меццо-сопрано, женский голос.

Imprimatur лат. — разрешение, утверждение, одобрение, разрешение ориентации

Самаракан: А. И. (1717—1777) — писатель, драматург.

Глинка Ф. И. (1786—1880) — поэт и публицист.

Литературный шарада, в которой заданное слово отключено или переставлено букв.

Аксаковская — перестановка букв в слове, образующая

Кавинский Ф. А. (1721—1801) — немецкий поэт

Кубинский — кубинский, кубет

Ел. Neptige (франц.) — несоблюдение

Скороб В. А. (1813—1882) — писатель.

Курейка — лесной тулуп, крытый сузном.

Козлов И. И. (1779—1840) — поэт, автор романса и др.

Чай в Москве

Впервые напечатан в «Москвитянине», 1848 г., за подписью — И. Кокорев. Текст — по изданию 1858 г. *Ab eis* (лат.) — с начала.

Сборное воскресенье

Впервые напечатан в журнале «Москвитянин» в деле «Московская летопись», под названием «Сборное воскресенье», за подписью — И. Кокорев. Старки в сборнике также в «Московском городском листке», за подписью И. С., и в «Москвитянине», 1850 г. Л. Мей.

Сборное воскресенье — так называлось первое воскресенье, в которое устраивались традиционная ярмарка и базар. Списанный Кокоревым торговля в Москве была переведена на Трубную площадь.

Рам — лоток с перетянутыми картинками, куклами и базарах.

Доезжий — охотник, управляющий охотой. *Кулачные и лезвильные боксы, собачьи и медвежьи вилы зрелищ* в старой Москве.

ПОВЕСТИ

Сибирь

Впервые напечатана в «Москвитинях», 1847 г., ч. 1, за подписью — И. Кокорев, с подзаголовком «Мещаческий эпизод». При включении в собрание сочинений Кокорев отредактировал повесть заново, здесь многочисленные стилистические поправки. Здесь текст дается по изданию 1859 г. Тот же текст приведен в «Русских повестях 40-50-х годов XIX века», М., 1952, т. II, стр. 617—662.

Троицкая застава — переселенческая повесть в Крестовскую (ныне Ярославскую губернию).

Слушай! — сибирская повесть в новое время.

«Парижские тайны» — мещаческий роман Эжена Сю (1804—1857).

Повесть — здесь повесть.

Раскраска — раскраска цветка.

Иван Яковлевич (Корейша) — известный юродивый «пророчдатель» в старой Москве (умер в 1861 г.).

Золотильда, Феб — персонажи романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери».

Православная повесть от Иверских ворот. — На месте Иверских ворот, где была часовня с иконой Иверской Богоматери, по утрам толпились выходящие со службы «приказные плясаны», искавшие просьбы и прощения.

История Наташи. — Кокорев собрался писать продолжение «Сибирки» — рассказ «Наташа» (письмо М. П. Погодину от 13 ноября 1847 г.).

Саввушки

Повесть написана в 1847 г. и предназначалась для журнала «Современник», однако не была пропущена цензурой.

Впервые напечатана с подзаголовком «Раскраса» в «Москвитинях», 1842 г., № 15, стр. 49—92, и № 16, стр. 121—176. Двежды издана отдельно: в «Народной библиотеке», М., 1886 г., и в издательстве А. С. Суворина, СПб., 1906 г. Здесь текст дается по изданию 1886 г., сверен с журналом.

Букв, пока2 — славянские названия букв «б» и «п».

Шамполем Ж. Ф. (1790—1832) — французский ученый-эпистолог, открывший клещи и членики шелкопряда.

Галенок — горная чаща.

Фразка — французская шинель.

На крючку на брата. — Крючок — мера для предания взвешивания — кружка с крючкотворческой ручкой.

Катит под Новинское. — на гулянье в район Новинского бульвара.

Под колохом. — палатка в лице колокола, где торговали подаянь.

Засидка вечером — начало работы ремесленников в начале сентября.

Метет плачу. — Задержанных ночью нарушителей порядка полиция выставляла по утру на места улицы.

Ковылины показаны — выкороть не ковыльные.

Надид — крик навозчика, предупреждающий пешехода.

Щебетильный товар — хелочный товар, продаваемый коробейниками, офеями.

Малюком — сорт китайского чая.

Хмыл — пламя; хмыд ява эзэл — все сгорело.

Осталось в газетах; выехал в Ростов... — В газетах печатались списки прибывших и уезжавших.

Никонтик — боценок.

Шереметевские награды — так назывались денежные пособия осиповским пенсиям, выдаваемые приютом графа Н. П. Шереметева. Последний учредил эти пособия по завещанию своей жены, бывшей крепостной актрисы крестьянки Парати Жаксугиной.

Гулянье в Марьиной роще. — В противоположность «барскому» гулянию в Сокольниках 1 мая, гулянье в Марьиной роще в так называемый семик (на сельской неделе после пасхи, в день поминовения усопших) было гулянием народным.

Лазаревы кладбище — в Марьиной роще, названо по кладбищенской церкви Лазаря. На этом кладбище похоронен И. Т. Кокорев.

ПИСЬМА

Неизвестному другу

Письма И. Т. Кокорева неизвестному другу, скрытому под буквой М., в оригинале до нас не дошли. Копии хранятся в архиве М. П. Погодика в рукописном отделе Государственной библиотеки СССР имени Ленина.

№ 1. *Рубини Джонашши Баттиста* (1795—1851) — немецкий итальянский певец, тенор, гастролировал в Москве.

Лючия ди Лакермюр — опера (1835) итальянского композитора Г. Доницетти (1797—1848).

Фальберг Мириго (1771—1853) венскийский док, главч авторов 1355 г. Казней вместе со своими сообщниками.

Гебель Франц-Ксавер (1787—1843) — пианист, дирижер и композитор, с 1817 г. жил в Москве, где давал концерты камерной музыки.

№ 2. *Нравская о Китае и Японии*. — Из статей Кокорева известна только статья о Японии, канниганная для издания «Нравы и обычаи народов азиатского шара», М., 1845.

«Живописное обозрение» — иллюстрированный журнал, издававшийся А. Семенов с 1835 по 1844 г.

«Не отвечал на твои письма». — Письма М. к Кокореву не сохранились.

Рисунки, раскрашенные в Париже. — Издание А. Семенова и А. Стойковича «Нравы и обычаи» было богато иллюстрировано, что отмечал В. Г. Белинский.

Дациаро — магизин гравюр и открыток на Кунсткамоу холсту.

№ 3. *Полвекой Н. А.* (1796—1846) — журналист, писатель.

Labors et spera (лат.) — трудись и издйсь.

«Библиотека для чтения» — журнал словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и хос — наиболее распространенный журнал 30—60-х годов, издававшийся А. Смирным в Петербурге и ориентировавшийся главным образом на провинциального читателя; редактор — О. П. Сазиковский.

Экзамен на звание домашнего учителя. — Кокорев постоянно давал домашние уроки.

№ 4. *Последи М. Н.* (1800—1875) — издатель журнала «Москвитянин» в 1841—1856 гг.

Сенковский О. Н. (1800—1858) — писатель, востоковед, редактор журнала «Библиотечка для чтения» с 1834 г.; псевдоним — «барон Брамбус».

Dakin, dakin (нем.) — туда, туда.

№ 5. *Стройкович* А. А. — один из издателей «Правов и обычаев» (см. выше).

Линд — переводчик с английского языка.

Китай и Япония. — Статья Кокорева о Китае неизвестна.

Повесть моя. — О какой повести говорит Кокорев в этом письме, установить не удалось.

Черток А. Д. (1789—1858) — историк и археолог; с 1847 г. — издатель Общества истории и древностей российских.

Малышский орден — духовно-рыцарский орден (объединение), названный по имени острова Мьянга. В 1798 г. император Павел I был избран великим магистром (начальником) ордена.

№ 6. «Гамлет». — Цитата взята из монолога Гамлета в 1-м акте (сцена 4).

№ 7. «Черные времена». — Искрив в виду тяжелой для Кокорева время, описанное в письме № 16.

№ 8. *Поденщик*. — В другом месте Кокорев говорит: «итальян — товар я — мастеровой».

№ 10. *Не в силах выдумать новых паров*. — В очерке «Публикации и отзывы» Кокорев описывает паровоз — эмблему нашего парового века.

№ 11. «*Консулоз*» — роман (1843) французской писательницы Жорж Санд (1804—1876).

Анатолий Гарсия-Мисселе-Поланья (1821—1910) — писатель, гастролировал в Москве.

№ 13. О, *kas misestas!* (лат.) — О, каше несчастье!

«Почетные граждане». — Это прозвище Кокорева не сохранялось.

№ 14. «*Московский городской листок*» — газета, в которой сотрудничали выдающиеся московские писатели того времени — граф В. Сологуб, А. Волынский, князь И. Вяземский, С. Шварц, К. Павлова, Ю. Ждановская и другие.

Жоли — издатель «Жизненной энциклопедии».

№ 15. Письмо написано из «сибирки», где Кокорев содержался, состоя на рекрутской очереди, в 1847 г.

М. П. Погодину

Подлинники писем И. Т. Кокорева хранятся в архиве М. П. Погодина в рукописном отделе Государственной библиотеки СССР имени Ленина. Они раскрывают истинные взаимоотношения сотрудника с редактором журнала. В письмах упоминаются Гоголь, Тургенев, Некрасов, Григорьев, Жуковский, Заблудовский и другие. Из 90 писем здесь публикуется три.

№ 16. *Известие о нашем приезде*. — Погодин чернул из заграничного путешествия в октябре 1846 г.

Семан А. — издатель, владелец типографии, которую передал за долги Жюли.

«Рассказы о Суворове». «Рассказы старого пиппа о Суворове, в 3 книжках», издание журнала «Москвитин», М., 1847.

Студентский Александр Ефимович — член редакции «Москвитинца» в 1846 г.

№ 17. Записки о Екатерине — напечатанные в «Москвитинце» (1847 г., ч. II, стр. 85—95) «Записки о Екатерине Великой составшего при ее особе вице-секретаря и канцлера Адриана Моисеевича Грибозского, с присоединением отрывков из его жизни».

№ 18 «Комитет редакции». — Объявление о «Возобновленном «Москвитинце» на 1848 год» гласило: «Приглашено надобных лиц, взявших в свое ведение разные отделения, и Комитет редакции образовался так: академик М. П. Погодин — по части истории; профессор С. П. Шевырев — литературы русской и иностранной; И. М. Снегирев — достопримечательности Москвы; И. Т. Кокорев — внутренние известия; А. А. Григорьев — европейское обозрение».

А. Ф. Вальтману

Подлинник письма хранится в архиве Вальтмана в рукописном отделе Государственной библиотеки СССР имени Ленина.

№ 19. Вальтман А. Ф. (1830—1870) — помощник редактора «Москвитинца», риманист, автор «Приключенья, почерпнутого из моря житейского» и др.

Тюргеневский И. Ф. — литератор.

«История русской церкви» — имеются в явду «Письма по поводу рецензий на историю русской церкви», напечатанные в «Москвитинце» в 1849 г., № 11 и 18.

— ГИГОРИН И. Т. —

Рукопись Гигорина И. Т. Кокореву хранится в архиве М. И. Погодина в рукописном отделе Государственной библиотеки СССР имени Ленина. Содержит вставки, сделанные рукой Погодина.

Ростопчина Е. П. (1811—1858) — поэтесса, писала также комедии и комедии.

Засоскин М. Н. (1789—1832) — директор московских государственных театров с 1831 по 1842 г., автор исторических романов «Юрий Милославский», «Ростопчин», «Аскольдова могила», «Вражеский лагерь» и др.

«Современник» литературный и обществено-политический журнал издававшийся в Петербурге с 1836 по 1866 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Очерки о Москве

Малая промышленность в Москве	5
Извешен — лихача и варки	14
Старьевщик	23
Ярославцы в Москве	30
Кухарка	39
Публикации и лавески	61
Самолет	77
Пан в Москве	102
Спорное воскресение	108

Повести

Сибиряк	121
Саввушка	168

Письма

Неизвестному другу	243
М. П. Погодину	250
А. Ф. Вильямину	253
Биография И. Т. Кокорева	255
Выписатель Москвы — исследование Б. Смирнского . .	262
Примечания	272

А О К О Р Е В
Иван Тихонович.
МОСКВА Сороковых годов

* * *

Редактор В. Фирсов.
Художник И. Зубчиков.

* * *

Издательство «Московский рабочий»
Москва, проезд Вавилова, 6

Л132768 : : Подписано к печати 17/III 1969 г.
Формат бумаги 60х90/16. Бум. л. 8,75.
Лгр л 17,5. Уг-пад 56 16,75.
Тираж 500 000 (1 э экзод 1—61 000).
Цена — в переплет с переплетом 7 р.,
в коллективном — 6 р. 50 к. Зак. 905.

Типография изд-ва «Московский рабочий»,
Москва, Петровка 17